

≡ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИКА

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИКА



III



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В 1960 г. Издательство иностранной литературы (впоследствии часть издательства, публиковавшая литературу по гуманитарным наукам, стала самостоятельным издательством «Прогресс») предприняло выпуск серии сборников под названием сначала «Новое в лингвистике», а затем «Новое в зарубежной лингвистике». В сборники включались работы зарубежных языковедов, как только что вышедшие, так и напечатанные ранее, но ставшие в годы выпуска серии предметом острых дискуссий. В сборниках серии «Новое в зарубежной лингвистике» вышли работы или фрагменты крупных работ таких блестящих представителей зарубежного языкознания, как М. Сводеш, Б.Л. Уорф, Л. Ельмслев, А. Мартине, У. Филлмор, Н. Хомский, З.С. Хэррис, и многих других. Инициаторами публикации этой серии были проф. В.А. Звегинцев и редактор издательства М.А. Оборина. Их неутомимой энергии, глубочайшим знаниям и опыту издательской работы сборники обязаны как своим высоким научным уровнем, так и прекрасным качеством перевода. Достаточно сказать, что переводчиками выступали такие крупные ученые, как Н.Д. Арутюнова, А.А. Зализняк, Вяч.Вс. Иванов, И.А. Мельчук, Т.М. Николаева, Е.В. Падучева и др.

Выпуски «Нового в зарубежной лингвистике» неизменно встречались с большим интересом лингвистическими кругами в России и за ее пределами и скоро становились библиографическими раритетами. И сейчас в издательство поступают многочисленные просьбы возобновить это издание.

В настоящее время Издательская группа «Прогресс» подготовила к изданию три сборника избранных работ, в разное время публиковавшихся в выпусках серии «Новое в зарубежной лингвистике» и ставших библиографической редкостью. Работы даются без изменений как самих переводов, так и способов представления библиографии, и научного аппарата.

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИКА

III

«Новое в лингвистике»

«Новое в зарубежной лингвистике»

Избранное

*Перевод с английского, немецкого
и французского*

МОСКВА

Издательская группа «ПРОГРЕСС»

1999

УДК 80
ББК 81
3-34

Общая редакция *В.Ю. Розенцвейга* (I часть),
В.А. Звегинцева, Б.Ю. Городецкого (II часть)
Редакторы *Н.Т. Беляева, М.А. Оборина*
Редактор-составитель *В.Д. Мазо*

3-34 **Зарубежная лингвистика. III:** Пер. с англ., нем. фр. /
Общ. ред. *В.Ю. Розенцвейга, В.А. Звегинцева, Б.Ю. Городецкого.* — М.: Издательская группа «Прогресс»,
1999. — 352 с.

Сборник «Зарубежная лингвистика. III» содержит избранные работы VI, X и XII выпусков серии «Новое в лингвистике», «Новое в зарубежной лингвистике». Настоящее издание посвящено двум языковедческим темам: *Языковые контакты* и *Проблемы семантики*. В сборник включены работы *У. Вайнрайха, А. Мартине, Ч. Филлмора, Г. Скрэгга, Дж. Гринберга* и др.

Книга может быть адресована лингвистам всех специальностей, психологам, философам, социологам.

УДК 80
ББК 81

Художник *А.Ю. Никулин*. Художественные редакторы *Л.Ф. Шканов, К.Ш. Баласанова, В.А. Пузанков, А.Ю. Никулин*
Технические редакторы *В. Павлова, В.Д. Крылова, И.А. Кронова, А.П. Агафошина*
Корректоры *Е.Н. Понкратова, Е.В. Рудницкая*

ИБ № 20227. ЛР № 060775 от 07.03.97 Подписано в печать 05.07.99.
Формат 84x108/32. Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 18,48.
Уч.-изд. л. 16,5. Тираж 1000 экз. Заказ № 53. Изд. № 49823

ОАО Издательская группа «Прогресс»
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17

ОАО Издательская группа «Прогресс»
Отпечатано в цехе оперативной полиграфии
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17

ISBN 5—01—004654—7

© Перевод на русский язык, составление —
Издательская группа «Прогресс», 1999

Языковые контакты

Языковые контакты

I. Проблематика языковых контактов

ОДНОЯЗЫЧИЕ И МНОГОЯЗЫЧИЕ ¹

1. Определения

1.1. Если бы процесс коммуникации ограничивался рамками языковых коллективов, то в отношении культур человечество являло бы не менее пеструю и разнообразную картину, чем в языковом отношении. Но дело обстоит иначе. Районы наиболее ярко выраженного языкового разнообразия, такие, как Кавказ, Новая Гвинея, провинция Плато в Нигерии, район Оахака в Мексике и др., вовсе не отличаются соответствующей этнической пестротой. Случаи поразительного единообразия в области культуры в условиях пестрого разнообразия языков служат доказательством того, что общение может преодолевать и действительно преодолевает языковые границы. Оно оказывается возможным благодаря посредству многоязычных носителей.

Это умозаключение находит эмпирическое подтверждение в чрезвычайно богатых данных индийской языковой статистики ². Языковое разнообразие в Индии распределено неравномерно: оно очень ярко выражено в ряде районов Ассама, в центре Деканского полуострова, вокруг пустыни Раджастан и вдоль тибетских перевалов, тогда как основные части северной равнины и почти все побережье с языковой точки зрения вполне однородны. Владение еще каким-либо языком, помимо родного, также распространено очень неравномерно. Можно было бы ожидать по крайней мере, что оба эти показателя находятся в прямой зависимости друг от друга, однако в действительности они оказываются независимыми. Это значит, что в ряде районов языковое разнообразие более или менее полно компенсируется

* Комментарий к тексту, помеченному жирными цифрами, см. на стр. 513–515.

двуязычием (в городах, на Деканском полуострове, вдоль проходов в Тибет), чего нельзя сказать, например, об Ассаме, Раджастане и вообще о сельских районах, если их сравнивать с городскими. Наибольшим этот разрыв оказывается в районах, для которых характерна наибольшая степень культурной отсталости. Таким образом, препятствием процессу общения является не просто языковое разнообразие как таковое, а языковое разнообразие в сочетании с недостатком компенсирующего его многоязычия³.

1.2. Хотя многоязычие, несомненно, представляет собой явление не только значительное, но и достаточно обычное и распространенное, принято, в том числе и среди лингвистов, рассматривать одноязычие как правило, а многоязычие — как нечто исключительное. У этого в высшей степени идеализированного взгляда есть ряд источников. Один из них — в соблазне экстраполировать опыт нескольких европейских и американских стран, которые в течение недолгого исторического периода приближались, с известным успехом, к сознательно поставленной цели — полной стандартизации языка как символу и оружию своего национального бытия. Другой источник этого взгляда связан с тем, что структурная лингвистика на ранних стадиях своего развития нуждалась в допущении синхронности и качественной однородности языковых текстов, служивших объектом ее описания. Но ни культурно-географические перегородки, ни временные методологические установки, связанные с младенческой незрелостью нашей науки, не должны заслонять от нас того реального факта, что миллионы людей, возможно большинство людей, в течение своей жизни в той или иной степени овладевают двумя или несколькими языковыми системами и умеют пускать их в ход каждую в отдельности — в зависимости от требований обстановки.

1.3. Могут возразить, что говорить о многоязычии, не затрагивая вопроса о минимальном различии между языками, — значит давать этой проблеме чересчур широкое и неопределенное толкование. Но вполне обоснованной представляется такая точка зрения, при которой случаи владения, скажем, французским и вьетнамским, французским и провансальским или даже парижским и марсельским французским рассматриваются как разновидности по существу одного и того же явления. Ибо проблема, стоящая перед говорящим во всех этих случаях, качественно одна и та же:

следовать огромному количеству норм в соответствующих контекстах; и в случае неудачи результат один и тот же: вторжение (интерференция) норм одной системы в пределы другой. И вовсе не очевидно, что четко различающиеся системы норм легче спутать, чем системы сходные.

1.4. Другая черта многоязычия, которую легко представить в виде переменной, — это степень владения каждым данным языком у одного и того же говорящего. Совершенно свободное и всестороннее владение двумя языками, конечно, очень сильно отличается от усвоения лишь начатков второго языка; но опять-таки трудность задачи, стоящей перед человеком, и характер его неудач при дублировании одноязычных норм каждого из языков (в отличие от «размеров» этих неудач) в обоих случаях сходны. Сравнительная степень владения двумя языками вообще не может быть точно сформулирована в чисто лингвистических терминах. Это один из тех многочисленных аспектов двуязычия (которое мы далее для простоты и подвергнем рассмотрению как наиболее важный тип многоязычия), для исследования которых лингвистике необходимо сотрудничество с психологией и общественными науками.

1.5. С лингвистической точки зрения проблема двуязычия заключается в том, чтобы описать те несколько языковых систем, которые оказываются в контакте друг с другом; выявить те различия между этими системами, которые затрудняют одновременное владение ими, и предсказать таким образом наиболее вероятные проявления интерференции, которая возникает в результате контакта языков, и, наконец, указать в поведении двуязычных носителей те отклонения от норм каждого из языков, которые связаны с их двуязычием. Но не все потенциальные возможности интерференции переходят в действительность. Разные люди с различным успехом преодолевают тенденцию к интерференции — как автоматически, так и сознательными усилиями. В некоторой данной ситуации контакта между языками А и В говорящий № 1 может владеть обоими языками, как своим родным, а у говорящего № 2 речь на языке В может изобиловать отпечатками норм языка А. Исследование подобных различий в поведении двуязычных носителей опять-таки требует соединенных усилий лингвистики и смежных наук. Может быть так, что наши два носителя различны по своим врожденным языковым способностям или, скажем, что носитель № 2 лишь приступает к изучению языка В.

Может быть, они изучали эти языки разными способами, например носитель № 2 пользовался методом, не рассчитанным на подавление интерференции. Возможно также, что носитель № 1 придерживается пуристических установок, а № 2 стремится лишь к тому, чтобы быть правильно понятым и готов пренебречь языковыми нормами. При этом различия в языковых установках и в степени терпимости к интерференции могут носить характер как личных особенностей, так и социальных явлений, обусловленных тем коллективом, в рамках которого происходит контакт двух языков. В Канаде местный французский акцент в английском языке в социальном отношении менее выгоден для говорящего, нежели в США, где, скажем, гувернантке-француженке может быть даже экономически выгодно культивировать французский акцент как символ своего вполне «авторитетного» происхождения. Лингвист может найти в этих различиях хотя бы примерное объяснение того факта, что одни контакты между языками, имевшие место в истории, оставили вполне определенный отпечаток на соответствующих языках (эффект «субстрата»), а другие прошли почти бесследно. Но точное описание взаимосвязей между языковыми, психологическими и общественно-культурными факторами, участвующими в современных, допускающих непосредственное наблюдение ситуациях языкового контакта, предполагает исследование двуязычия методами целого комплекса смежных наук.

2. Контакт языковых систем

2.1. В случаях, когда перед лицом или группой лиц, обычно пользующихся языком А, встает задача усвоения второго языка, В, есть ряд возможностей. Во-первых, язык А может быть вообще заменен языком В; в этом случае мы говорим о языковом сдвиге. Во-вторых, языки А и В могут употребляться попеременно, в зависимости от требований обстановки; тогда мы говорим о переключении (switching) с языка А на язык В и обратно. В-третьих, может произойти слияние (merging) языков А и В в единую языковую систему.

2.2. Термин «система» не следует обязательно понимать как относящийся к языку в целом; сдвиги между системами, переключение с одной из двух различных, но одновременно доступных систем на другую и слияние систем могут

происходить и на уровне составных частей языка, т. е. на уровне словаря, грамматики, фонологии и даже их компонентов. Возьмем в качестве примера фонологический вопрос выбора между [e] и [ɛ] в случае двуязычия «французский — русский». В не-конечной позиции правила французского языка требуют [e] в открытом слоге и [ɛ] в закрытом. По правилам русского языка [e] появляется только в окружении палатализованных согласных, а в остальных случаях произносится [ɛ]. Если системы выбора аллофонов сосуществуют у двуязычного носителя отдельно, то он будет переключаться с одного правила на другое в зависимости от того, является ли высказывание в целом французским или русским. Если же эти системы у него слились, то возникает новое фонологическое противопоставление между двумя языками, требующее, например, [ɛ] во французском (*Compriégne*), но [e] в русском (*пень*). Аналогичные возможности имеются и в плане содержания. Некоторый элемент плана содержания при контакте двух языков может принимать двойное значение — вещества или предмета, если он фигурирует в контексте французского высказывания (*verre*), тогда как в русском высказывании он получил бы дальнейшее различие (*стекло vs стакан*). Если бы языковые системы слились, то мы бы сказали, что в новой системе имеются два слова со значением «стекло» — одно неоднозначное, а другое однозначное. То же самое можно заключить и о языковом знаке в целом, т. е. о пересечении содержания и выражения. Можно представить себе носителя русского и французского языков, у которого для единицы содержания «сахар» есть две синонимичные единицы выражения [sykr] и [sáxar], выбор между которыми производится в зависимости от того, является ли высказывание в целом русским или французским. Далее, для такого носителя слово [nos] оказывается межъязыковым омонимом, многозначность которого разрешается одним образом в высказываниях на русском языке (*нос*) и другим — в высказываниях на французском языке (*poses* «свадьба»). Если же, напротив, сосуществующие языковые системы остаются отдельными, то «сахар» [sykr] и «свадьба» [nos] — это знаки одной системы, а «сахар» [sáxar] и «нос» [nos] — знаки другой системы.

2.3. Модель слияния языковых систем предоставляет в распоряжение лингвиста заманчивое объяснение для многих явлений интерференции, наблюдаемых в речи двуязыч-

ных носителей. Мы будем говорить о языке S — источнике интерференции (source of the interference) и языке C — объекте интерференции (target [cible] of the interference). Знаки языка C или элементы его систем выражения или содержания благодаря субстанциальному или частичному формальному сходству отождествляются со знаками или элементами языка S. Затем двуязычный носитель подвергает таким образом отождествленные элементы дальнейшему действию норм языка S, которые могут в значительной мере расходиться с нормами языка C. Ниже, в §§ 3—5, рассматривается механизм интерференции в ряде сфер языка.

2.4. Разграничение слившихся и сосуществующих языковых систем имеет — помимо своего теоретического значения как основы для описания наблюдаемых явлений интерференции — еще и психологический аспект. С точки зрения психологии отсутствие интерференции в том или ином конкретном случае само по себе еще вовсе не говорит о том, что двуязычный носитель осуществляет переключение между двумя отдельными системами. Для определения того, в какой мере две фонологические, грамматические или семантические системы или подсистемы являются отдельными у данного двуязычного носителя, имеются специальные процедуры, основанные на прямых психологических тестах. При исследовании типов двуязычия целесообразно также сравнивать данные, полученные путем непосредственных лингвистических наблюдений, с данными психологических тестов.

2.5. В любом лингвистическом исследовании важно различать продукцию говорящего — то есть некоторый конечный текст, сколь бы длинным он ни был, — и стоящую за этим текстом систему, существующую у него в мозгу и позволяющую ему продуцировать не только этот текст, но и бесконечное количество других высказываний, которые будут восприниматься остальными членами его языкового коллектива как соответствующие языковой норме.

Не менее актуальным является это различие и для исследования явлений языкового контакта. Но говорящий всегда может (а многие люди в этом отношении являются особенно одаренными) научиться воспроизводить с абсолютной точностью некоторый ряд моделей иностранного языка, отнюдь не овладев этим языком как целой порождающей системой, т. е. не приобретя способности производить бесконечное

количество правильных комбинаций элементов этого языка. Может случиться также, что некоторые высказывания, порождаемые системой одного языка, случайно окажутся соответствующими правилам и нормам другого языка. Так, например, какое-нибудь конечное русское -s может оказаться правильным выражением для французской фонемы /s/, даже несмотря на то, что его глухость не является различительным признаком в русском, а его твердость противопоставляет его другой русской фонеме /s'/, что совершенно чуждо системе противопоставлений французского языка. Аналогичным образом порядок слов подлежащее — дополнение — сказуемое во фр. *il me voit*, будучи применен к соответствующим русским словам, даст правильное с точки зрения субстанции и эквивалентное по смыслу предложение: *он меня видит*; однако этот порядок слов в русском высказывании содержит дополнительный формальный элемент, противопоставляющий это высказывание другому, напр., *он видит меня*, не имеющему во французском достаточно простого эквивалента. Поэтому в исследовании двуязычия неразумно ограничивать свое внимание явлениями интерференции, наблюдаемыми на материале ограниченных текстов, так как даже правильные с точки зрения субстанции высказывания на языке С могут быть результатом случайности, за которым скрываются существенные пробелы во владении языком С как порождающей системой. Анализ двуязычия должен продолжаться до тех пор, пока полностью не будет определена степень владения каждой из языковых систем.

2.6. Особая проблема встает в связи с разницей между пассивным и активным владением языком. Есть веские основания полагать, что способность декодировать сообщения первична и отчасти даже независима от способности кодировать их. С точки зрения психологии языка серьезный интерес представляет описание процесса, в ходе которого человек начинает разбираться в незнакомом языке, обходясь при этом без каких-либо четких указаний со стороны. С точки зрения социологии двуязычия еще важнее исследовать те двусторонние отношения, которые возникают между двумя говорящими или даже между двумя языковыми коллективами, когда каждый говорит (кодирует) на своем собственном языке и свободно декодирует сообщения, посылаемые партнером. Такие отношения особенно характерны для тех случаев, когда речь идет о диалектах одного языка

или близкородственных языках типа скандинавских. В подобных случаях эта особая психолингвистическая установка говорящих перерастает в ощущение регулярности различий между системами и осознание этих различий как четких формул перехода — даже людьми, сколь угодно далекими от занятий сравнительным языкознанием. Изучение «диасистем» (синхроническое описание систем диалектов) привлекло в последнее время внимание многих лингвистов, и за ним, конечно, последуют работы по психологической природе диасистем у носителей языка.

2.7. «Микроскопическому» рассмотрению явлений языкового контакта на материале поведения отдельных двуязычных носителей может быть противопоставлено «макроскопическое» исследование результатов воздействия одного языка на другой. При «микроскопическом» подходе последствия двуязычия рассматриваются на фоне языкового поведения одноязычных носителей. При «макроскопическом» подходе мы сравниваем язык, который рассматривается как подвергшийся действию контакта, с соседними в пространстве или во времени участками того же языка, относительно которых предполагается, что они не были затронуты действием контакта. При синхроническом «микроскопическом» наблюдении особое внимание должно уделяться выяснению того, какие иностранные элементы в речи двуязычного носителя связаны с его личным участием в языковом контакте. Так, носитель испанского языка в Соединенных Штатах может сказать *objectores concientes* в качестве импровизированного перевода словосочетания *conscientious objectors* «пацифисты, уклоняющиеся от военной службы» (букв. «совестливые возражатели»), которое известно ему как двуязычному носителю из английского языка; с другой стороны, употребление им таких испанских слов, как *beisbol* или *jazz*, хотя и имеющих в конечном счете английское происхождение, вовсе не связано с тем, что он знает английский язык: они являются неотъемлемой составной частью словарного запаса одноязычных носителей испанского языка.

3. Фонетическая интерференция

3.1. Сопоставляя фонетические системы, скажем, французского и английского языков, мы замечаем, что во французском имеются звуки, которые отсутствуют в английском,

напр. [y], а в английском — такие звуки, как [θ, ð], не представленные во французском. Но есть и другие фонологические различия между этими двумя языками, которые не сводятся к простому несовпадению наборов целых фонем; так, и в английском и во французском есть фонема /r/, но с точки зрения субстанции здесь имеются значительные различия. Звук [œ] во французском языке — полноценная фонема, а в английском он встречается только в ретрофлексном варианте как реализация последовательности фонем /ɛr/. Звук [r] во французском является основной и почти единственной реализацией фонемы /r/, а в английском — лишь одним из позиционно обусловленных аллофонов (напр., в последовательности /sp/) наряду с /r^h/, представленным в других очень частых позициях. Поэтому, для того чтобы дать полное описание проблем, встающих перед двуязычным носителем при пользовании двумя фонетическими системами, необходимо пойти дальше простой инвентаризации фонем и обратиться к их дифференциальным признакам, контекстному взаимодействию этих признаков и правилам построения допустимых последовательностей фонем в каждом из языков. Возьмем в качестве примера английское [ð]. Это звонкий апикальный фрикативный согласный. В испанском языке есть похожий звук, но у него фрикативность является не дифференциальным, а факультативным признаком, возникающим в некоторых позициях, а именно в интервокальной и в конце слова. Двуязычный носитель, для которого испанский является языком S, а английский — изучаемым языком C и который не знает о фрикативности английского звука, будет грешить его «недоразличением» (under-differentiate). В некоторых случаях он будет нечаянно выдавать правильную реализацию, напр., в словах /fə'ðr, rɪjð/, а в других словах, например, таких, как /ge'deɪ, rɪjð/, эта «недоразличающая установка» может привести к подстановке варианта [d] в соответствии с правилами выбора между аллофонами [d] и [ð] в испанском языке S. Носителем арабского языка S, наоборот, краткость и не-фарингализованный характер звуков — избыточные в английской фонологической системе — могут быть приняты за различительные, поскольку в его арабской фонологической системе S /ð/ противопоставлено /ð/ и /ðð/. Но «сверхразличение» (overdifferentiation) английских звуков, к которому это поведет, не грозит двуязычному носителю никакими нарушениями английских норм.

3.2. Итак, если у некоторого данного звука в данной позиции некоторый признак либо всегда присутствует, либо всегда отсутствует как в языке S, так и в языке C, то следует ожидать, что речевое поведение двуязычного носителя будет в этом отношении находиться в согласии с одноязычными нормами соответствующих языков. Если некоторый признак присутствует в языке S в порядке свободного варьирования, а в языке C участвует в фонологическом противопоставлении, то следует ожидать непредсказуемых ошибок. Так, по-видимому, можно описывать озвончение согласных носителем южнонемецкого S в его французской речи (C). Если же в языке S некоторый звук может как обладать, так и не обладать некоторым признаком, а в языке C присутствие этого признака определяется особыми позиционными условиями, то следует ожидать интерференции в определенных, предсказуемых позициях; таков случай контакта испанского и английского языков, описанный выше.

При двуязычии может иметь место еще одно явление, заключающееся в том, что признаки, одновременно представленные в фонеме языка C, в речи двуязычного носителя оказываются распределенными между двумя или несколькими последовательными звуками. Так, индийцы, передающие английские /ð, f/ как [dh, ph], связывают место образования звука и работу связок с первым, взрывным элементом, а фрикативность передают отдельным звуковым сегментом; аналогичным образом носители русского языка S часто передают отдельными сегментами передний ряд и огубленность /y/ французского языка C, что дает [ju].

3.3. Даже если два языка, находящиеся в контакте, имеют много общих фонем, законы их распределения могут быть очень различными. Так, хотя /p, s, ʃ, r/ являются фонемами как в английском, так и во французском, начальная последовательность /ps-/ не характерна для английского, а /ʃr-/ не встречается во французском. В английском последовательность /-hkr-/ вполне обычна в интервокальном положении (напр., increment), но когда сквозь фильтры английских законов распределения фонем проходит имя Нкрума, та же самая последовательность, оказавшись в начале слова, приобретает в высшей степени экзотический оттенок. В истории французского языка был период, когда /sp-/ в начале слова также было нарушением законов следования фонем; сейчас такая последовательность вполне допустима,

но вот носитель испанского языка S по-прежнему склонен добавлять начальное /e-/, когда он в качестве двуязычного носителя пытается произнести слово *spécial* французского языка С.

3.4. Аналогичные различия между языками и явления интерференции можно заметить и в сфере просодии. Если в языке S ударение ставится на каждом слове, то можно ожидать, что двуязычный носитель будет тщательно следить за ударениями в языке С, по какому бы принципу они ни были организованы, и будет точно воспроизводить их, даже если он таким образом будет придавать дифференциальное значение вещам, носящим в языке С чисто автоматический характер. (Так обстоит дело с носителем немецкого языка S, когда он говорит на французском языке С.) Если же, напротив, двуязычный носитель не приучен правилами языка S к тому, чтобы следить за местом ударения в каждом отдельном слове, то от него следует ожидать самых различных ошибок в ударении, которые исчезнут лишь при полном овладении языком С.

3.5. Стоит лишний раз отметить, что в действительности реализуются не все возможности интерференции, вытекающие из различий между данными языковыми системами. Эксперименты показывают, что отклонения в восприятии и в воспроизведении иностранных звуков не всегда совпадают друг с другом. В зависимости от колебаний в степени внимательности и заинтересованности различные носители могут подавлять потенциально возможную интерференцию или допускать ее беспорядочное проявление. Одни подмены звуков (*sound substitutions*) прощаются коллективом носителей языка С охотнее, чем другие; американцы, например, гораздо решительнее протестуют против замены /θ/ на [s] или [f], чем на [t]. Таким образом, даже сами иностранные акценты получают частичное признание в качестве явлений, имеющих определенный общественный статус (*partly institutionalized faits sociaux*). Но наилучшим исходным пунктом для описания двуязычного поведения пока что остается сопоставительный анализ находящихся в контакте языковых систем.

3.6. Явления фонетической интерференции, проявляющиеся на «микроскопическом» уровне в иностранном акценте двуязычных носителей, вновь встречаются нам на «макроскопическом» уровне при рассмотрении исторического влияния одного языка на другой. Весьма вероятно, напри-

мер, что именно влияние славянских языков привело к появлению в румынском языке палатализованных вариантов согласных, что в свою очередь после выпадения палатализирующего гласного (процесс, также, по-видимому, объясняющийся славянским влиянием) привело к фонологизации противопоставления палатализованных и непалатализованных согласных ⁴. На северо-западе Югославии влияние романских языков, лишенных тонов, по-видимому, привело к утрате различительной роли тонов в ряде сербскохорватских диалектов. Очень часто в территориально близких языках появляются одинаковые инновации, причем не всегда можно определить, где они впервые возникли и в каком направлении распространяются. Так, болгарский, румынский, украинский языки и диалект языка идиш на Украине и в Румынии имеют очень близкие системы из 3×2 гласных. В Швейцарии некоторые соседствующие диалекты ретороманского и алеманнского утратили различительный признак лабиализации гласных. Подобное конвергентное развитие иногда фигурирует в качестве критерия при определении близости языков («языковые союзы»). Это понятие существенно раздвинуло пределы языковой географии, позволив перешагивать через языковые границы при прослеживании звуковых инноваций.

4. Грамматическая интерференция

4.1. Грамматическая интерференция возникает тогда, когда правила расстановки, согласования, выбора или обязательного изменения грамматических единиц, входящие в систему языка S, применяются к примерно таким же цепочкам элементов языка C, что ведет к нарушению норм языка C, либо тогда, когда правила, обязательные с точки зрения грамматики языка C, не срабатывают ввиду их отсутствия в грамматике языка S ⁵.

4.2. Предложение *il revient chez lui aujourd'hui* «он возвращается домой сегодня» может быть передано по-английски с обстоятельством времени в начале или в конце предложения: *today he comes home* или *he comes home today*. В немецком нет никаких ограничений на позицию наречия «сегодня», его можно вставить и в середину, перед словами *nach Hause* «домой» (*er kommt heute nach Hause*). Сложность английских правил порядка слов для наречий по сравнению с более свободной системой в немецком ведет к нарушению

английских норм двуязычными носителями немецкого языка типа *he comes tomorrow home*. Правила английского языка *S*, требующие одного порядка слов в прямом вопросе (*What does he think?* Что он думает?), а другого в косвенном вопросе (...*what he thinks ...*что он думает), легко приводят к ошибкам у носителей более простых в этом отношении языков *S*, типа русского (**What he thinks? *I know what does he think*). В португальском языке *S* североамериканских иммигрантов встречаются такие образования, как *Português Recreativo Club*, по образцу *Portuguese Recreative Club* в английском языке *S*.

4.3. Нетрудно привести примеры и на интерференцию, связанную с различиями в правилах согласования. Во французском языке прилагательное в предикативной функции согласуется с подлежащим в роде (*Le X est blanc; La Y est blanche*). В немецком хотя вообще имеется согласование в роде прилагательного с существительным, но это не касается прилагательного в предикативной функции. Отсюда вероятность утраты согласования (*La Y est blanc*) у двуязычных носителей немецкого языка *S* и французского *S*. Аналогичное соотношение имеет место между устным и письменным французским языком, создавая известные орфографические трудности даже для грамотных французов: (*est*) *venu* vs. (*sont*) *venus* при инварианте [vny]. Другой пример: в иврите согласование в роде между сказуемым и подлежащим во втором лице знакомо двуязычным носителям славянских языков *S*, но часто вызывает интерференцию в речи на иврите (*C*) у двуязычных израильтян, родные языки *S* которых не различают родов в местоимении второго лица.

4.4. Неудачи в проведении различий между грамматическими категориями языка *S*, имеющими смысловое значение, очень часто наблюдаются в ситуациях языкового контакта. Так, противопоставление датива и аккузатива в немецком языке хотя отчасти и совпадает с противопоставлением *la/lui* во французском, однако не имеет параллели во французском языке при различении движения в каком-либо месте и движения в направлении к этому месту (*in der Stadt* «в городе», *in die Stadt* «в город»). У двуязычных носителей французского языка *S* это легко приводит к ошибкам в немецком *S*. Аналогичным образом различия между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными и системами определенных и неопределенных артиклей для каждого из этих классов (фр. *le/du, le/un*, англ. *the/some*,

the/an) представляют необычайные трудности для носителей таких языков S (типа русского), в которых нет ничего подобного; и даже когда такие системы в общих чертах уже изучены, многочисленные частные случаи, в которых происходит «идиоматичное» опускание или выбор особых артиклей, служат неисчерпаемым источником интерференции.

4.5. Иногда наблюдается и обратное явление, когда определяемая сугубо формально категория языка С «семантизируется» по образцу языка S. Так, в английском языке противопоставление настоящего и будущего времени нейтрализуется в одном из типов условного придаточного, причем настоящее время выступает в роли общего непрошедшего времени. Однако носитель русского языка S будет склонен употреблять будущее время именно в условных придаточных, относящихся к будущему: *if he will ask me*, вместо нормального *if he asks me* «если он меня спросит».

4.6. Нередко бывает и так, что специфические правила языка S применяются к цепочкам языка С, хотя они находятся в противоречии с его грамматикой. В языке польских иммигрантов в США, например, мы встречаем словосложение английского типа (напр., *the x is [like] a y* → *the y x: the man is [like] a bird* → *the bird man*), применяемое к материалу польского языка С (*ptak człowiek*), хотя обычная польская модель, так же как и французская и русская, иная: *x y* (*człowiek-ptak* «человек-птица»). Английская формула неограниченного наращивания именной группы путем присоединения определяющих существительных без какой-либо иерархии в ударениях (*the w x y z*; напр., *The Státe Cáncer Reséarch Ínstitute Bùlletin*) также ведет к появлению недопустимых конструкций в речи двуязычных носителей, для которых языком С является даже тот или иной германский язык, скажем немецкий или идиш, где каждое вновь нанизываемое существительное получает более сильное ударение по сравнению с предыдущим.

4.7. Автоматический выбор алломорфов легко оказывается жертвой интерференции вследствие слабого владения языковыми нормами, носящими характер немотивированных особенностей данного языка. Так, необычное чередование вариантов английской морфемы *say* «говорить» /*sej/* и /*se/*, из которых последний выступает в позиции перед суффиксом *-s*, дает у двуязычных носителей, недостаточно хорошо овладевших этим правилом, ошибочную форму /*sejz/* *says* «говорит» независимо от того, каков их родной

язык. При контакте языков, характеризующихся значительным сходством, восходящим к генетическому родству или связанным с обширными заимствованиями, двуязычные носители — уже по другой причине — часто делают ошибки в выборе алломорфов, не учитывая различий в их распределении. Возьмем носителя немецкого языка S, привыкшего к образованию причастий прошедшего времени от слабого глагола *weben* — *gewebt* «ткать» и от сильного глагола *sterben*—*gestorben* «умирать», сталкивающегося с совершенно отличными английскими (C) моделями: *weave* — *woven* «ткать», но *starve* — *starved* «голодать, умирать от голода». Известны даже примеры создания новых вариантов морфем языка C, которые потребовались для того, чтобы соблюсти правила распределения, действующие в языке S. В некоторых разновидностях ретороманского, например, зафиксированы случаи, когда двуязычные носители употребляли форму *inap* как вариант для *ina* в значении неопределенного артикля женского рода в позиции перед гласными — по образцу алеманнского чередования *a/an*.

4.8. Когда двуязычный носитель отождествляет на некотором семантическом основании слово языка S со словом языка C, он склонен распространять на слово языка C синтаксические «права и обязанности» слова языка S, к которому он его приравнивал, часто в нарушение норм языка C. Так, английские слова *say* и *tell* оба приблизительно соответствуют французскому *dire*, но *tell* обязательно требует косвенного дополнения, тогда как *say* может принимать косвенное дополнение лишь при посредстве предлога:

I told him how to do it «Я сказал ему, как это сделать»
I said hello (to him) «Я сказал (ему) «привет».

Французам, говорящим по-английски, очень трудно избежать употребления таких недопустимых конструкций, как **I said him how to do it* или **I told hello*. Английский глагол *enjoy* «пользоваться, наслаждаться чем-л.» требует прямого дополнения или возвратного местоимения: *to enjoy oneself* букв. «наслаждаться себя». Менее категоричные синтаксические требования, скажем, у соответствующего глагола в идиш *паָהֶס הוֹבֵן (fun...)* «получать удовольствие (от...)» приводят к тому, что, говоря по-английски, носители идиш употребляют глагол *enjoy* в непереходной конструкции: **Did you enjoy?* (вм. *Did you enjoy yourself?* «Получили ли вы удовольствие?»).

4.9. Результаты воздействия одной грамматической системы на другую можно, аналогично тому, как мы это делали с фонетической интерференцией, рассматривать и в «макроскопическом» плане — на материале грамматических инноваций, связанных со взаимодействием языков. Опять-таки не всегда может быть ясно, какой из языков послужил источником, а какой адресатом этого нововведения, но, по-видимому, общие грамматические инновации в соседних языках имеют единые «доисторические» корни. Балканский полуостров является хорошо известным примером области грамматической конвергенции языков. Тот факт, например, что и в румынском, и в болгарском, а в албанском развился постпозитивный определенный артикль, не может быть объяснен их индоевропейским родством, так как каждый из них является единственным языком в своей подгруппе, имеющим эту черту. Грамматические инновации могут быть связаны как с отмиранием старых категорий, так и с появлением новых противопоставлений. Так, в вышперечисленных балканских языках, а также в греческом древний инфинитив исчез, и в каждом из этих языков различаются теперь по два союза типа «что/чтобы», вводящих придаточные предложения с личными формами глагола вместо прежних конструкций с инфинитивом. Рассматривать возникновение новых прошедших времен, образуемых глаголом «иметь» плюс причастие прошедшего времени, в греческом, романских и германских языках как простую серию совпадений значило бы злоупотреблять собственной доверчивостью; точно так же, по-видимому, имеет смысл видеть историческую связь между отмиранием простого претерита в разговорном французском и в южнонемецком (alla, ging). Распространение сложного прошедшего времени, образуемого с помощью глагола «иметь», происходящее посредством грамматического калькирования и не останавливающееся на европейских языковых границах, не прекратилось до сих пор. Бретонский копирует эти конструкции с французского, силезские диалекты польского языка — с немецкого, а македонский — с албанского. Идиш, утратив контакт с немецкими образцами и, возможно, вдохновляемый новыми контактами со славянскими языками, отказался от правил особого порядка слов в придаточных предложениях и от большей части противопоставлений сильного и слабого склонений прилагательных; с другой стороны, он перенял у славянских языков двух-

ступенчатую систему уменьшительных и общую схему глагольных видов, хотя для выражения этих новых категорий используются «родные» германские морфемы.

4.10. Одной из острых проблем, связанных с грамматическими последствиями языковых контактов, является переход аффиксальных морфем из одного языка в другой. Действительно, в английском языке есть продуктивный уменьшительный суффикс *-ette* (напр., *kitchenette* «кухонька», *goonette* «один из типов купе» и т. п.) французского происхождения. Но лучшим объяснением существования заимствованных словообразовательных морфем является тот факт, что они стали продуктивными в заимствовавшем их языке благодаря появлению в нем таких пар слов, где одно из них содержало такую морфему, а другое — нет. Из таких пар заимствований, как *cigar — cigarette*, *statue — statuette*, суффикс *-ette* мог быть извлечен и получил статус продуктивного английского суффикса. Словообразовательные элементы с экспрессивным значением часто используются подобным образом. С другой стороны, явления переноса настоящих словоизменительных морфем крайне редки. В тех случаях, когда они действительно имеют место, они, по-видимому, предполагают огромное предварительное сходство между синтаксическими системами, например такое, которое характерно для близких диалектов одного и того же языка.

4.11. Помимо конкретных проявлений воздействия одного языка на другой, законный интерес представляет также вопрос о том, может ли контакт сказаться на общем грамматическом складе языка. Пока что, к сожалению, по этому вопросу не собрано достаточно убедительных данных. Конечно, соблазнительно было бы взглянуть на тенденцию многочисленных индоевропейских языков к аналитичности как на единый исторический процесс, в котором участвовали и некоторые неиндоевропейские языки; однако мы не располагаем достаточным количеством контрольного материала, необходимого для выводов такого рода. Но, пожалуй, можно с большой степенью уверенности утверждать, что быстро развивающееся двуязычие как таковое, независимо от склада участвующих в нем языков, ведет к росту аналитичности в том случае, если условия способствуют поддержанию интерференции. Можно показать, что, например, креольские языки (см. § 6.2) часто более аналитичны, чем их «предки»,

5. Лексическая интерференция

5.1. Словарь любого языка постоянно находится в текущем состоянии, одни слова выходят из употребления, другие, наоборот, пускаются в оборот. Слова с низкой частотой, возможно, просто недостаточно прочно удерживаются в памяти, чтобы устойчиво функционировать. Регулярные фонологические и грамматические изменения могут приводить к возникновению неудобных или обременительных омонимичных пар, один из членов которых должен быть заменен каким-либо другим словом. В некоторых семантических сферах имеется общая потребность в синонимах, в особенности когда речь идет об экспрессивной лексике, призванной заменить слова, утратившие свою экспрессивность. В обществах с высоким уровнем социальной подвижности, где исчезли социальные диалекты как таковые, особый аристократический лексикон может служить паролем общественной элиты, но он обречен на постоянную изменчивость вследствие подражания со стороны жаждущей возвышения массы. Часть этого спроса на обновление словаря может удовлетворяться неологизмами внутреннего происхождения. Но особенно богатый и свежий материал может быть почерпнут из иностранных языков. Ввиду легкости распространения лексических единиц (по сравнению с фонологическими и грамматическими правилами) для заимствования слов достаточно минимального контакта между языками. При массовом двуязычии лексическое влияние одного языка на другой может достигать огромных размеров.

При определенных социо-культурных условиях у двуязычных носителей происходит нечто вроде слияния словарных запасов двух языков в единый фонд лексических инноваций.

Лексические заимствования можно исследовать с точки зрения приведшего к ним механизма интерференции и с точки зрения фонологического, грамматического, семантического и стилистического вставания новых слов в заимствующий язык. Рассмотрим сначала вопрос о механизме интерференции.

5.2. Представим себе двуязычного носителя языков S и C , отождествляющего слово S_1 языка S с некоторым словом C_1 языка C , затем слово S_2 со словом C_2 и т. д. Но вот для простого слова S_6 и для сложного слова $(S_7 + S_8) + S_9$ он не находит подходящих эквивалентов в языке C . Пожа-

луй, основополагающим условием для лексической интерференции и является подобное ощущение лексического «дефицита» (lexical “gap”).

Вопрос о лексических заимствованиях следует рассмотреть прежде всего с точки зрения морфологической структуры того материала, который используется для покрытия этого лексического дефицита. Когда слово bargain «делка» английского языка S перенимается луизианским французским в форме barguine или когда слово языка могавк, означающее «металл», расширяет свое значение и включает также значение «деньги», для того чтобы удовлетворить обнаруживаемую двуязычными носителями английского S и могавка C потребность в слове money «деньги», то в этих случаях мы имеем дело с заимствованиями (в широком смысле), которые являются одноморфемными как в языке S, так и в языке C. Наоборот, когда американский испанский C заполняет пробелы, обнаруживающиеся в нем на фоне английского S, например New Deal «Новый курс (Рузвельта)» или conscientious objectors, такими выражениями, как Nuevo Trato и objectores concientes, то мы имеем дело со словами многоморфемными как в S, так и в C. Но сохранение подобного изоморфизма необязательно. При заимствовании во французском языке русского слова *спутник* форма, состоящая в языке S из трех морфем, вводится в язык C как морфологически простая единица. Возможно и обратное: англ. pencil /pensəl/ «карандаш» переразлагается в американском идише и истолковывается как двухморфемное квазиуменьшительное на -l (на что указывает и его принадлежность в идише к среднему роду, куда относятся уменьшительные, но не попадают другие заимствования). Заполнение лексических «белых пятен», обнаруживаемых в языке команчей (C) с точки зрения английского (S) — напр. battery «аккумулятор», передаваемое выражением, означающим «ящик с молниями», — или отсутствие в американском итальянском английского (S) слова bulldog «бульдог», передаваемого как cana-buldogga, — также примеры лексических заимствований, имеющих в языке C более сложное строение, чем в языке S.

5.3. Особый вопрос, связанный с заимствованиями, которые являются сложными как в языке S, так и в языке C, касается того, одинаково ли их грамматическое строение в обоих языках. В немецком языке слово Wolken-krazt-er «небоскреб», созданное по образцу англ. sky-scraper,

построено по той же самой схеме образования имен деятеля — из словосочетаний глагол плюс дополнение; во фр. *gratte-ciel*, напротив, мы видим идиоматичное применение соответствующей французской словообразовательной модели, формальное строение которой совершенно иное. Иногда, впрочем, мы находим механическую имитацию сложных форм, которые с точки зрения языка С могут рассматриваться лишь как бессмысленные или даже противоречащие здравому смыслу построения. Это часто бывает, когда английские сложные существительные переносятся в языки, не имеющие аналогичных моделей словосложения, напр., *science-fiction* (=беллетристика, являющаяся наукой), «научная фантастика», *service station* (=станция для обслуживания) «станция обслуживания» в современном французском.

5.4. Следующая проблема, связанная с лексическими заимствованиями, — это вопрос о том, заполняется ли брешь, связанная с отсутствием данного слова в языке С, перенесением этого слова из языка S в язык С или подысканием на эту роль какого-нибудь из слов языка С, что приблизительно соответствует классическому делению на заимствованные слова и «заимствованные переводы» — кальки. Слово «металл» > «деньги» из языка могавак, «ящик с молниями» из языка команчей, ам.-исп. *Nuevo Trato*, нем. *Wolkenkratzer*, фр. *gratte-ciel* — все это примеры подстановки вместо слов языка S подходящих форм из языка С; в случае же луизианского французского *barguine*, ам.-исп. *objectores concientes*, фр. *sputnik*, ам.-идиш *penzl* мы имеем дело с перенесением форм языка S в язык С. При многоморфемных заимствованиях возможно сочетание обоих способов, ср. пенс.-нем. *Drohtfens*, построенное по образцу англ. *wire fence* «проволочный забор». В ам.-ит. *cana-buldogga* мы имеем любопытный случай одновременного перенесения английской формы и ее присоединения к выбранной в качестве эквивалента форме языка С.

5.5. Рассмотрим различные семантические типы механизма подстановки. При расширении значения слова «металл» в языке могавак, которое включило также и смысл «деньги», имел место новый акт обозначения (*designation*). С другой стороны, при расширении значения слов англ. *nucleus*, нем. *Kern*, рус. *ядро* и т. п., включившего также и атомные ядра, лишь повторился тот же самый тип называния. Часто случается, в особенности при контактах между

Генетически или культурно близкими языками, что форма, перенесенная из языка S, оказывается сходной с родственной ей формой, уже существовавшей в языке С с другим значением, напр. англ. introduce «знакомить» → канад.-фр. introduire «вводить» + «знакомить», англ. library «библиотека» → ам.-порт. livraria «книжная лавка» + «библиотека», англ. engine «локомотив» → ам.-порт. engenho «наивность» + «локомотив». Во многих подобных случаях бывает трудно определить, где здесь перенесение, а где подстановка.

5.6. Тогда как возможности расширения словаря путем подстановки, по-видимому, неограниченны, расширение словаря путем перенесения иностранных слов, как неоднократно отмечалось, наталкивается на определенное сопротивление в некоторых языках или в некоторых сферах языка. Хорошо известно, что, например, венгерский, финский и исландский языки шли в развитии своего словаря в направлении «европейского стандарта» почти исключительно по пути подстановок. В пределах одной языковой семьи мы имеем чешский, обычно прибегавший к подстановке, и русский, охотно пользовавшийся перенесением (ср. divadlo — театр, odstavec — абзац, básník — поэт, sloh — стиль). В период своего развития израильский иврит часто прибегал к «временным» перенесениям, которые затем постепенно заменялись подстановочными формами (kultura — тарбут, politika — мединиут). В любом списке перенесений одной части речи представлены более широко, чем другие. Поэтому современная лингвистика вполне естественно заинтересовалась вопросом, не определяется ли выбор механизма лексической интерференции, хотя бы в некоторых случаях, факторами грамматического порядка и, в частности, не предопределяет ли сама структура языка при некоторых условиях его сопротивление перенесениям.

На этот вопрос нет простого ответа. В большинстве случаев решительное сопротивление перенесению лексических единиц, конечно, обусловлено соображениями социо-культурного, а не грамматического порядка. Не случайно предпочтение подстановки оказалось столь сильным в чешском и венгерском языках, где перенесение было бы истолковано в народе как онемечивание, что в тот период было несовместимо с национальными чаяниями этих народов. В странах, где вопрос о выборе путей к лексической европеизации языка стоит на повестке дня, на поверхность так-

же выступают решающие культурные факторы[...] В Индии, например, группы, выступающие за обогащение словарного запаса хинди а) путем перенесения интернациональной лексики или б) путем подстановки на эту роль санскритских корней, открыто указывают на идеологический смысл обоих путей. Но в некоторых случаях дело обстоит более тонко и все зависит от фонологического аспекта обращения с переносимой лексикой. В языках типа венгерского и иврита, где звуковая оболочка слов гораздо более строго кодифицирована, чем, скажем, в английском или французском языках, заимствованное слово поневоле будет резко выделяться на фоне слов родного языка, если его звуковая оболочка не подвергнется радикальному изменению; но в этом случае оно рискует утратить и значительную долю тех этимологических связей с международными корнями, ради которых, возможно, и было оказано предпочтение механизму перенесения перед подстановкой. Кроме того, в языках типа иврита или китайского, где не только строго регламентировано звуковое строение слов, но и очень высока степень использования фонологически возможных звуковых последовательностей в качестве морфем, фонологическое усвоение заимствованных слов дополнительно осложняется опасностью возникновения омонимии с уже существующими словами. Когда в китайском языке слово England «Англия» передается наполовину путем перенесения, наполовину путем подстановки — как *ing kuo* (*kuo* «страна»), то даже перенесенная часть *ing* оказывается многозначной, и она получает семантическое истолкование (закрепляемое выбором идеограммы) «почтенный». Франция (*France*), аналогично передаваемая как *fa kuo*, получает благодаря идеограмме *fa* стандартное наименование «страны разума». Ясно, что в таком языке, как китайский, массовое перенесение как основной принцип обогащения словаря привело бы к самым различным нежелательным результатам.

5.7. Ряд других аспектов, связанных с ролью структурных факторов в заимствовании слов, касается различной подверженности слов заимствованию (*transferability*) в зависимости от их грамматического статуса. Так, подсчеты английских заимствований в американском норвежском показали, что процент существительных среди заимствований примерно на 50% выше, чем процент существительных в норвежском или в английском языке в целом; с другой

стороны, для глаголов этот процент на 20% ниже, чем в этих же языках вообще, а некоторые части речи представлены среди заимствований еще более скудно. Вполне возможно, что эти цифры соответствуют общей неравномерности инноваций (т. е. не только заимствований) в разных частях речи. В таком случае эти показатели отражают различную степень «открытости» разных классов морфем, последнее место среди которых занимают словоизменятельные аффиксы.

5.8. С фонологической точки зрения перенесенные лексемы могут либо подвергнуться изменениям, направленным на то, чтобы привести их в соответствие с синтагматическими и парадигматическими правилами звуковой системы языка С, либо, напротив, может быть сделана попытка сохранить их звуковую оболочку в неприкосновенности и рассматривать их как своего рода фонологические цитаты из языка S. Имеются также все промежуточные степени частичного усвоения иностранной фонологической формы. Механизм фонологического усвоения заимствованных слов в принципе тот же, что и механизм непосредственного взаимодействия звуковых систем разных языков; однако в количественном отношении ситуация усвоения лексических заимствований предоставляет гораздо больший простор для свободного взаимодействия двух фонологических систем. Количество усилий, затрачиваемых на сохранение исходной звуковой оболочки заимствованного слова, зависит, по-видимому, во-первых, от степени знакомства с языком S и, во-вторых, от того престижа, который связывается со знанием языка S как источника заимствования. Фактор знакомства с языком S отражен в сообщении о том, что двуязычные носители индийского языка меномини в США передают англ. *automobile* «автомобиль» на своем языке как *atamo'pil*, а у одноязычных носителей меномини это слово подвергается дальнейшей интерференции в соответствии с фонологией их языка и получает вид *atamopen*. В гавайском — опять-таки, по-видимому, в языке одноязычных носителей — мы находим такие радикальные преобразования заимствованных слов, как *rice* [rais] «рис» > *laiki*, *brush* [brʌʃ] «щетка» > *palaki*. Действие фактора престижа можно увидеть, если сопоставить стремление американцев сохранить такие неанглийские звуки, как [œ, ɔ̃], в изысканных французских заимствованиях (типа *chef d'œuvre* «шедевр», *façon de parler* «манера говорить») с полным стира-

нием всяких неанглийских особенностей в звуковой оболочке заимствований, скажем, из языков американских индейцев.

Очевидно, что широкое перенесение иностранной лексики, не сопровождающееся ее полным фонологическим усвоением, ведет к появлению в языке новых законов распределения звуков и даже новых фонем. Так возникло, например, фонологическое противопоставление *f* и *v*, *s* и *z*, *ž* и *š* в английском, *g* и *k* в чешском и т. д.

5.9. С грамматической точки зрения лексическое заимствование также подлежит ассимиляции в рамках системы языка *S*. На одном краю шкалы располагаются слова, сохраняющие в языке *S* неизменяемость, присущую им в языке *S*, и не подчиняющиеся синтаксическим требованиям языка *S*; такова, например, была судьба французского слова *paletot* > *пальто* в литературном русском языке, где оно не изменяется ни по числам, ни по падежам, хотя в русском языке и имеется полноценное склонение слов на *-о*. Другую крайность представляет сохранение в языке *S* словоизменения, характерного для языка *S*: так, одно время в литературном немецком было принято склонять латинские существительные по-латински (*das Verbum, mit dem Verbo, unter den Verbis*). Обе эти крайности, по-видимому, являются следствием вмешательства представителей нормативной грамматики и связаны с культурной атмосферой, чуткой к вопросам языкового престижа. Гораздо более обычным является компромиссное допущение заимствованных слов в открытые грамматические классы языка *S* с включением их в словоизменительные парадигмы наравне со словами этого языка. Так, в американском литовском к англ. *bum* (*bommis*) «бум», *boss* (*bossis*) «босс», *dress* (*drèsè*) «платье» добавляются окончания существительных, а к англ. *funny* (*fòniškás*) «забавный», *dirty* (*dòrtunas*) «грязный» — окончания прилагательных и т. п. Часто, если в грамматике языка *S* есть ряд параллельных, семантически немотивированных категорий, то заимствованная лексика преимущественно поступает в какую-нибудь одну из них. Так, в США в каждом из языков иммигрантов один из родов существительных выступает в роли открытого класса, принимающего существительные, заимствуемые из английского языка: в немецком это женский род, а в норвежском, литовском и португальском — мужской. Из нескольких португальских спряжений подавляющее большинство гла-

голов, заимствованных из английского языка, попадает в спряжение на -av.

5.10. С точки зрения семантики и стилистики заимствованная лексика может сначала оказаться в положении свободного варьирования со старым словарным запасом, но в дальнейшем, если и родное и заимствованное слово выживают, обычно происходит специализация значений. При соответствующих социо-культурных условиях заимствованные слова могут приобретать характер изысканных выражений или, наоборот, характер грубых выражений вульгарной речи. Хорошо известна двойная судьба латинских слов как элемента научной лексики и одновременно студенческого жаргона европейских языков. Аналогичную двойную стилистическую роль удалось установить и для иврито-арамейских элементов в языке идиш. В период между двумя войнами немецкие заимствования в чешском и чешские заимствования в языке судетских немцев приобрели отрицательные коннотации вследствие взаимоотношений, установившихся в тот период между двумя национальными группами.

6. Интерференция, языковой сдвиг и возникновение новых языков

6.1. Если языковой сдвиг определяется как переход от регулярного пользования одним языком к пользованию другим, то возникает вопрос, может ли интерференция достигнуть такой силы, чтобы оказаться фактически равнозначной переходу на новый язык.

Другими словами, может ли речь двуязычного носителя на языке S постепенно подпасть под столь сильное влияние языка S', чтобы стать неотличимой от речи на языке S? В большинстве описаний ситуаций языкового контакта, находимых в литературе, делается допущение, что мы всегда располагаем критериями, которые позволяют нам отнести высказывание — скажем, предложение — двуязычного носителя к грамматической системе одного из двух известных языков, как бы ни была сильна фонологическая, лексическая или грамматическая интерференция со стороны системы другого языка в данном предложении. Если это верно, то переключение с одного языка на другой всегда может быть зафиксировано на границах предложений, а постепенный языковой сдвиг может быть определен как

переход от постоянного пользования языком С через все более частое переключение с С на S к окончательному преобладанию языка S. Но в некоторых ситуациях языкового контакта, как кажется, двуязычные носители приходят в такое состояние, когда уже и целое предложение (а иногда и словосочетание) нельзя отнести с грамматической точки зрения к тому или иному из языков. В таких случаях разница между грамматической интерференцией и переключением становится неопределенной: различие между языками снимается. При этих условиях можно говорить об интерференции как об источнике постепенного языкового сдвига.

6.2. Разновидности языковой системы, являющиеся плодом значительного влияния других языков, могут оказаться преходящим явлением или остаться на периферии языковой жизни одноязычного коллектива. Но при благоприятных социо-культурных условиях эти разновидности могут превратиться в совершенно самостоятельные новые языки. Такова, например, история той ветви французского языка, которая, испытав сильнейшее влияние африканских языков, превратилась в современный карибский креольский в нескольких его разновидностях. При сходных обстоятельствах возникли креольские языки и языки пиджин и в других районах мира. В Индии разновидности языка хиндустани, оказавшись одна под персидским, а другая под санскритским влиянием, разошлись в разные стороны и превратились в урду и хинди. В юго-восточной Азии силы, тянущие в противоположные стороны малайский язык в Индонезии и малайский язык в Малайе, уже привели к различиям в письме и лексике и в будущем могут привести к полному разделению этого языка на два. Но когда изменившаяся под иностранным влиянием разновидность языка становится самостоятельным языком? От нового языка мы требуем по крайней мере заметных формальных отличий от обоих его «родителей» и известной формальной определенности, которая должна последовать за первоначальными колебаниями и вариациями. Ряд критериев связан с функционированием и статусом этого языка. Если некоторая гибридная разновидность языка используется в роли своего рода импровизированного рабочего жаргона, то это, пожалуй, еще не дает ей права называться самостоятельным языком. От языка мы ожидаем, что он возьмет на себя и более существенные функции, например роль

средства общения между матерью и ребенком или орудия официальной речи. Мнение самих носителей о статусе их языка, конечно, является дополнительным критерием с точки зрения социальной психологии языка. Лингвистика, будучи неспособной разрешить все эти проблемы самостоятельно, вынуждена считать понятие языка уже определенным и переходить прямо к его дескриптивному и историческому описанию.

7. Двухязычный носитель как личность

7.1. Речевое поведение разных двухязычных носителей очень различно. Как уже отмечалось в § 1, некоторые из них овладевают несколькими иностранными языками так же хорошо, как своим родным, и интерференция у них оказывается незначительной. Другие владеют вторым языком значительно слабее, чем родным, и в их речи постоянно наблюдается сильная интерференция. Одни легко переключаются с одного языка на другой в зависимости от ситуации, другие делают это с большим трудом. Один и тот же человек может повести себя совершенно по-разному в разных ситуациях двухязычия, его поведение может меняться с течением времени, или он может с рождения быть предрасположен к определенной форме языкового поведения. Все эти переменные величины должны быть тщательно изучены специалистами по психологии языка.

7.2. Много еще неизвестного в вопросе о различиях во врожденной способности к изучению иностранного языка и о ее связи с владением родным языком. Каждый учитель иностранного языка знает, что одни ученики гораздо более успешно изучают иностранные языки, чем другие, но вот попытки предсказывать подобные успехи на основании тестов — исключая, разумеется, наблюдение за самим процессом обучения — пока что находятся в самой начальной стадии. Часто выдвигаемое утверждение, что раннее двухязычие повышает способность к изучению иностранных языков, также все еще ждет научной проверки. Неясно также, связана ли способность к переключению с языка на язык по мере надобности — или противоположная ей склонность к чрезмерному переключению — с некоторой врожденной предрасположенностью или это исключительно результат тренировки. Выдвинутое рядом невропатологов предположение, что есть особый участок мозга, ведающий переключением,

чением языков, по-разному развивающийся у здоровых людей и подверженный расстройствам при повреждениях мозга, пока что следует рассматривать с изрядной дозой скептицизма.

7.3. Несколько больше ясности (по сравнению с вопросом о роли врожденных факторов) в вопросе о влиянии на языковое поведение двуязычных носителей условий, в которых они изучают эти языки. Здесь нас интересуют такие понятия, как родной язык, первый язык и основной, или доминирующий, язык. Очевидно, что представление, согласно которому человек в совершенстве владеет своим «родным языком», затем выучивает другие языки, причем интерференция со стороны родного языка влияет на его речь на этих новых языках, такое представление — плод чрезмерного упрощения. Потому что, если определить «родной язык» как язык, усваиваемый первым, то ясно, что он сам может оказаться объектом интерференции со стороны языков, которые усваиваются после него. Определить, какой из двух языков у данного двуязычного носителя является основным, доминирующим и какой из них является главным источником интерференции (если вообще один из них является главным, а другой второстепенным в этом отношении), — это две отдельные задачи. Наша теория должна быть достаточно гибкой, чтобы учитывать, что в речи двуязычного носителя интерференция может происходить в обоих направлениях. Имеет смысл выработать чисто психологические критерии определения того, какой язык является основным для данного носителя, и затем соотносить таким образом определенное «доминирование» с его возможными языковыми последствиями.

7.4. Психологическое доминирование одного языка над другим может быть установлено с помощью тестов разной степени сложности⁶. Можно, например, задаться вопросом о том, какой из двух языков оказывается более удобным средством для передачи распоряжений, которые должны быть быстро и точно выполнены. Возможна даже такая постановка вопроса: на каком языке двуязычный носитель «думает»; для этого надо проверить, на каком языке он охотнее выдает ассоциации на стимулы, предъявляемые ему вразбивку на обоих языках. С другой стороны, можно держаться того мнения, что «доминирование» языка представляет собой сложную комбинацию факторов примерно следующего типа.

По сравнительному совершенству владения языком: доминирующим является тот язык, которым носитель на данном отрезке своей жизни лучше владеет.

По способу использования: зрительные реакции настолько важны для подкрепления устного пользования языком, что для двуязычного носителя, который владеет грамотой лишь на одном из языков, этот язык и будет основным, независимо от соотношения в уровне устного владения этими языками.

По порядку изучения и возрасту: обычно считается, что язык, которым овладевают в первую очередь, уже по одному этому является «доминирующим». Однако следует внести в это положение некоторые поправки, так как, например, при эмиграции первый язык может вытесняться из памяти двуязычных носителей вследствие постоянной интенсивной практики в употреблении исключительно второго языка. С другой стороны, эмоциональные установки по отношению к первому языку редко полностью переносятся на другие языки. Среди вторых языков язык, усвоенный в детстве и закрепленный практикой, имеет больше шансов на почетное положение в сознании двуязычного носителя по сравнению с языком, выученным в более поздние годы.

По роли в общении: хотя двуязычный носитель может одинаково хорошо владеть обоими языками, может оказаться, что ему чаще приходится прибегать к одному, а не к другому из них. Более частое употребление языка может при прочих равных условиях возвести его в ранг «доминирующего» языка.

По роли в общественном продвижении говорящего: при определенных социальных условиях владение тем или иным языком становится важным не только с точки зрения нужд обучения, но и для продвижения человека по общественной лестнице. При этих условиях он будет стремиться не просто выучить соответствующий язык, но и выучить его хорошо, то есть по возможности преодолеть потенциальную интерференцию. Таков еще один источник «доминирования языка».

7.5. Помимо многочисленных аспектов, в которых доминирование данного языка может проявляться у данного носителя в данный отрезок его жизни, существуют различные изменчивые обстоятельства конкретных ситуаций речевого общения, которые могут отражаться на поведении двуязычного носителя. Например, если его собеседник вла-

деет только одним языком, то двуязычному носителю приходится подавлять бóльшую часть потенциальной интерференции и отказываться от свободы переключения с языка на язык, тогда как, имея дело с двуязычным собеседником, он может свободнее поддаться тенденции к интерференции и переключению. Сильнейшее влияние английского языка на языки иммигрантов в США может быть понято в свете того факта, что целые коллективы становились двуязычными и что не оставалось практически никакого неанглийского одноязычия, необходимого для сопротивления английскому влиянию. У двуязычных носителей есть также тенденция к разграничению тем и собеседников, за которыми закрепляется тот или иной из двух языков. Такой двуязычный носитель может свободно говорить на каждом из языков в соответствующих условиях, но всякое насильственное смещение в этом отношении может привести к значительной интерференции; наконец, масштабы и характер интерференции могут меняться в зависимости от степени утомления и от эмоционального состояния говорящего. Преодоление интерференции требует усилий, которые не всегда и с легкостью могут быть затрачены.

7.6. Лингвисты могут с удовлетворением заметить, что психологи в последнее время уделяют все больше внимания двуязычию, которое является важным источником данных о психологии языка в целом. В частности, много работ было посвящено проблеме различия между двумя типами двуязычия, соответствующими двум типам, выделяемым с лингвистической точки зрения (см. выше § 1.4.). Различные тесты показали, что одни двуязычные носители склонны обращаться с обоими языками как с тесно связанными частями единой знаковой системы, а другие скорее располагают двумя соотнесенными, но отдельными системами.

Эти различия проявляются, например, в различной степени независимости семантических значимостей примерно одинаковых выражений этих языков. Делались попытки выявить типичные условия, при которых развивается каждый из этих типов двуязычия. Роль предвзятого отношения к тем или иным языкам была продемонстрирована с помощью теста, в ходе которого канадцы положительно отзывались о некоторых лицах, прослушав записи их английской речи, а затем отрицательно, прослушав их записи на французском языке, не зная, что это были одни и те же

люди. Любопытно, что такая реакция на французский язык имела место как у англоговорящих, так и у франкоговорящих канадцев.

8. Социо-культурные условия языкового контакта

8.1. Изучение языкового поведения двуязычного носителя и связи между его биографией и его речью на обоих языках вовсе не должно ограничиваться каждый раз одним человеком. Когда контакт между языками происходит в масштабе целой группы людей, особенно если это достаточно большая группа, то индивидуальные особенности языкового поведения отдельных носителей взаимно уничтожаются и проступают социально обусловленные языковые навыки и процессы, характерные для группы в целом. Многие факторы, дающие языку статус «доминирующего» — его важная роль в общении, его значение для социального продвижения и т. д., — навязываются человеку окружающей средой. Поэтому соотношение между языками часто оказывается одинаковым для многих носителей, участвующих в данной ситуации контакта.

Даже порядок, в котором языки изучаются, возраст, в котором они усваиваются, и степень грамотности в каждом из языков часто определяются обществом, а не самим носителем. Более того, окружающая среда может закреплять даже за каждым языком определенные темы и типы собеседников единым для всей группы образом. В одних обществах двуязычие находится под подозрением, в других окружено уважением. В одних обществах переключение с языка на язык допускается, в других — осуждается. Интерференция может разрешаться в одном языке и презираться в другом. Двуязычный носитель стремится придерживаться норм той группы, к которой он принадлежит.

8.2. Очень важный аспект проблемы связан с функциями языка в многоязычном коллективе. Одни функции явно оказывают более консервативное воздействие на языковые нормы, чем другие. Значительна роль консервативных факторов, например, в языке как инструменте образования. Там, где школа оказывается в состоянии служить передатчиком сильной и яркой литературной традиции, там молодому поколению с успехом прививается бдительность к интерференции. В повседневной речи, стремящейся лишь к понятности, тщательностью произношения пренебрегают;

здесь интерференция получает простор и легко входит в привычку. Отлучение языка от функций, придающих ему престиж, например от роли государственного языка, часто снижает его авторитет и уменьшает сопротивление интерференции, способствуя закреплению нововведений, вносимых двуязычными носителями.

8.3. Конечно, «коллектив» слишком крупная единица для нашего рассмотрения. Удобнее рассматривать двуязычный коллектив как состоящий из двух групп, имеющих каждая свой родной язык (two mother-tongue groups — MTG). Каждая MTG включает всех тех членов коллектива, которые усвоили данный язык в качестве своего родного языка. Правда, в эту схему не укладываются случаи, когда весь двуязычный коллектив усваивает оба языка в одно и то же время, в детстве, или когда в двуязычном коллективе один из языков ни для кого не является родным. (Это бывает при таком двуязычии, когда один из языков является лишь традиционным языком литературы, богослужения и т. п., но не служит средством общения матери с ребенком.) Рассматривая двуязычный коллектив как состоящий из двух MTG, мы можем определить роль каждого языка для каждой из MTG. Мы можем сравнить размеры этих групп и увидеть, на какую из групп приходится основное бремя языкового общения. Если в некотором коллективе есть две MTG, по 50% жителей в каждой, то следует ожидать, что равные части каждой группы выучат язык другой группы; можно будет сказать, что бремя двуязычия распределено равномерно. Однако если окажется, что в одной MTG 60% двуязычных носителей, а в другой только 10%, то это является статистическим выражением более привилегированного положения второго языка в данной ситуации языкового контакта.

8.4. Очень поучительно сравнить деление коллектива на MTG с прочими видами его деления на подгруппы. Одним из возможных коррелятов деления на MTG является географическое деление: распространены такие ситуации контакта языков, когда каждая MTG занимает достаточно четко очерченную территорию. Таково, например, положение в двуязычном Фрейбурге в Швейцарии в противоположность двуязычному же Биллю. Связь может иметься также между делением на MTG и делением жителей на исконных и пришлых, иммигрантов. Если одна из MTG является менее исконной, чем другая, то ее язык может

оказаться более подверженным интерференции, не только потому что на новом месте жительства могут обнаружиться и стать более заметными «белые пятна» в языке иммигрантов (см. § 5.2), но и потому, что социальный статус этого языка может быть более низким, чем у языка местных жителей. Так как во многих иммигрантских группах очень велик процент женщин, то вытекающие отсюда смешанные браки также могут вести к нарушению непрерывной языковой традиции в этих МТГ. Часто различия между МТГ оказываются связанными с различиями в обычаях и других неязыковых сферах культуры. Но это не обязательно: в Швейцарии, например, неязыковые культурные различия между французской и немецкой или немецкой и ретороманской МТГ во многих местах почти незаметны. Различия в религии, параллельные различиям в принадлежности к МТГ, могут иметь важные косвенные языковые последствия, связанные с тем, что редкость смешанных браков может привести к тому, что большинство семей окажется одноязычными, так что у детей первые языковые впечатления будут складываться в условиях одноязычной среды. Там же, где к делению на МТГ не присоединяются религиозные различия, детское двуязычие, являющееся следствием смешанных браков, может повести к ослаблению специфических норм обоих языков. Утверждение, что одна из двух МТГ данного коллектива в среднем старше другой, есть не что иное, как синхроническая формулировка того факта, что в этом коллективе происходит языковой сдвиг. Различия в общественном положении — например, проживание в деревне или в городе, принадлежность к классу, касте, — если они регулярно соотносятся с различиями в принадлежности к МТГ, также могут вести к различиям в склонности к закреплению интерференции в находящихся в контакте языках.

8.5. Язык может внушать носителям чувство патриотизма, подобное национальному патриотическому чувству, связанному с идеей нации. Язык, будучи неприкосновенной сущностью, противопоставляемой другим языкам, занимает высокое положение на шкале ценностей, положение, которое нуждается в «отстаивании». В ответ на угрожающий языку сдвиг это чувство верности языку приводит в действие силы, направленные на сохранение языка, оказавшегося под угрозой; в ответ на интерференцию оно превращает стандартизованный вариант языка в символ

веры и святыню. Идеал стандартизованного языка и окружающий его эмоциональный ореол являются неотъемлемой частью западной цивилизации и оказались необычайно заразительными — странный анахронизм! — для азиатских и африканских стран, недавно освободившихся от колониализма. Но вряд ли стоит сомневаться, что именно в ситуациях языкового контакта люди лучше всего осознают отличительные особенности своего языка по сравнению с другими и именно в этих ситуациях чистый или стандартизованный язык легче всего становится символом единства группы. Следующая за этим мобилизация чувства языкового патриотизма может успешно противодействовать «естественному» распространению интерференции в двуязычных ситуациях. В § 5.6. мы уже говорили о стремлении избегать перенесения как средства обогащения словарного запаса во многих языках, где естественные источники заимствования были связаны с нежелательными ассоциациями. В истории индонезийского или израильского национализма усиленное культивирование одного языка, являющегося родным для МТГ, составляющей меньшинство или вообще равной нулю, было реакцией на угрожавшую перспективу многоязычного хаоса. Процесс освобождения от немецкого влияния в чешском или от славянского влияния в румынском был результатом сознательного вмешательства в процесс языкового развития и имел целью противодействовать влиянию контакта; благодаря значительному языковому патриотизму, который удалось мобилизовать, он оказался вполне успешным.

8.6. Языковой сдвиг мы определили в § 2.1. как прекращение употребления одного языка и переход на новый язык. Процесс перехода с одного языка на другой может иметь следующие интересные аспекты. Он может произойти в сфере только некоторых коммуникативных функций языка, и с точки зрения социологии языка важно выявить иерархию функций языка, определяющую возможность распространения сдвига из одних сфер языковой жизни (ср. общение родителей с детьми) на другие сферы. Успешная мобилизация чувства языкового патриотизма на борьбу с уже начавшимся языковым сдвигом, приводящая к длительному периоду двуязычия, обычно с разграничением функций каждого из языков, опровергла уже не одно предсказание о близкой смерти того или иного языка.

В большинстве случаев способность двуязычной МТГ к сохранению своего языка перед лицом угрожающего ему сдвига не зависит от структуры этого языка. Если к языку вообще применима формула «выживает сильнейший», то «сильнейший» может означать только «большой», учитывая, что сам механизм общения в индустриализованном мире ставит меньшие МТГ в невыгодное положение. Можно было бы показать, что для того, чтобы сохранение языка в определенных сферах коммуникации было экономически целесообразно, его МТГ не должна быть меньше определенного минимума по своей абсолютной величине. Вероятно, трудно использовать в качестве языка университетского образования такой язык, МТГ которого не насчитывает нескольких миллионов грамотных членов. Если численность МТГ не достигает даже нескольких тысяч человек, то использование ее языка даже в качестве языка начального образования оказывается связанным с серьезными экономическими затруднениями. Вслед за неудачей МТГ в утверждении или сохранении своего языка в наиболее важных и почетных сферах языковой коммуникации часто, как снежный ком, нарастают все новые и новые проявления его изгнания даже из самых обычных, будничных ситуаций.

В отличие от этих факторов, связанных с функционированием языка, структура какого-либо языка вряд ли может оказаться причиной его неспособности к выживанию. Многим языкам пришлось пройти значительный путь развития в лексическом и даже в грамматическом отношении, прежде чем они достигли «общеευропейского» уровня; ясно, что и любой другой язык мог бы развиваться таким же образом, если бы этому благоприятствовали социо-культурные условия.

8.7. Лингвисту важно помнить, что направление и скорость языкового сдвига не обязательно связаны с направлением и силой языкового влияния. Носители «гибнущего» языка могут передать фонетические и грамматические особенности своей речи в качестве субстрата будущим поколениям носителей языка-«победителя». Но бывает — напр., у многих племен американских индейцев, — что язык умирает целиком и в нетронутым виде. Необходимость отдельного описания «внутренней» и «внешней» судеб языка является еще одним доводом в пользу объединения усилий лингвистики и других наук в деле изучения многоязычия.

ЛИТЕРАТУРА

Uriel Weinreich, *Languages in Contact*, 2-е изд., пересмотренное и дополненное (The Hague, 1962). Книга содержит библиографию, включающую приблизительно 1000 названий. Первое издание вышло в 1953 г. в качестве первой публикации Нью-Йоркского лингвистического кружка.

Специально о двуязычии в Америке см. также Einar Haugen, *Bilingualism in the Americas. A Bibliography and Guide to Research* (Publications of the American Dialect Society, № 26, 1957).

Библиография по двуязычию в Эльзасе приложена к французскому переводу книги «*Languages in Contact*», рукописной диссертационной работе, представленной Жанин Жодель (Janine Jodel) на филологический факультет Страсбургского университета в декабре 1956 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Статья «Unilingualism and Multilingualism» была написана У. Вайнрайхом в 1961 г. Печатается по рукописи, любезно предоставленной автором. В 1968 г. она вышла на французском языке под редакцией А. Мартине в книге «*Le Langage*» (*Encyclopedie de la Pléiade*), Paris, 1968, стр. 647—684.

² Обсуждению статистических данных о многоязычии в Индии посвящена статья У. Вайнрайха «*Functional Aspects of Indian Bilingualism*», «*Word*», 13, 1957, 2, стр. 203—233.

³ О методах количественной оценки языкового разнообразия см. в настоящем сборнике статью Д. Гринберга.

⁴ О румыно-славянской фонологической конвергенции см. также некоторые статьи Э. Петровича, в частности о корреляции по палатализации,

⁵ Внимательный читатель заметит, что автор, говоря о грамматической интерференции, рассматривает лишь явления, относящиеся к оформлению синтаксических связей в предложении. Можно полагать, однако, что интерференция происходит уже на более глубоком уровне высказывания, при выборе синтаксической конструкции для выражения данного смыслового отношения.

⁶ См. по этому вопросу раздел «Интерференция» настоящего сборника.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯЗЫКА И СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА

Ряд лингвистов (в том числе и некоторые из корифеев) считали изучение распространения языков вполне достойным занятием для себя. Достаточно напомнить здесь книгу «Les langues dans l'Europe nouvelle», опубликованную после первой мировой войны (в 1928 г.) Антуаном Мейе (Meillet) вместе с Люсьеном Теньером (Tessier). Однако вовсе не очевидно, что лингвисты сами по себе наилучшим образом подготовлены для выполнения работы такого рода. В самом деле, когда речь идет о современных литературных языках, для которых имеются надежные данные переписей, то для решения задачи, скорее всего, нужен статистик, а если для языка или периода, о котором идет речь, нет таких статистических данных, то мы не можем ожидать ничего, кроме предположительных оценок, которые будут основываться на сведениях, которые может собрать и выразить количественно не столько лингвист, сколько этнограф, историк или филолог. Если нас не удовлетворяет чисто описательный подход (все равно — синхронический или диахронический), т. е. если мы попытаемся собрать сведения о причинах распространения некоторого языка, то, скорее всего, мы придем к выводу, что оно является побочным продуктом военной, политической, религиозной, культурной, экономической или просто демографической экспансии народа, чьим орудием общения и является данный язык. Язык одолевает своих соперников не в силу каких-то своих внутренних качеств, а потому, что носители его являются более воинственными, фанатич-

André Martinet, *Diffusion of Language and Structural Linguistics*, «Romance Philology», 1952, 6, стр. 5—13. Этот текст был зачитан 29 декабря 1950 г. в качестве доклада на собрании Ассоциации современных языков.

ными, культурными, предприимчивыми. Ничто в характере латинского, арабского, испанского и английского языков не предрасполагало к распространению их далеко за свои первоначальные пределы. Или, во всяком случае, все то в их структуре, что могло помочь им в процессе их распространения, лишь отражало те черты народного характера и культурные особенности, которые так или иначе предопределили дальнейший ход событий.

Если, таким образом, распространение языков само по себе не принадлежит к тем явлениям, которые имеют к нам, лингвистам, прямое отношение, оно тем не менее может создать ситуации, которые затрагивают как распространяющийся язык, так и другие языки, вступающие с ним в контакт. Даже в случаях, когда язык распространяется на ранее не заселенные территории, остается возможность, что новая среда и новый способ жизни определяют развитие речи данного района, а косвенно и языка в целом. Но, как правило, распространение языка проходит через ситуацию двуязычия, которая вне зависимости от того, выживает ли каждый из борющихся языков или же один из них исчезает, всегда оказывает весьма значительное влияние на данный язык. Не вызывает, по-видимому, сомнения то обстоятельство, что лингвистическим проблемам, возникающим при этом, до сих пор не уделялось должного внимания. Грубая классификация возникающих при этом социально-языковых ситуаций при помощи понятий субстрата, суперстрата и адстрата вряд ли может быть признана удовлетворительной. Она не может учесть бесконечного разнообразия двуязычных и многоязычных ситуаций. Она разделяет вещи, которые в действительности тесно связаны: так, можно спросить, где кончается иберийский ¹ субстрат и где начинается эускарыйский ² адстрат?

¹ Этот термин применяется здесь в широком смысле — ко всем языкам, которые могли употребляться на «Иберийском» (Пиренейском) полуострове в то время, когда там начала распространяться латынь. Из его употребления вовсе не следует принятие гипотезы, что баскский и язык (или языки) иберийских надписей генетически связаны; см. A. T o v a r, *Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas*, Buenos Aires, 1949.

² Предполагается, что этот термин имеет как географически, так и исторически больший объем, чем термин «баскский»; вымерший «аквитанский» был эускарыйским языком. См. R. L a f o n, *L'état actuel du problème des origines de la langue basque*, *Eusko-Jakintza [Bayonne]*, 1, 1947, стр. 35—47, 151—163, 505—524, в особенности стр. 507—509.

Она располагает ученых к тому, чтобы удовлетвориться простым наклеиванием ярлычков там, где необходимо непредвзятое наблюдение и исследование. Тот факт, что «адстрат» до сих пор остается чуть ли не пустым звуком, характерен для общего духа подобных теорий: ситуация двуязычия сама по себе отпугивает большинство традиционно мыслящих лингвистов. Лишь когда одноязычие восстановлено, они могут вновь вздохнуть свободно. Но тогда, разумеется, уже невозможно прямое наблюдение и слишком часто остается лишь или признать свою некомпетентность, или же работать с непроверенными предположениями. Нам представляется, что в этой области необходимо больше исследований типа работы Бертила Малмберга (Malmberg), посвященной языковой ситуации в Парагвае³, более многочисленных и более научных исследований того, как провинциальные или колониальные формы литературных языков окрашиваются в устах местных жителей.

— Как только отдашь себе отчет в том, что силы, которые назывались действием субстрата и действием суперстрата, представляют собой просто два из большего числа следствий двуязычия и что в связи с двуязычием возникают почти те же самые проблемы вне зависимости от того, являются ли два контактирующих языка совершенно несвязанными, как испанский и гуарани в Парагвае, или же генетически близкородственными, например двумя романскими диалектами, начинаешь понимать огромную важность следствий распространения языков. По-видимому, не будет преувеличением сказать, что взаимовлияние языков — один из самых могучих стимулов языковых изменений.

Когда многие современные лингвисты утверждают, что язык — это структура, они имеют в виду, что язык не случайное скопление слов и звуков, а хорошо организованное и внутренне связанное целое. Этот аспект языковой действительности недостаточно подчеркивался младограмматиками, оставившими на долю своих преемников ликвидировать этот пробел и вывести необходимые следствия, однако из их практической деятельности можно заключить,

³ «Notas sobre la fonética del español en el Paraguay», Vetenskapssocietaten i zund, Årsbol, 1947, стр. 1—18 и «L'espagnol dans le Nouveau Monde: Problème de linguistique générale» в «Studia Linguistica», I, 1947, стр. 79—116, II, 1948, стр. 1—36.

что они рассматривали каждый язык как совершенно автономное и самодовлеющее образование, которое могло изнашиваться или затрагиваться внешними неязыковыми факторами, но фонетическое и морфологическое ядро которого было недоступно внешнеязыковому влиянию. Можно было бы сказать, что в своем сопротивлении признанию «смешанных языков» (*Mischsprachen*) и взглядам таких ученых, как Гуго Шухардт, они выступали прямо-таки борцами за дело структурализма. Фердинанд де Соссюр — пионер структурализма — считал, что раскрыть системный характер языка можно, лишь подходя к нему статически и отвлекаясь от таких динамических тенденций и внешних влияний, которые постоянно угрожают устойчивости языка. Для тех, кто до сих пор разделяет эти взгляды, само название этой статьи должно звучать как вызов или как объединение двух несовместимых аспектов действительности. Только тем, кто рассматривает структуру как постоянную и динамическую реальность каждого языка, предлагаемый здесь подход необязательно покажется противоречивым. Структура языка есть не результат его окостенения, а нормальное следствие экономии языковой деятельности⁴. Когда два языка в результате распространения одного из них вступают в контакт, то это означает, что по крайней мере некоторым людям придется для целей коммуникации использовать две различные языковые структуры. Основная лингвистическая проблема, возникающая в связи с двуязычием, состоит в следующем: в какой мере две контактирующие структуры могут сохраниться неизменными и в какой степени они будут влиять друг на друга, изменять друг друга? Хотя этой проблеме до сих пор не уделяется должного внимания⁵, можно утверждать, что, как правило, происходит большее или меньшее взаимовлияние, в то время как полная независимость обеих структур — несомненное исключение, ибо последняя требует, по-видимому, от двуязычного индивида такой целенаправленной деятельности, на которую мало кто способен, особен-

⁴ См. A. Martinet, *The Unvoicing of Old Spanish Sibilants*, *Romance Philology*, V, 2—3, 1951—1952, стр. 133—156. (См. в настоящем сборнике, стр. 290 и сл.: А. Мартинет, *Контакты структур: оглушение свистящих в испанском языке.* — *Прим. ред.*)

⁵ Эта проблема правильно поставлена по крайней мере У. Вайнрайхом (*W e i p g e i c h*) в его диссертации, защищенной в Колумбийском университете и до сих пор не опубликованной¹⁰.

но если речь идет о значительном промежутке времени. Во всяком случае, можно сказать, что целостность обеих структур имеет больше шансов сохраниться, если оба контактирующих языка обладают равным или сравнимым престижем — эта ситуация часто имеет место в случаях, которые можно назвать индивидуальным двуязычием или многоязычием. Было бы неверно исключить такие ситуации из полного обзора проблем, связанных с распространением языков. Тот факт, что Цицерон был носителем латино-греческого двуязычия, оставил неизгладимые следы в нашем современном словаре. Однако индивидуальное многоязычие (именно поскольку менее вероятно, что оно затронет наиболее полно структурированные аспекты языка, а именно фонологические и морфологические модели), по-видимому, всегда будет оставаться на втором плане, и внимание лингвистов будет обращено на коллективное двуязычие в результате распространения нового языка на весь коллектив. То, как распространяется новый язык, зависит от целого ряда факторов, которые мы не можем ни анализировать, ни даже перечислить здесь. Достаточно сказать, что одним из таких факторов будет специфический характер престижа, которым пользуются носители нового языка. Во всяком случае, этот процесс является постепенным и можно ожидать, что структура нового языка на первых порах подвергнется дурному обращению. Однако через несколько поколений ситуация, как правило, меняется за счет местного языка. Когда в 10 году до нашей эры африканский город Гурза просил о назначении римского протектора, латынь этого прошения была исключительно жалкой, находясь под сильным влиянием структуры местного пунического диалекта (подписавшие носили карфагенские имена). Через 70 лет подобная петиция была привезена в Рим местными чиновниками, которые называли себя *Herennius Maximus* и *Sempronius Quartus*. На этот раз латынь была безукоризненной⁶. У нас нет никаких данных о структуре местного пунического диалекта в то время, но наши знания о сходных ситуациях заставляют нас думать, что его первоначальная семитская структура значительно пострадала. Такое разрушение должно было ясно проявиться как в текстах, так и в речи через бессистемные на первый взгляд отклонения от предшествовав-

⁶ G. Boissier, *L'Afrique romaine*, Paris, 1895, стр. 291.

шей практики. На самом деле эти отклонения являются симптомами далеко зашедших структурных изменений и могут быть объяснены лишь этим. После того как язык прошел через такой период двуязычия, в котором язык-соперник был побежден, структура языка-победителя — вне зависимости от того, стал ли им распространявшийся язык, как было в романских странах, или же местный язык, как это было в Англии в XIV веке,— должна оцениваться в связи с первоначальной структурой обоих контактирующих языков: изолированные аналогии могут быть обманчивы и случайны, в то время как целые ряды структурных черт достаточно убедительны. До тех пор пока будет преобладать атомистический метод, по которому каждая черта рассматривается сама по себе безотносительно к общей модели, мы не можем надеяться получить нечто большее, чем расплывчатые предположения о влиянии другого языка. Когда игнорируется идея о структурной природе языка вместе с вытекающим из нее положением, что изменение в одной точке может в дальнейшем определить далеко идущую реорганизацию модели, то происходит одно из двух: ученые или не замечают глубокого влияния периода двуязычия, или же склоняются к весьма спекулятивным предположениям о последствии благоприобретенных или унаследованных тенденций.

Если, как того требует структурный подход, языковое изменение может быть полностью объяснено только в свете его связи с общей структурой языка, в котором оно происходит, то исследование общей структуры до и после изменения может дать нам ответ на вопрос, лежит ли его причина внутри исследуемого языка или же она объясняется влиянием другого языка. Некоторые изменения «оправданы» формой языка, в котором они появляются. В парижском варианте французского языка совпадение *in* и *un*, происходящее буквально на наших глазах ⁷, может быть объяснено следующим образом: оппозиция этих двух фонем могла сохраняться до тех пор, пока они артикулировались с такой апертурой, которая позволяла говорящим огубление при произнесении *un*, т. е. сохранение признака,

⁷ См. A. M a r t i n e t, *La prononciation du français contemporain*, Paris, 1945, стр. 147 и сл.

отличающего *in* от *in*. Однако носовые гласные фонемы ⁸, по-видимому, стремятся к возможно более широкой артикуляции для более равномерного распределения потока воздуха между носовым и ротовым резонатором и более ясного выделения специфики ртовой артикуляции. Однако слишком широкая артикуляция приходит в столкновение с огублением. Если бы говорящие нуждались в оппозиции *in* : *in*, то раскрытие артикуляции остановилось бы, достигнув опасной зоны. Но поскольку эта оппозиция почти не играет различительной роли в системе языка ⁹, то говорящие не чувствовали необходимости сопротивляться этой тенденции к открытию рта и произошло совпадение *in* и *in*. Мы замечаем, что это совпадение, по-видимому, распространяется и в некоторых провинциях. Здесь необходимо различать три следующих процесса: (1) в некоторых местах опасная зона была достигнута в результате естественной эволюции, которая могла быть ускорена влиянием Парижа; (2) в других местах носовые передние гласные являются сами по себе достаточно высокими для осуществления огубленной артикуляции, но это игнорируется вследствие подражания Парижу, все *in* переходят в *in* и фонемы совпадают ¹⁰; (3) в некоторых районах, где обе артикуляции четко различаются, некоторые слова, содержащие *in*, в результате подражания будут произнесены с *in*, в то время как в других будет сохранена традиционная фонема; с течением времени число слов, получающих *in* вместо *in*, будет увеличиваться, и *in* постепенно исчезнет из-за отсутствия слов, в которых оно слышится и произносится. Необходимо учитывать все три возможности, при-

⁸ Это верно, во всяком случае, относительно носовых гласных переднего ряда. В случае задних гласных, по-видимому, действуют и другие факторы. Когда *on* и *an* начинают сливаться в современном французском языке, то в результате, скорее всего, получится [ɔ̃]. Старославянскому *ę* (<en) соответствует в русском языке [ʼa], а *o* соответствует [u]. Возможно, носовой резонатор постоянно стремится придать звуку более низкий тембр. Это объяснило бы оба перехода: [ĩ > ẽ > ɛ̃] и [ã > ɔ̃].

⁹ Имеется, по-видимому, очень мало пар и «квазиомофонов» типа *alun* — *Alain*, причем таких, которые могут быть легко различены по другим признакам.

¹⁰ Это, по-видимому, случилось в районе Бри к востоку от Парижа, где результатом совпадения явилось [ɛ̃], см. M. D u r a n d, *Le genre grammatical en français parlé*, Paris, 1936, стр. 161 и сл. и карты 1 и 2.

чем не только для местных вариантов литературного французского языка, но и для всех наречий, как романских, так и нероманских. В бретонском, например, имеются две фонемы / \tilde{e} / и / $\tilde{œ}$ /, причем их противопоставление, по-видимому, играет бóльшую различительную роль¹¹, чем во французском, и все же можно ожидать, что если носители французско-бретонского двуязычия смешивают в своем французском языке в результате одного из первых двух процессов *in* и *un*, то то же самое они будут делать и в своем бретонском. Таким образом, слияние *in* и *un*, которое структурно «оправдано» в Париже и некоторых соседних областях, может распространиться на диалекты, фонемные и морфофонемные структуры которых не могут дать этому объяснения. Эта ситуация заставляет предположить, что во всех случаях, когда мы имеем дело с изменением, которое в прошлом распространилось на широкую территорию, включающую различные диалекты или языки, мы можем установить первоначальный центр его распространения, исследуя, какую структуру во время изменения имели все затронутые этим изменением языки. Мы часто найдем в одном из них некоторые определяющие факторы, которые отсутствуют в остальных. Этот метод был применен Андре Одрикуром (H a u d r i c o u r t) к проблеме перехода $\text{ei} > \text{oi}$ во французском языке¹², ибо с точки зрения структуры средневекового парижского французского этот переход представляется странным. Верно то, что повышение гласного в дифтонге *ai* в то время подверглось опасности полезную оппозицию *ai* : *ei*, но в непосредственной близости от Парижа, на север и на запад от него, носители диалекта французского вполне справлялись с совпадением двух дифтонгов, и ничто в парижской модели не давало ключа для объяснения странного сдвига артикуляции назад. Напротив, если мы рассмотрим ситуацию к востоку от Парижа, в Шампани и Бургундии, то увидим, что переход $\text{ei} > \text{oi}$ произошел в связи с общей заменой e на o , которую, как видно из существующих диалектов,

¹¹ Или, выражаясь более специальным языком, может иметь бóльшую функциональную нагрузку, то есть различать большее число «квазиомофонов». О бретонских носовых гласных см. F. F a l c' h u n, *Le système consonantique du breton*, Rennes, 1951, стр. 23.

¹² См. «Problèmes de phonologie diachronique (français *ei* > *oi*)», «Lingua», I, 1948, стр. 209—218.

повлекла за собой реорганизация системы кратких гласных в результате перехода $u > \ddot{u}$. Замена ϵi на ϕi в Париже, по-видимому, происходила в отдельных словах в соответствии с третьим путем, рассмотренным выше. Некоторые слова, как, например, *сгаіе*, не были затронуты ни в написании, ни в произношении; некоторое число других и некоторые грамматические окончания и конечные слоги начали писаться с *oi*, но, по-видимому, произносились так лишь частью населения, так что в конце концов ϵ , регулярно развившееся из $e i$ путем смещения с рефлексом $a i$, сменило своего соперника ϕi .

Тот же метод может быть применен к более древнему изменению, охватившему более широкую область, а именно к дифтонгизации долгих ϵ и ϕ , которая, по-видимому, проходила в третьей четверти первого тысячелетия в северном и восточном галло-романском, в юго-западном германском и северном итало-романском. Мы отвлечемся здесь от кастильского перехода ϵ и ϕ в ie и uo , происходившего, по-видимому, в других фонетических условиях. В романской области дифтонгизация распространяется на все районы, подчиненные раннему франкскому, бургундскому и лангобардскому господству, и вполне возможно, что фон Вартбург¹³ (*von Wartburg*) прав, утверждая, что первое условие дифтонгизации, а именно полное удлинение гласных в свободных слогах, было следствием влияния германской речи, в которой долготы гласного была различительной чертой. Но отсюда вовсе не следует, что германским влиянием объясняется и сама дифтонгизация, которая не распространилась за пределы самой южной части германоязычной области¹⁴. Вообще говоря, можно предположить, что центр дифтонгизации был где угодно, в любой части германской или романской территории, и она распространилась оттуда благодаря двуязычным индивидам на всю ту территорию, где мы находим ее следы. Однако если мы сравним вокалическую систему романского с той, которая предполагается для раннего западногерманского, то мы можем установить, что романский, характеризующийся четырьмя различительными степенями открытости

¹³ См. «Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume», Bern, 1950, стр. 85 и сл.

¹⁴ Ср. точку зрения Т. Фрингса в: «Französisch und Fränkisch» (2. Die nordfranzösische Diphthongierung), «Zeitschrift für romanische Philologie», LIX, 1939, стр. 257—283.

по сравнению с тремя в германском, был в гораздо большей степени подвержен профилактической дифтонгизации. Это объяснение, как представляется, гораздо лучше, чем собственные аргументы Фрингса¹⁵, подтверждает его вывод, что дифтонгизация распространилась из Северной Франции на Южную Германию. Французская и североитальянская дифтонгизация *e* и *o* были следствием параллельного местного развития под аналогичным иноязычным влиянием, действовавшим на практически одинаковую вокалическую систему.

Нетрудно представить себе, как может происходить фонетический сдвиг в двух языках, начинаясь в пределах двуязычной области и распространяясь на одноязычные районы. Ситуация, возникающая, когда данное изменение распространяется по всей области, в которой язык А или является единственным, или же употребляется параллельно с языком В, а затем проникает и в область, где употребляется только язык В, вряд ли принципиально отличается от предыдущей. Более удивительным представляется случай, когда сдвиг, который произошел в достаточно далеком прошлом и результаты которого сосредоточены в языке А, проявляется в соседнем языке В среди двуязычного населения или же через посредство некоторой зоны двуязычия. В какое-то время в прошлом каждое и во французском языке перешло в *ü* по причинам, которые здесь незачем обсуждать. Через много столетий эти *u* — или, во всяком случае, некоторые *u* — перешли в *ü* не только во многих галло-романских диалектах, но и в соседних баскских и нижненемецких диалектах. Этот переход столь трудно объяснить французским влиянием, что многие лингвисты склонны вообще это влияние отвергать. Однако географические и культурные аргументы в пользу именно такого распространения этих явлений столь сильны, что стоит попытаться найти их лингвистическое обоснование. Ясно, что в этом вопросе можно добиться, лишь если будут установлены и приняты во внимание фонемные структуры рассматриваемых языков. Процесс, который можно себе представить, будет выглядеть примерно так: язык (или диалект) В является нормальным средством общения для данного коллектива, язык А — это «язык престижа» и на нем наряду с языком В говорят правящие классы. Ряд слов проникает

¹⁵ Там же, стр. 278.

из А в В. Они содержат фонетический элемент, незнакомый в В, в нашем случае [ü]. Одноязычные носители языка В затрудняются произносить его и заменяют ближайшим звуком родного языка, т. е. [u]; последующие поколения, начиная с ранних лет подражать высшим классам, уже могут произнести [ü], но поскольку они остаются одноязычными носителями В и не являются специалистами по этимологии, то они не ограничивают применение звука [ü] заимствованными словами, а иногда распространяют его и на слова языка В, заменяя исконное [u]. В их речи [u] и [ü] становятся двумя вариантами одной фонемы, причем [ü] употребляется в официальных ситуациях и в «благородных» словах, а [u] в обычной обиходной речи. Если эта социально-языковая ситуация сохраняется достаточно долгое время, то [ü] распространится за счет [u]. Первоначальное [u] или исчезнет, или будет ограничено кругом «низких» слов, и лингвисты могут вообще не заметить их, если это [u] совпадает с какими-нибудь новыми [u], получившимися в результате некоторого локального фонетического сдвига, который в свою очередь может быть в большей или меньшей степени вызван пустой клеткой («дырой») в системе, практически образовавшейся в результате широкого распространения [ü]. Именно такому процессу я бы приписал голландско-фламандский переход германского u в ü¹⁶.

В некоторых случаях процесс может быть в известной мере осложнен тем фактом, что новое произнесение [ü] закрепляется лишь в особо благоприятных фонетических условиях, в то время как в остальных случаях сохраняется [u]. Таково, например, положение в соулетинском диалекте баскского языка¹⁷. Это усиливает впечатление, что мы имеем дело с нормальным фонетическим переходом, тем не менее мы не должны забывать о первоначальной причине перехода: подражание было успешным только там, где оно было относительно простым.

¹⁶ В Голландии прослеживается замена [u] на [ü] в отдельных словах, причем этот процесс идет с юга на север. См. об этом G. G. K l o e k e, *De hollandsche expansie*, The Hague, 1927, в особенности стр. 107, § VIII.

¹⁷ См. H. G a v e l, *Eléments de phonétique basque*, Paris, 1920, стр. 40 и сл. Подробно рассмотрев (стр. 46 и сл.) вероятность беарнского происхождения соулетинского перехода u > ü и представив веские аргументы в пользу этой гипотезы, автор в конце не решается сделать очевидный вывод.

В других случаях новый звук [ü] может появиться в неожиданных контекстах, например в палатальном окружении в качестве рефлекса некоторой иной фонемы, а не первоначального [u]. Здесь перед нами местное развитие, которое мы можем считать независимым от замены [u] на [ü], но которому, по-видимому, благоприятствовало существование [ü] или в местном языке, или в «языке престижа». Именно это мы обнаруживаем во франко-провансальском диалекте района Во (Vaux), прекрасно изученного и описанного Антоненом Дюрафуром (D u r a f u r)¹⁸.

Если, как многие считают, дорсальное или увулярное г в ряде европейских языков объясняется парижским влиянием, то его распространение следовало бы объяснять почти таким же способом. Здесь вновь, так же как и в случае соулетинского [ü], мы замечаем, что распространение заднего г часто ограничено во многих языках или типах речи некоторыми фонетическими ситуациями или фонемными вариантами: во франко-провансальском диалекте Отвиля (H a u t e v i l l e) оно встречается в начале слова, в конце слова и в удвоении, в то время как после согласного и в интервокальном положении сохраняется вибрация¹⁹. Мы находим аналогичные ограничения в провансальском²⁰, баскском²¹, во многих американских разновидностях испанского и португальского²² и некоторых диалектах центральной Швеции²³. Т р у б е ц к о й в «Основах фонологии» указал, что структура чешского языка мешает распространению этого типа г; это, по-видимому, относится и к некоторым другим языкам, которые

¹⁸ См. «Bulletin de la Société Linguistique», XXVII, 1927, стр. 77—79 и XLIII, 1947, стр. 83—85.

¹⁹ A. M a r t i n e t, «Revue de Linguistique Romane», XV, 1939, стр. 28—30 (Description phonologique du parler franco-provençal d'Hauteville (Savoie)).

²⁰ H. N. C o u s t e n o b l e, La Phonétique du provençal moderne en terre d'Arles, Hertford, 1945, стр. 192 и сл.

²¹ H. G a v e l, Grammaire basque, Bayonne, 1929, стр. 58 и сл.

²² T. N a v a r r o, El español en Puerto Rico, Río Piedras, 1948, стр. 89 и сл. В случае американского испанского и португальского мы должны, во всяком случае, считаться с возможностью независимых местных переходов, при которых была ликвидирована фонемная аномалия изолированной пары заднего и краткого согласного г : г.

²³ В обширной зоне центральной Швеции, севернее провинций Сконе и Смоланд, где задняя артикуляция г встречается почти

не подвержены такому изменению. Может быть, дело в том, что внедрению г в некоторых языках и диалектах благоприятствовало то, что оно решало назревшую структурную проблему. Так, благодаря ему в системе романских языков исключался последний остаток латинской корреляции долготы согласных.

Настойчивое требование Трубецкого и многих других ведущих фонологов различать две автономные науки, фонетику и фонологию, было справедливо в тот период, когда для ясности требовалось подчеркнуть различие между старым и новым подходом. Трубецкой даже отождествил понятие фонемной релевантности с соссюровским «langue», оставив фонетистам всю область «parole». Это привело некоторых ученых к ошибочному предположению, что задача структурной лингвистики исчерпывается составлением списков или таблиц фонем и грамматических морфем. На самом же деле осознание структурной природы языка должно помочь нам в оценке любого наблюдаемого факта, каким бы мелким и неважным он ни казался, в свете языковой системы в целом. Описание структуры языка не означает, что мы должны ограничиваться лишь немногими фактами, которые представляются особенно важными, а требует установления иерархии, в которой каждый элемент языка найдет место, которого он заслуживает в связи с выполняемой им функцией в процессе человеческого общения.

во всех позициях, долгое г в середине слова и (долгое или краткое) конечное г имеют заднюю артикуляцию, в то время как в остальных случаях сохранена первоначальная артикуляция кончиком языка, см. G. Sjöstedt, *Studier över r-ljuden i sydkandinaviska mål*, Lund, 1936, стр. 157 и сл. В западнороманском начальное г является исконно долгим и обычно разделяет судьбу долгого г в середине слова. О происхождении долгого начального г см. мою статью «Celtic Lenition and Western Romance Consonants» в «Language», XXVIII, 1952.

К ПРОБЛЕМАТИКЕ СМЕШЕНИЯ ЯЗЫКОВ

Термин «смешение языков» употребляется здесь в широком смысле. Это связано с желанием рассмотреть в данной работе некоторые общие вопросы, а также ряд специальных славистических проблем, причем меня будет интересовать не столько процесс смешения языков, сколько его результаты¹.

Исследуемое явление вполне можно было бы обозначить термином «языковой контакт» («language contact»). Этот термин, введенный Андре Мартине и получивший известность благодаря У. Вайнрайху, в последних работах (Вайнрайх, Фогт, Хауген, Завадовски и др.)² стал общепринятым: он удобен, а главное, достаточно широк; однако он ничего не объясняет в лингвистическом отношении, лишь обозначая языковые ситуации — этим ситуациям в свою очередь противопоставлены возникающие в результате их общие языковые явления, которые можно обозначить термином «языковая интерференция»³.

Пути, ведущие от «контакта» к возникновению совокупности общих языковых черт, к «интерференции», могут быть весьма различными: речь может идти об одностороннем влиянии одного языка на другой, или о взаимном влиянии двух или более языков, или о конвергентном развитии определенной языковой группы, или, наконец, об общем субстрате (правда, значение последнего понятия раньше переоценивали, и часто оно появлялось для объяснения

Bohuslav Havránek, Zur Problematik der Sprachmischung, в: «Travaux linguistiques de Prague», 2, Prague, 1966, стр. 81—95. Перевод данного текста автором просмотрен и дополнен.

как *deus ex machina*; по моему мнению, субстрат не относится к главным факторам изменения языка; это мнение в последнее время становится преобладающим среди лингвистов)⁴.

Таким образом, говоря о языковом смешении в широком смысле слова, мы имеем в виду определенные ситуации и определенные пути развития, но в первую очередь нас интересует их результат, а именно общие языковые черты (языковая интерференция). Мы оставляем в стороне проблемы контакта различных стилей и типов речи внутри одного языка, а также контакты близкородственных языков, легко понятных для носителей этих языков.

Я хотел бы сказать здесь также несколько слов об общей проблеме развития языка. С одной стороны, оно понимается как имманентное развитие каждого отдельного языка — сегодня вряд ли кто стал бы возражать против такой точки зрения; и если я в дальнейшем не останавливаюсь на имманентном развитии, то не потому, что не признаю этого принципа, ибо для Пражской школы, к которой я принадлежу, этот принцип был и остается основным.

Но с другой стороны, существует внешняя мотивированность языкового развития, и здесь иноязычное влияние является одним из важнейших факторов. Правда, при более глубоком рассмотрении приходится и здесь различать внутренний и внешний аспекты. Ибо те, кто рассматривает влияние чужих языков лишь как внешнюю мотивировку, целиком отличную от имманентного развития и даже противоположную ему, упрощают весь вопрос; речь идет не только о чуждом, идущем извне влиянии, но прежде всего о том, как проявляется это влияние в воспринимающем языке, а это уже вопрос, связанный с внутренним развитием данного языка, которое и определяет, какие черты заимствуются, а какие нет. Необходимо поставить вопрос о причинах того, почему одни черты заимствуются, а другие нет. Часто ответ на него найти бывает трудно, но многое зависит от того, насколько иноязычное влияние соответствует возможностям внутриязыкового развития⁵.

При постановке вопроса о языковом смешении часто исходят из проблемы «двуязычия». Я считаю, однако, и многие лингвисты придерживаются того же мнения, что двуязычие — это особый случай языкового контакта. Правда, двуязычие — это опять некоторая ситуация, а не

ее разрешение в отдельном случае. Однако двуязычие можно понимать по-разному. До сих пор есть еще ученые, которые понимают под двуязычием в широком смысле любое влияние чужого языка, вне зависимости от того, имеет ли оно коллективное или индивидуальное проявление, идет ли речь о действительном владении двумя языками или же только о контакте с чужим языком (например, благодаря изучению языка в школе или же просто пассивному овладению им). Это широкое понимание двуязычия можно найти еще в литературе XIX века, например у Германа Пауля в его классическом труде «Принципы истории языка» (1880), но также и у некоторых современных авторов ⁶.

Я считаю такое понимание двуязычия слишком широким, поэтому в начале своей статьи я отдал предпочтение термину «языковой контакт».

По-моему, невозможно рассматривать индивидуально реализуемое двуязычие в качестве существенного фактора языкового развития, каковым могут быть лишь коллективные явления. Однако двуязычный коллектив не обязательно должен быть чем-то цельным в этническом или национальном плане.

Я не отрицаю также, что влиянию одного языка на другой, вне зависимости от того, является ли оно односторонним или взаимным, может способствовать индивидуальное владение другим языком. Так распространяются прежде всего научные термины, что мы явственно ощущаем особенно в последнее время. Так же очевидно, что индивидуальное двуязычие может стать объектом лингвистического исследования, но лишь как симптом, а не как фактор конкретного развития языка ⁷.

По-моему, термин «двуязычие» при изучении развития языка следует применять лишь к коллективному двуязычию, т. е. ограничить его теми случаями, когда в одном языковом коллективе (а не только у отдельных его членов) имеются и используются две разные грамматические системы и два разных словаря ⁸ (при этом, разумеется, речь может идти о разных степенях различия грамматики и лексики и тем самым о большей или меньшей степени двуязычия).

Можно говорить по крайней мере о двух степенях двуязычия: о полном двуязычии и частичном двуязычии. Разумеется, следует различать степени коллек-

тивного двуязычия, а все, что им не является, подпадает под более широкую категорию языкового контакта⁹.

Иногда говорят о двуязычии в пределах одного и того же языка (для этого случая был еще предложен специальный новый термин «диглоссия»¹⁰), но я не буду заниматься таким двуязычием, так же как и мнимым двуязычием на пограничье двух близкородственных языков.

Я хотел бы привести примеры различных типов коллективного двуязычия в славянской языковой области.

В прошлом на чешской территории существовало чешско-немецкое двуязычие, распространявшееся, однако, не на весь народ, а только на его часть. В первую очередь двуязычие распространилось на некоторые крупные города в которых оно началось еще раньше (с XIII века), продолжалось в XVII и XVIII веках и даже в начале XIX века, а в некоторых моравских городах еще дольше (до конца XIX века). Другого рода двуязычие имело место на стыке двух этих языков, где до обострения национальных противоречий в Чехии и Моравии чешские и немецкие общины, не всегда даже четко разделенные, поддерживали добрососедские отношения, но где двуязычие носило иной характер, чем в городах.

Городское двуязычие можно было бы также назвать «двуязычием сверху», а двуязычие в пограничье — «двуязычием снизу». Например, в таких местах, как область от Либьехова до Мимони (в северо-восточной Чехии), еще в дни моего детства (к началу XX века) было много крестьян, преимущественно мужчин, которые в общем (в рамках своих потребностей) владели двумя языками или, точнее, диалектами каждого из них, и с точки зрения социально-этнической их двуязычие было взаимным¹¹.

Говоря о городском двуязычии, необходимо различать, идет ли речь о господствующем слое патрициев или же о ремесленниках и мелких торговцах. Двуязычие вторых по сравнению с первыми было взаимным.

Итак, для нашей территории можно с уверенностью говорить о чешско-немецком двуязычии в прошлом. Это не было, правда, полное двуязычие; однако имелись ситуации и периоды, когда не только отдельные индивиды, но и целые коллективы в силу местоположения, обществен-

ного положения и условий существования действительно пользовались двумя языками — хотя и не в равной мере, но все же так, что они в основном владели как грамматической структурой, так и словарем обоих языков. Но, несмотря на это, определенно имелись какие-то изъяны то в чешском, то в немецком языке ¹².

Точно так же несомненно, что в определенный период на чешской территории создалась и такая языковая ситуация, которую можно назвать чешско-латинским двуязычием, хотя это двуязычие и ограничивалось одной определенной функцией. Носители гуманистической образованности в XVI и XVII веках могли одинаково хорошо выражать свои мысли по определенному кругу вопросов на чешском и латинском языках; может быть, им даже легче было пользоваться латынью. Конечно, это был другой вид двуязычия, чем чешско-немецкий: это было функциональное двуязычие, существовавшее, разумеется, не только у нас ¹³.

Однако можно привести и пример полного двуязычия на славянской территории. Серболужичане во второй половине XIX века и в XX веке действительно почти все были двуязычными. Я имею сведения о Лужице начиная с 20-х годов, когда я прошел пешком если не всю Верхнюю Лужицу, то, во всяком случае, значительную ее часть, и только в одной деревне (Радворь) на мое лужицкое приветствие мне ответили по-лужицки (может быть, это была случайность, но, во всяком случае, по-лужицки отвечали редко). Между собой серболужичане тогда еще говорили по-лужицки, но с чужим человеком, т. е. любым, который не принадлежал к их деревенской общине, они привыкли говорить только по-немецки. За исключением двух-трех старух, все лужицкое население было действительно двуязычным. Этот вид двуязычия можно назвать полным ¹⁴. Такое же полное двуязычие (может быть, несколько иного рода в силу большей изолированности тогдашних деревень) можно найти в определенный период и у полабских славян — во всяком случае, в период, предшествовавший исчезновению их языка. (Можно было бы привести и другие европейские примеры.)

На славянской территории существует и совершенно другой вид языковых контактов, а именно балканский языковой союз. Балканский языковой союз, несомненно, типичный пример сближения генетически

неродственных языков: румынского (не только дакорумынского, но и арумынского и мегленорумынского), новогреческого, болгарского, македонского и албанского. Все эти языки имеют общие черты. Некоторые из этих черт могут быть объяснены как результат местного (болгарского, румынского и т. п.) развития, но совпадение целого ряда таких черт позволяет рассматривать и объяснять их с высокой степенью вероятности как действительно общие и взаимосвязанные явления.

Существование общих языковых черт на Балканах подтверждается чисто эмпирическим путем. Точно так же как не нужно быть лингвистом, чтобы заметить родство славянских языков, очень легко установить и балканские соответствия. Уже Копитар и Добровский обозначили болгарский язык как *slavica lingua romana*, назвав его славороманским (тогда еще очень мало знали о болгарском языке). Известна также формула Миклошича, что у балканских языков одна грамматика и различная лексика, что они вставляют разные слова в одну и ту же грамматическую структуру. Эта формулировка, правда, не вполне соответствует действительности, но в известной мере все же отражает положение вещей.

Являются ли общие черты балканских языков результатом частного или полного двуязычия (или многоязычия)? Разумеется, трудно говорить о полном двуязычии на Балканах — о полном болгаро-греческом или албано-греческом двуязычии или румыно-болгаро-греческом триязычии и т. п. Однако здесь, несомненно, существовало двуязычие (многоязычие), которое, правда, распространялось лишь на торговые центры и важные торговые пути. Балканские торговые пути, которыми пользовались все балканские народы, были исследованы с исторической и документальной точки зрения Константином Йиречком (Jirsek). Например, очень важным в этом отношении было русло Вардара (который был, однако, не единственным путем этого типа на Балканах). Мы знаем, что там действительно еще в XIX веке и в начале XX века население таких торговых центров, как Скопле, Битоль (но, разумеется, не сельское население), было не только двуязычным, но, как правило, трехязычным и даже четырехязычным. Я сам могу засвидетельствовать, что там еще в 30-е годы мелкие ремесленники (являющиеся на Балканах и мелкими торговцами) были по крайней мере трехязычными, а во

многих случаях и четырехязычными. Я сам знал человека, говорившего по-сербски, по-македонски, по-албански и по-турецки; и этот человек ни в коем случае не был исключением (правда, я не мог установить, говорил ли он на всех этих языках безукоризненно правильно, но в любых ситуациях он без труда свободно договаривался с собеседником). Следует ли предполагать, что такие люди, которые говорили по крайней мере на трех языках, действительно владели тремя языковыми системами и тремя словарями? С точки зрения языковой психологии было бы трудно понять, как эти простые люди (причем не в единичных случаях, а как правило) действительно смогли бы овладеть так хорошо многими языками, если бы эти языки не имели общих черт. Можно предположить, что для говорящих структуры языков хотя бы частично совпали, став в большей или меньшей степени одной и той же структурой. Поэтому говорящим нужно было, собственно, овладеть всего лишь одной основной структурой, которую они затем дифференцировали определенным способом при реализации различных языков. У этих языков много общих грамматических категорий и средств, а также довольно большое совпадение словаря (особенно в области ремесла). Здесь можно с полным правом говорить о многоязычии (мультилингвизме) особого рода, и все же это многоязычие не затрагивало целую этническую группу, оно распространялось лишь на определенные области, из которых общие черты проникали в отдельные языки.

Таким образом, двуязычие (или многоязычие) в славянской языковой области оказывается явлением коллективным, хотя и не затрагивающим обычно целые народы. Однако это частичное двуязычие оказывает влияние на развитие отдельных языков.

Поставим теперь вопрос, к каким уровням языка относится интерференция, возникшая в результате языкового контакта (в смысле двуязычия или многоязычия и конвергенции). Пока на этот вопрос можно ответить следующим образом.

Разумеется, когда вообще говорят о смешении языков на основе коллективного двуязычия, то имеют в виду не отдельные **з а и м с т в о в а н и я с л о в**, ибо последние могут возникнуть в результате самого слабого языкового

контакта (даже только индивидуального). Но если перед нами целые функционально связанные лексические слои, как, например, слой французских слов для определенных абстрактных культурных понятий в английском языке, слой арабских слов в испанском языке или немецкие ремесленные термины в чешском языке, то вполне может возникнуть вопрос, не следует ли рассматривать их как результат двуязычия. По-моему, здесь скорее можно говорить о профессиональной терминологии как результате развития в двуязычном коллективе. Разумеется, что, например, те чешские ремесленники, которые употребляли чехизированные по своей форме термины немецкого происхождения, не обязательно должны были сами владеть немецким языком; но эти термины все же были результатом определенного языкового контакта, профессионального или функционального двуязычия. Примером того, сколь широко были распространены среди чешских мастеров немецкие термины, может служить то обстоятельство, что ремесленные термины, введенные в XIX веке чехами после освобождения Болгарии в болгарский язык, были немецкого происхождения и в то же время носили явную печать чешского посредничества (ср., например, столярную терминологию)¹⁵.

Особое внимание следует уделить языковой интерференции в звуковой и грамматической системе. Здесь возникает довольно сложный вопрос, при каких типах языковых контактов может возникнуть такая интерференция. Я согласен здесь с теми, кто утверждает, что общие черты в этой области могут возникнуть лишь на более высоком этапе коллективного двуязычия.

Возникает и другой вопрос: следует ли рассматривать такие общие черты (применительно к славянской языковой области) как результат одностороннего влияния одного языка на другой, или взаимного влияния двух или нескольких языков, или, наконец, конвергентного развития группы языков.

С полной уверенностью можно говорить об одностороннем влиянии латыни на западнославянские и частично на южнославянские, а также вообще на европейские языки, причем это влияние простиралось не только на лексику, но и на синтаксическую структуру. По-моему, здесь можно говорить о двуязычии; правда, это было социально и функционально ограниченное двуязычие, которое влияло в первую очередь на развитие литератур-

ных языков — на структуру сложноподчиненного предложения, на порядок слов, употребление причастных оборотов и т. п. Конечно, родной язык влиял на письменную и устную латинскую речь, но это влияние было весьма незначительным. Я имею здесь в виду эпоху позднего средневековья и Возрождения, когда латынь была живой лишь в условиях тогдашнего двуязычия, отвлекаясь от ранней романизации большей части Европы (тогда имели место очень важные воздействия; достаточно указать на суффикс *-agiis* или на прошедшее типа *factum habeo, casus sum* и т. п.).

В южнославянской языковой области господствовало несомненное хорватско-итальянское двуязычие в Дубровнике и в городах Далмации; это двуязычие проявляется в классической литературе Дубровника, где, например, можно найти инфинитивы итальянского типа *с за* и т. п. При этом далматинские города Задар, Сплит и Дубровник были с самого начала двуязычными: романскими и славянскими; старый романский «далматинский» лишь позднее был заменен итальянским. Ситуация здесь была слишком сложна, чтобы ее можно было изложить в нескольких строках: с одной стороны, имело место в большинстве случаев одностороннее славянское влияние на неславянское население — влияние, которое, правда, было более сильным в речи, чем на письме, и которое иногда сопровождалось обратным влиянием; с другой стороны, наблюдалось функционально ограниченное культурное италяно-хорватское двуязычие¹⁶.

В чешском языке также можно установить одностороннее влияние немецкого языка. Это влияние видели в различных явлениях фонетического уровня: в ударении на первом слоге, в дифтонгизации долгих гласных, в частичной потере палатализации, а также в некоторых грамматических явлениях¹⁷. Но и эти вопросы в какой-то мере спорны.

Целый ряд авторов указывает, что немецкое ударение в сущности носит другой характер, чем чешское, падая на лексическую морфему (то есть не на начало слова, как в чешском языке), так что чешское ударение на первом слоге слова не может быть объяснено односторонним немецким влиянием. Тем не менее можно ставить вопрос об общности языков в этом отношении, а именно в плане стабилизации ударения на определенном слоге: венгерское

ударение падает на первый слог, как в чешском языке, польское ударение также стабилизировалось, а именно на предпоследнем слоге, в лужицких языках известны оба типа и т. п. Поэтому можно считать стабилизацию ударения, несмотря на различные ее проявления, общей средневропейской чертой, вряд ли, однако, возникшей на основе одностороннего влияния. Точно так же в Македонии как для славянских, так и неславянских языков характерно парокситональное и пропарокситональное ударение.

Иначе выглядит вопрос о дифтонгизации долгих гласных \bar{y} (частично \bar{i}) $> e$, \bar{u} $> ou$ (в старом написании au). До последнего времени исследователи не пришли в этом вопросе к однозначному решению, и нужны новые, более глубокие исследования.

Я сам придерживаюсь мнения, что чешская и немецкая дифтонгизация настолько похожи друг на друга, что трудно было бы исключить здесь немецкое влияние. Но прежде чем мы решим этот вопрос, необходимо четко осознать, что причиной было не подражание немецкому языку чехами, а, по-видимому, чехизация немецких патрициев и немецких ремесленников в городах: в их выговоре чешский язык изменился, и это изменение распространилось как городское, социально более высокое произношение. Напомню в этой связи возмущение Яна Гуса некоторыми явлениями в тогдашнем чешском языке Праги, которые свидетельствуют о подобной ситуации (исчезновение корреляции $l/\text{ʃ}$ и корреляции i/u в Праге)¹⁸; к этому можно прибавить и исчезновение мягких губных и свистящих.

В грамматическом строе литературного чешского языка вряд ли можно найти какие-нибудь явления в области морфологии и синтаксиса, которые можно и нужно было бы объяснять как следствие немецкого влияния, если не считать общеевропейского типа построения предложения и некоторых случаев управления.

Необходимо, однако, отдавать себе отчет (это особенно ясно на материале балканских языков) в том, что литературный язык иногда сохраняет более резкие отличия от соседнего языка, чем народный язык. Например, литературные балканские языки довольно далеко отошли от общего балканского языкового типа, так что отражения балканского языкового союза в них в известной степени затемнены (это показано в работе одного молодого чешского балканиста)¹⁹. То же становится очевидным при анализе

чешского народного языка по сравнению с литературным, в особенности его более старой формы. Как мне представляется, нельзя полностью отрицать тот факт, что в чешский язык все же проникли определенные, хотя и одиночные, грамматические явления немецкого типа, однако даже здесь они не носят систематического характера.

Сравните частое употребление местоимения *ten* «тот, этот» для придания значения определенности (*tak sem přišel do tú hospody* «и вот, пришел я в этот трактир»), такие местоимения, как *ten samý* «тот самый», тип перфекта *je odejítý* (ср. нем. *er ist abgegangen, weggegangen*), оборот *je k dostání* (нем. *es ist zu bekommen*) и т. п. — все это явления, не типичные больше для литературного чешского языка. По-моему, весь этот комплекс явлений требует углубленного анализа.

При этом здесь было бы полезно подробное сопоставление с другими славянскими языками, в особенности в области фразеологии; во всяком случае, несомненно, что здесь можно найти следы частичного двуязычия различной степени (см. выше) и что эти общие явления обязаны своим происхождением проникновению определенных немецких черт в чешский язык уже указанным путем, причем в тех случаях, когда структура самого чешского языка способствовала этому.

В связи с вопросом о влиянии грамматической системы в полном смысле слова упомяну пол а б с к и й я з ы к, ибо в полабском часто видят пример языка, разрушенного односторонним (немецким) влиянием. Мы знаем полабский язык из очень поздних и довольно неточных записей. Я сделал попытку проанализировать глагольную систему полабского языка в своей до сих пор не опубликованной работе и пришел к следующим выводам: влияние немецкого языка не разрушило старую глагольную систему полабского — оно проявилось там, где и другие западнославянские языки имеют новообразования, т. е. в различных типах аналитических глагольных форм — в первую очередь в пассиве и в перфекте типа *factum habeo, casus sum* (последний представляет, однако, не специфически немецкое, а европейское явление). Почти такое же положение в кашубском. Разумеется, полабский язык стал жертвой иноязычного влияния, в особенности в своей последней фазе — в этом не может быть сомнений; здесь как раз тот случай, когда действует упрощенная формула: один

язык побеждает, другой побежден. Но даже здесь разрушение грамматики не охватило весь грамматический строй, например система склонения в основе своей осталась славянской.

Во всех приводившихся до сих пор примерах речь шла о влиянии, направленном в основном в одну сторону, но также и об активности заимствующего языка, состоящей в том, что он заимствует одни явления и не заимствует другие, определяя условия заимствования. Даже для предельной ситуации, примером которой служит полабский язык, характерно, что иноязычное влияние проявилось в новообразованиях глагольной системы и не разрушило старой системы²⁰.

На Балканах мы имеем типичный случай действительно в з а и м н о г о с б л и ж е н и я, общих явлений, для которых необходимо принять предпосылку взаимных влияний.

Концепция балканского языкового союза, правда, уязвима в некоторых пунктах, и она действительно подвергалась критике в связи с расплывчатостью его географических границ¹¹. Конечно, здесь можно говорить о ядре и о периферии, например, юго-восточные диалекты сербского языка имеют некоторые так называемые балканизмы, чуждые остальным сербохорватским диалектам, за исключением весьма широко распространенных форм аналитического будущего с (ho)ću «хочу»¹². Аналогичное положение занимают новогреческие диалекты: имеется значительная разница между северногреческими диалектами и диалектами Пелопоннеса²¹. Но нельзя отрицать, что имеются определенные общие явления, распространяющиеся всегда на ряд языков, хотя и не в одинаковой степени. Кроме фонологической системы, которая, по-моему, относится к общим явлениям балканских языков²², сюда следует отнести аналитическое склонение или ослабление флективного типа склонения (родительный совпал здесь в большей или меньшей степени с дательным), постпозитивный артикль, местоименные репризы, отсутствие инфинитива, описательное будущее с «хочу», формы прошедшего типа *factum habeo*, *casus sum* (последняя черта имеет меньшее распространение, зато предпоследняя известна очень широко)²³. Можно задаться вопросом, следует ли рассматривать эти явления как структурные — ведь почти все они могут быть подведены под определенный аналитический тип²⁴.

С другой стороны, вопрос возникновения этих общих явлений достаточно сложен. Я уже упоминал о проблеме субстрата, с удовлетворением отметив, что теория субстрата в новейших работах, как правило, отвергается²⁵. В некоторых работах подчеркивалось, что исходным пунктом был греческий²⁶ — роль греческого в этой области несомненна, однако нельзя оставлять без внимания тот факт, что все указанные черты почти одновременно проявились в греческих диалектах и в остальных балканских языках и диалектах. Иногда подчеркивают значение латинского или романского элемента на Балканах. Я сам готов предположить, что некоторые из этих явлений действительно связаны с балканской латынью. Это поздние явления, однако они связаны с чертами других романских языков.

Интересно, однако, что для некоторых из этих явлений нельзя с уверенностью установить исходную точку. Важнее в конце концов общее развитие, общий результат, тот факт, что эти языки действительно — и в первую очередь в их ядре — проделали общее развитие и пришли к тому же результату. Для этого типа я когда-то предложил термин «конвергентное развитие», и этот термин получил распространение. Я понимаю под этим определенное общее развитие языков, основанное на определенных общественных условиях и потребностях. Я попытался хотя бы частично показать, насколько обсуждаемая языковая общность соответствовала общественным условиям и потребностям. По сути дела, речь шла о контактах людей, говоривших на языках различной грамматической структуры. При этом контакте больше всего пострадали сложная флективная морфология и синтетическая грамматическая система. Понятно, что при контакте различных языков и различных морфологических систем эти системы претерпевают ломку и упрощаются, т. е. появляются новые, более простые формы выражения²⁷.

Я хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Если сделать еще один шаг дальше, то все романские языки попадут под понятие языкового союза. Было бы неверно пытаться поставить романские языки и их развитие в один ряд с германскими, и тем более славянскими, языками. Здесь, в романских языках, действительно имелся языковой союз, но, разумеется, другого

типа, чем балканский (и географически гораздо большей протяженности). Но дело в том, что здесь на обширной территории был в связи с общественными потребностями преобразован латинский язык, причем он был преобразован при условиях, общих и приемлемых для всей территории. Поэтому в романских языках мы, с одной стороны, имеем дело с развитием из одной исходной точки, а именно латыни — в этом не может быть сомнений, но, с другой стороны, здесь существовал и определенный тип конвергентного развития по принципу языкового союза. Хотя элементы вымерших «побежденных» языков (фракийского, иллирийского, кельтских и т. п.) проявлялись минимальным образом, все же и здесь шел определенным образом процесс их разложения и «язык-победитель» развивался в двусторонней или, вернее, многосторонней ситуации и в соответствии с потребностями этой ситуации и носителей «побежденных» языков. На этом основаны некоторые общие черты романских языков, бросающиеся в глаза, несмотря на все различия.

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что моя цель была в том, чтобы хотя бы на нескольких конкретных примерах показать, что в случае коллективного двуязычия, в случае языкового контакта, при языковой интерференции речь идет не только об одном возможном типе, но что формы здесь многообразны и тип одностороннего влияния вовсе не самый частый.

Что же касается возможности возникновения общих инноваций в результате языковой интерференции, то я показал, что определенные языковые инновации возникают и могут возникать.

Я также хотел бы обратить внимание на то, что возможно пассивное и активное участие. Влияние чужого языка — не только внешний фактор, но также и нечто, связанное с внутренним, имманентным развитием языка, который избирает то, что требуется соответственно его структуре и языковым условиям его существования. То, что язык избирает, становится составной частью его имманентного развития, или, другими словами, активным является заимствующий язык, а пассивным язык, из которого заимствуют, и было бы неверно представлять это отношение обратным.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Первый вариант этой работы был доложен весной 1964 г. в Загребе и Задаре (на классической почве двуязычия) и опубликован в «Zadarska revija» (Problematika mišejanija jezika, 12, 1964, стр. 177—185). Предложенный вариант, доложенный в начале 1965 г. в Геттингене, Бонне и Гейдельберге, также не является окончательным, он задуман как исходный пункт для дальнейших исследований.

Разумеется, мои исследования и здесь основаны на положениях Пражской школы (в особенности в том виде, какой они нашли в TCLP, вып. 1, 1929, и в «Actes du VI^e Congrès International des Linguistes», Paris, 1949, стр. 305 и сл., а также на моих замечаниях по вопросу о языковой интерференции в TCLP, вып. 1, 1929, и вып. 4, 1931, и на моих работах, посвященных отдельным вопросам: «Zur phonologischen Geographie. Das Vokalsystem des balkanischen Sprachbundes» в: «Proceedings of the 1. Internat. Congress of Phonetic Sciences», Amsterdam, 1932. Archives Néerlandais de Phonetique experimentale 8—9, 1932, стр. 28—34, Románský typ perfecta *factum habeo* а *casus sum, casum habeo* v makedonských nářečích (с резюме на франц. яз.) в: «Mélanges P. M. Haškovec», Brno 1936, стр. 147—155; ср. также ответы автора на анкету «Zajedničke crte balkanskih jezika» и «Problemi fonoloških sistema „jezičnih saveza“» в «III^{ème} Congrès Internat. des Slavistes», Publication No 3; Supplément (Beograd, 1939), стр. 41—43, 48—49. (Далее ссылки на эти работы даются сокращенно — 1932, 1936 и 1939.)

² U. Weinreich, Languages in Contact, N. Y., 1953 (ср. рецензию E. Haugen в «Language», 30, 1954, стр. 380—388) и L. Zawadowski в «Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique», 17, 1958, стр. 175—191.— H. Vogt, Language Contacts, «Word», 10, 1954, стр. 365—374.— E. Haugen, Language Contact и U. Weinreich, Research Frontiers in Bilingualism Studies в: «Proceedings of the 8. Internat. Congress of Linguists», Oslo, 1958, стр. 771—797.— L. Zawadowski, Fundamental Relations in Language Contact в «Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique», 20, 1961, стр. 3—26.— В. Ю. Розенцвейг, О языковых контактах, ВЯ, 1963, № 1, стр. 57—69 (здесь показывается, что уже в 1926 г. Л. В. Щерба употреблял термин «контакт»).

Библиография соответствующей литературы столь обильно представлена у Вайнрайха (1953, 122—146) и 1958 (795—797), что я вполне могу обойтись без библиографических ссылок, поэтому в дальнейшем я буду ссылаться лишь на наиболее важные и новейшие работы. В частности, библиографию в области славистики необходимо дополнить 9-м томом «Докладов и сообщений Института языкознания», Москва, 1956 (в дальнейшем сокращенно ДиС 9), в котором помещены доклады В. И. Борковского, В. Н. Ярцевой, Б. А. Серебренникова, В. И. Абаева, А. В. Десницкой, В. Г. Орловой, Е. И. Убрятовой и М. Я. Немировского и важная дискуссия по этим вопросам. Там, а также в статье Jaroslav Mogaec, K otázám jazykových vztahů na základě bilingvismu в «Slovo a slovesnost», 21, 1960, стр. 161—173, можно найти дальнейшие ссылки из слависти-

стической литературы. — Мы должны добавить основополагающую статью Л. В. Щербы «О понятии смещения языков», 1926 г. (См. его «Избр. работы по языкознанию и фонетике», 1, Л., 1958, стр. 42 и сл.)

³ Этот термин (*interférence*) введен Пражской школой — ср., напр., «Actes du VI^e Congrès International des Linguistes», Paris, 1948, стр. 305, и Н. V o g t, там же, стр. 33 и сл.; и теперь он часто употребляется, например, В а й н р а й х о м (1953, стр. 1 и сл.) в вышеупомянутом смысле.

⁴ Преувеличение роли субстрата было подвергнуто резкой критике в ответах А. С о в а ж о, Ж. С а н Д а м, Е. У о т м а и др. на анкету V Международного конгресса лингвистов (1939 г.), см. Réponses au questionnaire, Bruges, 1939, стр. 47 и сл. (так, Уотма (W h a t m o u g h) пишет: «С мистической или атавистической интерпретацией субстрата нужно покончить раз и навсегда; это химера или, вернее, собрание химер»). Ср. более поздние высказывания М а р т и н е в «Romance philology», 6, 1952, № 1, стр. 6, Десницкой, ДиС, 9, 1956, В. Ю. Розенцвейга в ВЯ, 1963, № 1, стр. 57 и сл. и т. п. Автор высказывался против теории субстрата применительно к балканским языкам в работах 1936 и 1939 г., ср. сноску 25.

⁵ В. Н. Ярцева (ДиС, 9, стр. 18) приписывает этот взгляд Фогту («Word», 10, 1954, стр. 372), но я должен восстановить истину — это взгляд Пражской школы, что признается и Фогтом; и сам автор часто высказывался в этом смысле после TCLP, 4, 1931, стр. 304; ср. ответ Пражского лингвистического кружка на анкету в «Actes du VI^e Congrès Internat. des Linguistes», Paris, 1948—1949, стр. 305 и сл.

⁶ Hermann P a u l, Prinzipien der Sprachgeschichte, 5-е изд., 1920 (1-е изд. — 1880), стр. 391 и сл. (Г. П а у л ь, Принципы истории языка, перевод с нем., М., 1960, стр. 460). Из новой литературы можно привести, напр., К. Н. S c h ö n f e l d e r, Probleme der Völker- und Sprachmischung, Halle (S.), 1956, стр. 43 и сл., J. М о г а в е с в «Slovo a slovesnost», 21, 1960, стр. 168.

⁷ Индивидуальными случаями двуязычия занимались не только ученые XIX века, например Гуго Шухардт в своих знаменитых новаторских работах «Slawo-deutsches und Slawo-italienisches», Graz, 1884 и др. (см. Schuchardt-Brevier, Halle, 1922, стр. 128—141 — Г. Шухардт, Избранные статьи по языкознанию, перевод с нем., М., 1950, стр. 174—184); ему посвящены и новейшие, приведенные выше работы по языковому контактам; см., например, работу В а й н р а й х а 1953 г., которая в большей своей части построена на индивидуальном двуязычии, а также Розенцвейг, цит. соч., стр. 62 и сл.

⁸ Еще более основательное овладение предполагает Браун (Max. В г а и п) в своих замечаниях по вопросу о многоязычии (Göttingische gelehrte Anzeigen, 1937, № 4, стр. 115—130), понимая под многоязычием «активное совершенное одновременное владение двумя или несколькими языками», но только в индивидуальных случаях.

⁹ З а в а д о в с к и й (Z a w a d o w s k i), 1961, стр. 20 и сл. попытался дать классификацию всех возможных ситуаций языкового контакта; рассмотренное здесь двуязычие совпадает с его типом III.

¹⁰ Я писал о двуязычии в различных слоях чешского языка в работе «Česká nářečí» («Čs. Vlastivěda», III, «Jazyk» 1934, стр. 86). По поводу ненужного — с моей точки зрения — термина «диглоссия» ср. С. А. Ferguson, Diglossia, в «Word», 15, 1959, стр. 324 и сл., А. Ф. Sjöberg в «Word», 18, 1962, стр. 269 и сл.

¹¹ По терминологии М. Брауна (цит. соч.), последний тип обозначается как «смещение языков», а первый как «расслоение языка»; его можно назвать также контактным или локальным двуязычием или, пользуясь терминологией Серебренникова (ДиС, 9, стр. 36 и сл.), маргинальным двуязычием. У других авторов можно найти и другие (иногда ненужные) термины. Ср. «Proceedings of the 9. Congress of Linguists», 1964, стр. 373, Hague n.

¹² Ср. P. Frost, Das späte Prager Deutsch, «Germanica Pragensia», 2, 1962, стр. 31 и сл.

¹³ А. Мейе приводит похожий пример двуязычия в средневековой Франции (A. Meillet, Le bilinguisme des hommes cultivés в: «Conférences de l'Institut de Linguistique», Paris, 2, 1935, стр. 7). С этим типом двуязычия можно сравнить современное соотношение испанского и каталанского языка в Каталонии (см. А. М. Вадиа-Маргарит, Some Aspects of Bilinguismus among Cultured People in Catalonia, «Proceedings of the 9. Congress of Linguists», 1964, стр. 366).

¹⁴ Это лужицко-немецкое двуязычие описывается, в частности, Л. В. Щербой в работе «Востоchnлужицкое наречие», Петроград, 1915, стр. 7 и сл., стр. 193 и сл. — См. также его общие выводы в труде «О понятии смещения языков», 1926, см. сн. 2.

¹⁵ Ср. Sv. Ivaňev, České prvky v bulharské truhlářské terminologii в: «Československo-bulharské vztahy v zrcadle staletí», Praha, 1963, стр. 381—401 (в болгарском издании: «Чехословакия и България през вековете», София, 1963, стр. 471—495).

¹⁶ Ср. работу автора «Genera verbi v slovanských jazycích», 1, 1928, стр. 9, и особенно Ž. Muljačić, Dalmatski elementi u mletački pisanim dubrovačkim dokumentima 14. st. (Rad Jugoslav. akademije, Zagreb, 327, 1962, стр. 237—380). I. Mahnken, Zur Frage der Dialekteigentümlichkeiten des Serbokroatischen in Dubrovnik im XIV. Jh. «Opera slavica», 4, 1963, стр. 41 и сл., и Slavisch und Romanisch im mittelalterlichen Dubrovnik, «Ztschr. für Balkanologie», 1, 1963, стр. 60 и сл.

¹⁷ Из новейшей литературы можно назвать P. Frost, Německé vlivy na slovanské jazyky в сборнике «Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii», Praha, 1960, стр. 29 и сл. (Frost отвергает это влияние) и A. Lamprcht, K otázce vlivu jazyka na jazyk в: «Sborník prací filosofické fakulty brněnské University», A, 6, 1958, стр. 88—93 и «Zur Frage der tschechisch-deutschen Sprachkonvergenz» в томе «Deutsch-tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur» (Abh. d. Sächs. Ak. d. Wiss. zu Leipzig. Philol.-hyst. Klasse, Bd. 57, H. 2, 1965, стр. 29 и сл.).

¹⁸ Ср. точку зрения автора, изложенную в TCLP, 1, 1929, стр. 113, а также в новой его работе: «Studie o spisovném jazyce», Praha, 1963, стр. 24.

¹⁹ С. Герзмаан (S. Heřman) в подготовленной им кандидатской работе, ср. также его статью «K vývoji spisovné bulharštiny

а rumunštiny XIX. stol.» в «Slavica Pragensia», 4, 1963, стр. 565 и сл.

²⁰ Ср. статьи автора в «Slavia» 22, 1953, стр. 247 и 27, 1958, стр. 159 (теперь также в «Studie o spisovněm jazyce» 1963, стр. 343). Ср. сходные результаты лужицко-немецкого двуязычия на грамматическом и даже звуковом уровне у Щ е р б ы — «Восточно-лужицкое наречие», 1915, стр. 193 и сл.

²¹ Н а в г á п е к, 1936, стр. 153.

²² Н а в г á п е к, 1932, стр. 28 и сл.

²³ Н а в г á п е к, 1936, стр. 145 и сл. и 1939, стр. 41 и сл. Лучший (после книги С а н д ф е л ь д а «Linguistique balcanique») обзор балканизмов дан в книге: А. R o s e t t i, Istoria limbii române. II, Limbile balcanice (3-е изд.), 1962.

²⁴ Т. В. Ц и в ь я н справедливо требует структурного и типологического описания балканских языков в «Славянска филология», София, 1, 1963, стр. 303 и сл. Такое описание в области структурного и синхронного анализа склонения Цивьян успешно провела в недавно вышедшей работе «Имя существительное в балканских языках», Москва, 1965.

²⁵ К. Н о г á л е к в «Сборнике ответов на вопросы по языкознанию», Москва, 1958, стр. 198, S. Н е ř м а п в «Slavica Pragensia» 1, 1959, стр. 133 и сл., Z. G o l a b, «Word», 15, 1959, 3, стр. 415 и сл., А. G a l l i s, «Scandoslavica», 6, 1960, стр. 167 и сл., А. V г а с и u, «Romanoslavica», 9, 1963, стр. 65 и сл., E. S e i d e l, «Zeitschrift f. Slawistik», 8, 1963, стр. 907 и сл., и др. Особенно в ответах на анкету в «Славянска филология», 1, София, 1963, стр. 299 и сл., и стр. 305 и сл.— Однако и в последнее время находится достаточно защитников теории субстрата, ср., в частности, А. R o s e t t i в «Studii și cercetări lingvistice» 9, 1959, стр. 303 и сл. (на рус. яз. в «Revue linguistique», 3, 1958, стр. 135 и сл.), С. Б. Б е р н ш т е й н, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, 1961, стр. 13, 24; другие работы указаны в «Slavica Pragensia», 1, 1959, стр. 133, и «Славянска филология», 1, стр. 299 и сл. Мил. Павлович (Mil. P a v l o v i ć) также использует в своем историческом анализе балканских языков теорию субстрата для объяснения отдельных явлений (см. La perspective et les zones des processus linguistiques balkaniques, «Južnosl. filolog.», 22, 1958, стр. 206—239). Автор обосновал свое отрицательное отношение к теории субстрата в работах 1936 г. (стр. 153 и сл.) и 1939 г. (стр. 41 и сл.). Также и Цивьян (см. сноску 24) понимает «балканизмы» как следствие взаимных влияний.

²⁶ Кг. S a n d f e l d, Linguistique balkanique, Paris, 1930.

²⁷ Автор в работе 1939 года (стр. 42).— Ср. ту же мысль у Л. Теньера (T e s n i è g e) в: TCLP, 8, 1939, стр. 88 (при других обстоятельствах почти та же ситуация вскрыта Ш у х а р д т о м — см. его «Избранные работы по языкознанию», 183, а также статью «Die Lingua franca» в «Zeitschrift für romanische Philologie», 33, 1909, стр. 441 и сл.). Близка к этому и точка зрения в работе: Н. L. K l a g s t a d e, Toward a Morpho-syntactic Treatment of the Balkan Linguistic Group, «American Contributions to the Fifth Congress of Slavists», 1963, стр. 21 и сл.; также у Р о з е н ц в е й - г а, цит. соч., стр. 85, который напомнил, что эту — давно забытую — мысль высказал в 1819 г. Я. Г р и м м, и связывает ее с проблемой языка-посредника для машинного перевода.

Языковые контакты

II. Двуязычие

**К ИЗУЧЕНИЮ ДВУЯЗЫЧИЯ
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ**

ВСТУПЛЕНИЕ

В Южной Франции вследствие быстрого затухания различных говоров, принадлежащих к семье диалектов Прованса, сложился ряд разнообразных ситуаций двуязычия, для которых в целом характерно постоянно растущее преобладание французского языка над местными формами гасконских, лангедокских и провансальских диалектов. В городах используется почти исключительно французский язык, для сельской местности типично двуязычие с различным соотношением в использовании двух данных языков.

На северо-востоке Франции, в Эльзасе, позиции местного диалекта весьма прочны. В сельской местности, где в устном использовании явно преобладает эльзасский — верхненемецкий диалект, — картина двуязычия на редкость однородна; в городах же, где французский язык и эльзасский диалект вступают в самые разнообразные отношения, двуязычие имеет множество вариантов.

Характеристикой ситуации двуязычия в каждой из двух рассматриваемых нами областей — Провансе и Эльзасе — может служить способ установления отношений между французским языком и местным говором в период овладения языком. График на рис. 2 показывает, что в Провансе французский язык, критерием знания которого служит его понимание и умение правильно использовать его словарный состав, является общеупотребительным, тогда как в Эльзасе это достигается лишь с возрастом, т. е. в процессе школьного обучения, когда ребенок постепенно усваивает второй язык, французский. Обратно, в Эльзасе общеупотребитель-

Andrée T a b o u r e t - K e l l e r, Contribution à l'étude sociologique des bilinguismes, «Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists», London, The Hague, Paris, 1964, стр. 612—621.

ным языком, знакомым его жителям с самого раннего возраста, является диалект, в то время как в Провансе диалектом овладевают постепенно и всего 40% детей.

Эти факты показывают путь, по которому идет развитие языковых отношений. В Эльзасе диалект занимает прочные позиции; он является родным языком не только для подавляющего большинства взрослых жителей, но и для детей,



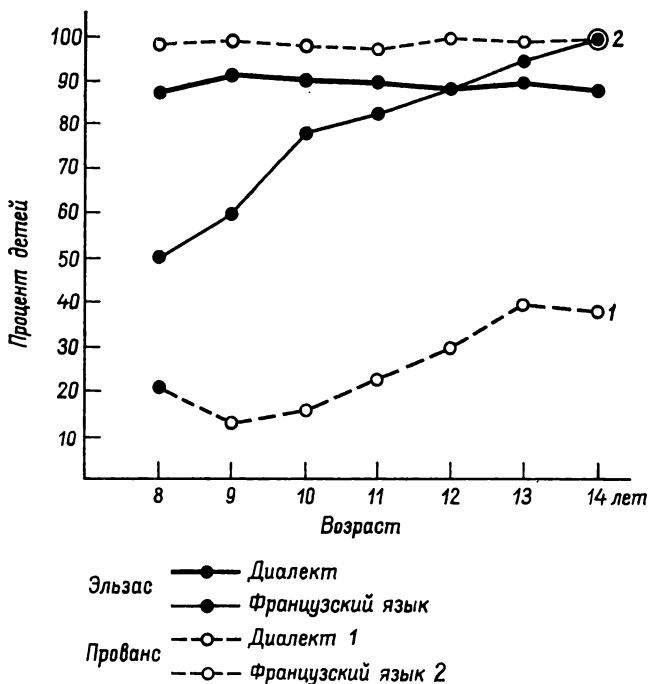
Р и с . 1.

Жирными линиями обозначены языковые границы провансальских говоров на юге и немецких говоров на северо-востоке Франции. Обследование, о котором идет речь в данной статье, проводилось в департаментах, заштрихованных на карте.

которые осваивают французский как второй язык лишь в школе. В Провансе, напротив, провансальские говоры, бывшие родными для большинства жителей старше 50 лет, незнакомы детям, для которых родным языком стал французский. Диалектом в качестве второго языка овладевает менее половины детей.

Представленные здесь данные носят статистический характер (в каждом из рассматриваемых районов обследо-

вано детское население порядка 1000 человек) и не относится к населению крупных городов, где языковые отношения развиваются по-иному. Данные нашего обследования говорят о том, что языковая ситуация в Эльзасе однородна; развитие направлено в сторону дальнейшего усвоения французского языка, хотя этот процесс носит скрытый характер



Р и с. 2.

Изменения в знании французского языка и использовании диалекта в Эльзасе и Провансе в зависимости от возраста.

и на фоне всеобщего распространения диалекта, который до сих пор остается родным языком эльзасцев, мало заметен. Данные нашего обследования говорят также о том, что развитие языковых отношений в Провансе, где в течение последних пятидесяти лет языковая ситуация претерпела быстрые и существенные изменения в сторону дальнейшего

распространения французского языка, идет полным ходом. Социологические причины этих изменений и являются объектом данного исследования.

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обследование проводилось в начальных школах в департаментах Верхняя Гаронна и Верхние Пиренеи и было направлено на выяснение языкового поведения детей школьного возраста, проживающих в 29 населенных пунктах сельской местности. Опрос проводился учителями по анкете, содержащей следующие разделы:

Н а с е л е н н ы й п у н к т:

число жителей, размещение их по его территории и за его пределами, число жителей-иностранцев, высота местности над уровнем моря, используемый диалект (гасконский, провансальский и т. д.);

ш к о л а и к л а с с ы:

ступень, количество учеников;

у ч ё н и к и:

возраст, пол, использование языков.

Следующие 11 вопросов касаются использования языков: школьник говорит на диалекте и отлично его понимает; говорит на диалекте в основном с матерью; говорит на диалекте в основном с отцом; говорит на диалекте в основном с бабушкой и дедушкой; говорит немного, но хорошо понимает диалект; не говорит, но довольно хорошо понимает диалект; не говорит, но немного понимает; не говорит и не понимает диалекта; на диалекте говорят между собой дети одной семьи; на диалекте говорит со сверстниками во дворе школы; говорит на диалекте с торговцами. Ответы располагаются столбиком; выбранный ответ отмечается крестиком. Особо отмечаются дети, говорящие дома на итальянском, испанском или каком-либо другом языке, являющемся родным для данного ребенка.

Р о д и т е л и:

профессия и место работы;

у ч и т е л ь:

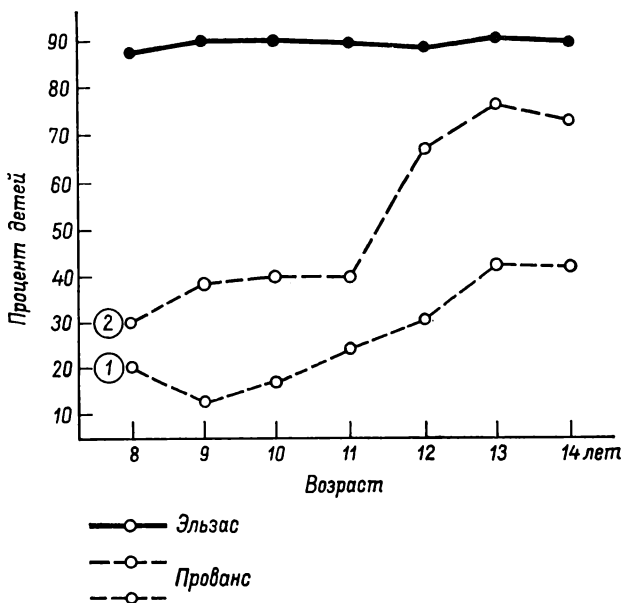
длительность его пребывания в данном селе и в данном районе.

В нашем обследовании используются сведения, касающиеся 1025 детей и 24 081 взрослого жителя Прованса. Цифры по Эльзасу несколько выше. Обследование проводилось с июня 1961 по июнь 1962 г. в Провансе и с 1957 по 1962 г. в Эльзасе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОПЫТ АНАЛИЗА

1. Использование языков и возраст детей

Количество детей (в процентном выражении), которые в совершенстве владеют диалектом, с возрастом увеличивается, и если в 8—9 лет оно не превышает 15%, то к 13 годам эта цифра достигает 40%. Если ребенок к 8 годам хоро-



Р и с. 3.

Изменения процента детей в зависимости от возраста: в Провансе (пунктирные линии) — говорящих и хорошо понимающих местный говор (кривая 1) и хорошо понимающих, но мало или совсем не говорящих на местном говоре (кривая 2); в Эльзасе (сплошная линия) — говорящих и хорошо понимающих диалект.

шо понимает и свободно говорит на диалекте, то можно считать, что диалект является его родным языком. Замечено, что начиная с 11-летнего возраста это соотношение растет весьма ощутимо. По всей вероятности, это вызвано тем, что начиная с этого возраста дети больше общаются со взрослыми. Детей, которые понимают, но мало или совсем не говорят на диалекте, в процентном отношении всегда больше, чем детей, бегло говорящих на диалекте: это означает, что более половины детей имеет возможность достаточно часто слышать диалект, чтобы научиться понимать его. Примером может служить языковая ситуация в Эльзасе.

2. Использование языков и пол детей

Девочки несколько чаще бегло говорят на диалекте, чем мальчики; соотношение таково: 28% девочек и 23% мальчиков. Это различие статистически несущественно.

3. Использование языков и отношения с родственниками

Дети несколько чаще говорят на диалекте с отцом, чем с матерью: 58,5% детей заявили, что пользуются диалектом в основном в разговорах с отцом и только 45,7% — с матерью. Это различие статистически значимо (.82) при пороге $p = 0,05$ и указывает на определенную тенденцию, которой пока невозможно дать то или иное толкование. При детальном изучении распределений замечаем, что количество детей, которые заявили, что говорят на диалекте преимущественно с одним из родителей, с возрастом увеличивается статистически незначительно.

	Мальчики	Девочки	Всего
Мать	40,8%	57,1%	45,7%
Отец	55,1%	66,6%	58,5%
Бабушка и дедушка	—	—	51,4%

Начиная с 12-летнего возраста значимость различия (.91) в использовании диалекта увеличивается в пользу отца ($p = 0,001$), что, несомненно, отражает отношения в семье.

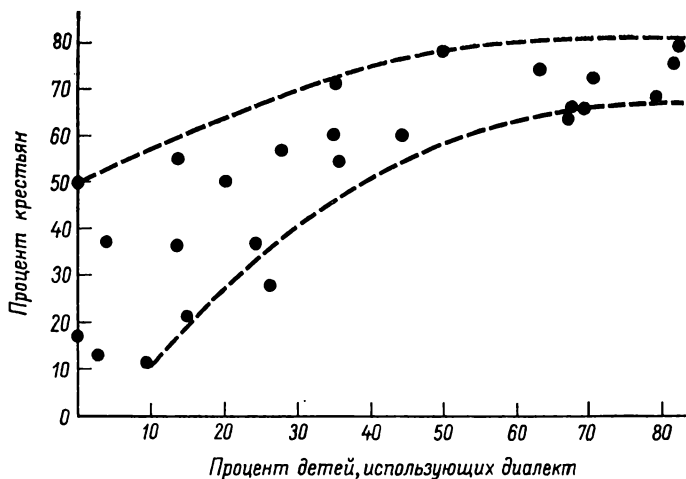
Весьма значительное различие между мальчиками и девочками в применении диалекта при общении с матерью также отражает определенный тип общественных отношений: вполне вероятно, что девочки чаще общаются с матерью, чем мальчики. Число детей, говорящих преимущественно на диалекте с бабушкой или дедушкой, представляется незначительным. Вопрос, говорит ли ребенок на диалекте с дедушкой и бабушкой, касался, естественно, только живых дедушек и бабушек. Возможно, если бы вопрос был сформулирован иначе, т. е. был бы направлен на то, чтобы получить сведения о языковом поведении всего старшего поколения, мы могли бы проследить, как именно сокращалось использование диалекта на протяжении трех поколений.

4. Использование языков и некоторые социально-экономические факторы

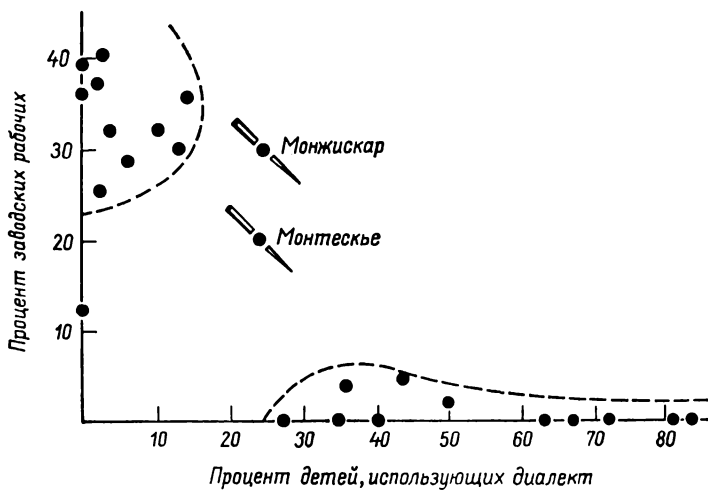
Изучение языковой ситуации в Эльзасе показало, что сельская среда обеспечивает существование диалекта как общеупотребительного языка. Была выдвинута гипотеза о существовании положительной связи между использованием диалектов и социально-экономическим и в особенности социально-профессиональным положением в деревне. Были изучены некоторые факторы, характеризующие, по нашему мнению, существующее положение.

График на рис. 4 показывает что численность детского населения, широко использующего диалект, зависит от удельного веса чисто сельскохозяйственных профессий в каждом населенном пункте.

Если в населенном пункте не менее 60% населения занято в сельском хозяйстве, то не менее 35% детей используют в своей речи диалект, причем связь между этими двумя явлениями становится все более тесной. Пятидесяти или более процентам детей, бегло говорящих на диалекте, соответствует 60—80% крестьян, занимающихся исключительно сельским хозяйством; то же соотношение характерно и для сел с населением менее 600 человек. Если крестьяне составляют менее 60%, то непосредственно в сельском хозяйстве может быть занято от 0 до 60% населения; соответственно колеблется и число детей (от 0 до 35%), говорящих на диалекте. Малому удельному весу сельскохозяйственных профессий (менее 25%) всегда соответствует малый процент детей, говорящих на диалекте.



Р и с. 4.
Сравнительные изменения процента крестьян и процента детей, использующих диалект. Точками обозначены населенные пункты.



Р и с. 5.
Сравнительные изменения процента заводских рабочих и процента детей, использующих диалект. Точками обозначены населенные пункты.

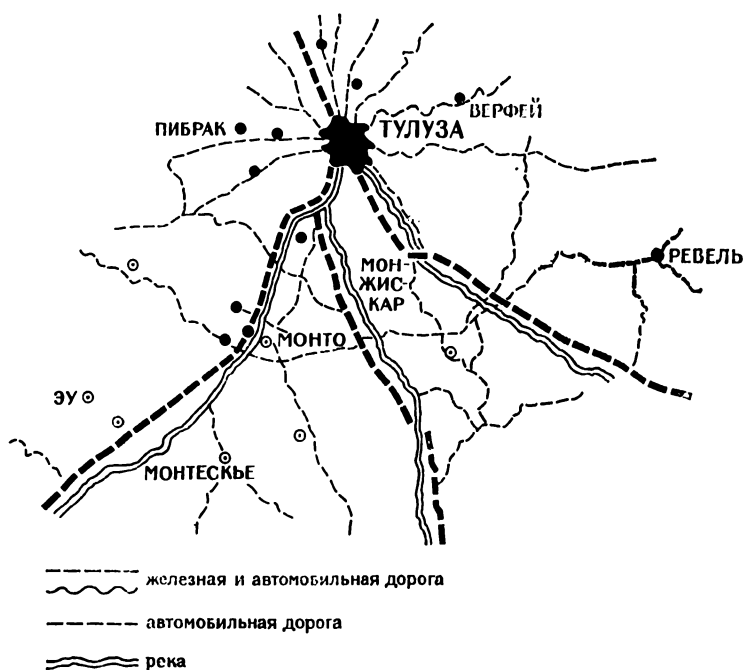
График, представленный на рисунке 5, показывает связь между присутствием заводских рабочих¹ и использованием диалекта детским населением. Связь эта отрицательная: если заводские рабочие составляют более 25% населения, использование диалекта исключено (в любом случае на диалекте говорит менее 15% населения). Если более 25% детей бегло говорит на диалекте, заводских рабочих среди населения нет (менее 5%). О чем говорит малый процент (от 0 до 15%) носителей диалекта в селах со значительным числом индустриальных рабочих? По всей вероятности, о том, что небольшие населенные пункты, расположенные поблизости от индустриальных центров, стали поставщиками рабочей силы. Нам удалось выяснить, что малый процент носителей диалекта всегда составляют обитатели более или менее отдаленных ферм, расположенных за пределами собственно населенного пункта. Языковое поведение крестьян не изменилось, но относительная численность этой категории населения уменьшилась.

Поселения Монжискар (Montgiscard) и Монтескьё-Вольветр (Montesquieu-Volvestre) заслуживают особого внимания. В обоих этих местах проживает, по сути, две категории населения — сельскохозяйственное и промышленное, каждое из которых характеризуется своими, только ему присущими чертами: промышленное население не занято по месту жительства, а ежедневно ездит к месту работы; сельскохозяйственное население живет не в селе в собственном смысле слова, а, как говорится, на отшибе, в хуторах — сельскохозяйственное население обосновалось здесь давно, промышленное недавно. Оба населенных пункта расположены на важных транспортных путях.

На рисунке 6 показано на примере района Тулузы значение транспортных путей для языкового развития района. В местностях, расположенных в радиусе 20 км от Тулузы, более 30% населения занято в промышленности; в том же самом периметре более 40% трудящегося населения ежедневно проделывает путь от дома к месту работы. Процент сельскохозяйственного населения значительно сократился, процент же носителей диалекта сократился еще более;

¹ Мы делаем различие между заводскими рабочими и рабочими сельскохозяйственными, а также рабочими, обслуживающими небольшие кустарные предприятия (гаражи, мастерские по ремонту металлоизделий, кузницы и т. п.).

об этом свидетельствуют следующие цифры: в населенных пунктах, расположенных в данном периметре, диалектом пользуется менее 15% населения, численность же сельскохозяйственного населения колеблется от 8 до 36%. Число жителей в этих селах колеблется от 374 (Пэн Жюстарэ — Pins Justaret) до 1539 (Верфей — Verfeil), прямой зависимости между величиной села и использованием диалекта здесь не наблюдается.



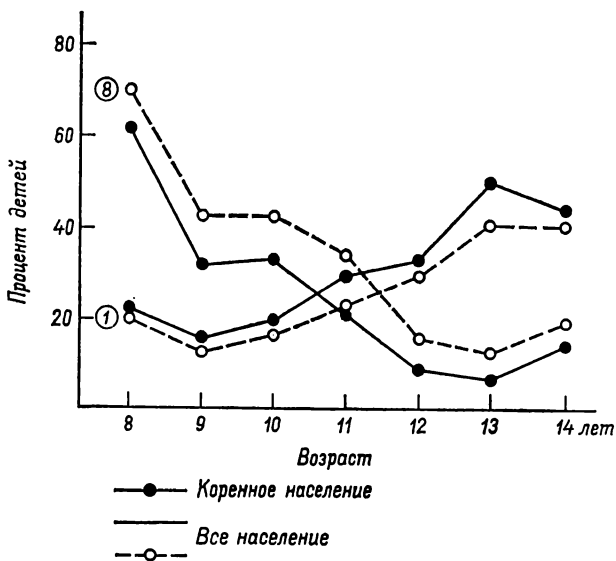
Р и с. 6.
 Район Тулузы. Белыми кружками обозначены населенные пункты с преимущественно сельскохозяйственным производством, черными — с преимущественно промышленным производством.

Особо следует отметить языковую ситуацию в Монто (Montaut). Эта деревня также расположена поблизости от Тулузы, но река Гаронна, через которую здесь можно переправиться лишь на пароме, отделяет ее от шоссейной и железной дорог; население почти полностью занято

в сельском хозяйстве, местный говор является общеупотребительным.

Еще одно следствие индустриализации этого района Южной Франции — приток рабочих из Италии и Испании.

Рисунок 7 показывает, что наличие детей, говорящих в семье не по-французски и не на диалекте, способствует,

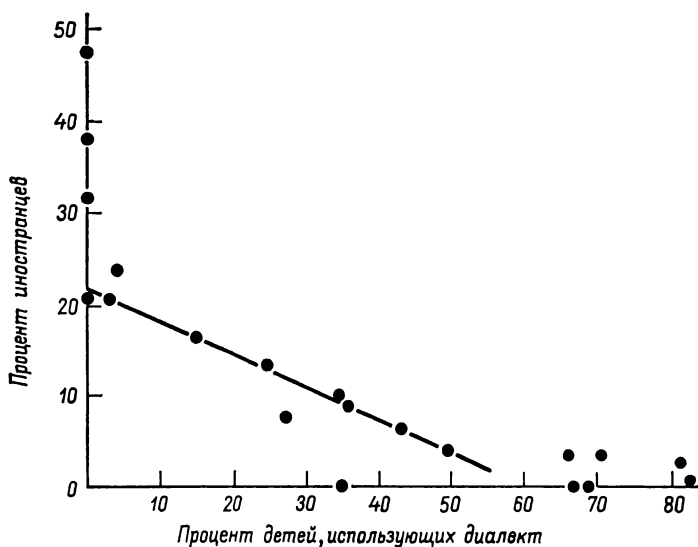


Р и с. 7.
Изменения в зависимости от возраста процента детей, говорящих на местном говоре (1), и процента детей, которые не говорят и не понимают местного говора (8).

как и следовало ожидать, уменьшению процента носителей диалекта. Эти дети очень легко воспринимают диалект и отвечают положительно на 5-й и 6-й вопросы анкеты, однако бегло говорить на диалекте не могут.

Рисунок 8 показывает связь между процентом детей, говорящих на диалекте, и процентом иностранцев, проживающих в данном населенном пункте. В селах, где иностранцы составляют значительную часть населения, процент носителей диалекта резко сократился. Между этими факторами существует лишь на вид прямая связь: чем больше

в данном населенном пункте иностранцев, тем выше процент населения, занятого в промышленности. Присутствие иностранцев является фактором, ускоряющим процесс отступления диалекта.



Р и с. 8.

Изменение процента детей, использующих диалект, в зависимости от процента иностранцев, проживающих в каждом населенном пункте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рассмотренной нами ситуации некоторые факторы социологического порядка убыстряют процесс перехода от двуязычия (т. е. одновременного использования провансальского или других диалектов и французского языка) к одноязычию (т. е. к использованию только французского языка). Данное исследование показывает важность следующих факторов: индустриализации района, развития сети путей сообщения и близости к ним сельских населенных пунктов. Следует также отметить значение вытекающих отсюда обстоятельств: изменение в соотношении рабочей силы в сельском

хозяйстве и в промышленности, ежедневные поездки к месту работы (миграция охватывает от 16 до 74% активного населения), приток трудящихся и их семей из-за границы. За пределами этих районов населенные пункты, в которых носители диалекта и местных говоров составляют высокий процент, характеризуются следующими чертами: население их всегда невелико (менее 500 жителей), процент крестьян довольно высок (более 60%), место работы — тот же населенный пункт (для 85% активного населения), заводских рабочих нет, иммиграция практически равна нулю (менее 4%).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРЫ РАЗНОЯЗЫЧИЯ

1. При взгляде на карту распределения языков на достаточно обширном пространстве бросается в глаза несходство отдельных территорий: мы видим там и участки чрезвычайно пестрые, вроде Новой Гвинеи или Нубийских Холмов в Судане, и сравнительно однородные, такие, как Восточные Леса Северной Америки до завоевания или же современные Соединенные Штаты, и, наконец, все промежуточные градации. В настоящей статье мы рассмотрим вопрос о выработке оценок, которые помогли бы в объективной форме выразить субъективные впечатления от этих различий, дав последним количественную характеристику, позволили бы сравнивать между собой территории, географически несходные, и, быть может, обнаружить некоторую связь между уровнем разноязычия (*linguistic diversity*), с одной стороны, и политическими, экономическими, географическими, историческими и прочими внеязыковыми факторами — с другой.

2. Первый, простейший способ оценки — мы будем называть его методом А — это **о д н о я з ы ч н ы й н е в з в е ш е н н ы й м е т о д** (*monolingual nonweighted method*) (смысл этого наименования вскоре станет ясным читателю). Вероятность того, что два произвольно взятых жителя данной территории говорят на общем языке, можно считать мерой разноязычия этой территории. Если все жители данной местности говорят на одном языке, то вероятность общего языка у двух произвольно взятых жителей, очевидно, равна 1, то есть достоверности. Наоборот, если каждый житель говорит на своем языке, то вероятность эта

Joseph H. Greenberg, *The Measurement of Linguistic Diversity*, «Language», 32, 1956, 1, стр. 109—115.

будет равна нулю. Поскольку мы хотим измерять не степень сходства, а уровень различий, то мы будем вычитать значения вероятности из 1, так что наш показатель будет изменяться в пределах от 0, что соответствует минимальному уровню разноязычия, до 1, то есть до самого высокого уровня.

Общая вероятность случайного отбора двух людей, говорящих на одном и том же языке, представляет собой сумму вероятностей такого отбора для каждого из распространенных в данной местности языков М, N, O и т. д. В свою очередь эти вероятности выражаются как m^2 , n^2 , o^2 , . . . , где m — отношение числа носителей языка М ко всему населению, n — то же самое для языка N и т. д. Вычитая эти вероятности из 1, как мы только что условились, получаем формулу: 1 минус сумма квадратов m , n , o и т. д., или

$$(1) \quad A = 1 - \sum_i (.^2),$$

где A — показатель разноязычия, а i последовательно принимает значения m , n , o и т. д. Поясним это на условном примере. Если $1/8$ населения некоторой местности говорит на языке М, $3/8$ — на языке N и $1/2$ — на языке O, то

$$\begin{aligned} A &= 1 - [(1/8)^2 + (3/8)^2 + (1/2)^2] = 1 - 26/64 = \\ &= 38/64, \text{ т. е. } 0,593\dots \end{aligned}$$

3. Есть два соображения, побуждающие строить другую модель, более сложную, но отражающую степень близости между языками. Дело в том, что, во-первых, при пропорциональном распределении языков в каких-либо двух местностях мы хотели бы считать более разноязычной ту из них, в которой говорят на языках неродственных или отдаленно родственных, по сравнению с областью, где распространены близкородственные языки, входящие в одну языковую группу. Во-вторых, поскольку нет четкого определения, отличающего язык от диалекта, данные по разным территориям могут оказаться, строго говоря, несопоставимыми, если придерживаться обычного условного разграничения. Ввиду этого можно предложить следующее видоизменение вышеописанной процедуры, которое мы назовем **о д н о я з ы ч н ы м в з в е ш е н н ы м м е т о д о м** (monolingual weighted method), или методом В. Для пары языков М и N вероятность случайного отбора последовательно сначала носителя М, а затем носителя N, равна

произведению mn , где m (соответственно n) — это доля, которую составляют носители языка M (соответственно, языка N). Помножим это произведение на весовой коэффициент, пробегающий значения от 0 до 1; коэффициент этот, называемый коэффициентом сходства (resemblance) r , определяется так: берем произвольный, но фиксированный набор слов, например новейшую редакцию глоттохронологического списка, и подсчитываем для каждой пары языков, какую долю составляют совпадающие слова. Поскольку измеряем мы реальное сходство, а не историческое родство, предлагается заимствования учитывать наравне со словами, восходящими к единому корню. Вычитая сумму взвешенных таким образом произведений из единицы, получаем значение взвешенного одноязычного показателя B :

$$(2) B = 1 - \sum_{mn} (mn) (r_{MN}),$$

где r_{MN} — коэффициент сходства между языками M и N , отвечающий приведенному определению. В сущности, метод A можно считать частным случаем метода B , при котором m и n помножаются на 1, если они равны, и на 0, если они неравны. В частности, для первого примера

$$\begin{aligned} A = & 1 - 1 \times [(1/8)^2 + (3/8)^2 + (1/2)^2] + \\ & + 0 \times [(1/8 \times 3/8) + (1/8 \times 1/2) + (3/8 \times 1/8) + \\ & + (3/8 \times 1/2) + (1/2 \times 1/8) + (1/2 \times 3/8)]. \end{aligned}$$

Процедуру расчета показателя B можно проиллюстрировать на том же примере, слегка видоизменив его. Принимая прежнее распределение языков M , N и O , допустим теперь, что коэффициент сходства между языками M и N равен 0,85, между M и O — 0,30, а между N и O — 0,25. Тогда

$$\begin{aligned} B = & 1 - [(1/64 \times 1) + (3/64 \times 0,85) + \\ & + (1/16 \times 0,30) + (3/64 \times 0,85) + (3/64 \times 1) + \\ & + (3/16 \times 0,25) + (1/16 \times 0,30) + (3/16 \times 0,25) + \\ & + (1/4 \times 1)] = 0,381. \end{aligned}$$

Очевидно, что B всегда меньше или равно A (последнее будет иметь место, только когда коэффициенты сходства для всех пар языков равны нулю). Безразлично, назовем ли мы языки, имеющие коэффициент сходства равный единице, разными языками или же будем считать, что это один

и тот же язык. Мы, таким образом, попутно получили рабочее определение языка как совокупности говоров со 100-процентным сходством «базовых» словарей — определение, которое вне данного контекста необязательно окажется удачным. Пользуясь методом А, можно избавиться от известной расплывчатости понятия «язык», приняв в качестве критерия языкового тождества коэффициент сходства, равный 1,00 или чуть меньше, скажем как минимум 0,95.

4. В принципе мы предполагаем с учетом всевозможных поправок, что более разноязычными окажутся территории с низким уровнем коммуникации и что повышение этого уровня, сопряженное с ростом хозяйства и развитием государственности, как правило, должно вести к распространению некоторого местного или заимствованного языка-посредника (*lingua franca*), к росту двуязычия и в конечном счете к исчезновению всех языков, кроме одного господствующего. Естественно поэтому ожидать, что между показателями разноязычия и показателями уровня культуры и экономики будут наблюдаться корреляции, выявить которые возможно только при учете фактора многоязычия.

Мы назвали показатели А и В одноязычными в том смысле, что при их вычислении каждый житель территории учитывался как носитель только одного языка — своего родного. В настоящем разделе мы опишем ряд показателей, учитывающих данные о многоязычии. Сразу же напрашивается простейший способ, который состоит в том, чтобы посчитать человека, говорящего на двух языках, за двоих, говорящего на трех языках — за троих и т. д. Назовем этот способ *методом дробления индивида* (*split-personality method*) и обозначим его невзвешенный и взвешенный варианты соответственно буквами С и D. Логически более приемлем, может быть, другой способ — *метод случая н о г о г о в о р я щ е г о* (*random speaker method*), в свою очередь со взвешенным и невзвешенным вариантами. Этот метод основан на следующей вероятностной схеме. Допустим, что взят первый попавшийся житель данной местности и что он полиглот, который с равной вероятностью заговорит на любом из известных ему языков; выберем произвольно другого жителя, и вероятность того, что оба заговорят на одном языке, будем считать значением показателя Е, а вероятное значение коэффициента сходства между языками, на которых они заговорят, — значением показателя F. Для населения сплошь одноязычного

показатель Е будет иметь то же значение, что А, а показатель F — то же значение, что В. Процедура расчетов тоже будет, в общем, такая же, как при вычислении А и, соответственно, В, но с той разницей, что население теперь разбивается на доли говорящих на каждом из языков и на нескольких языках во всех возможных сочетаниях. Так, население местности, где употребляются языки М, N и О, будет разбито, скажем, на следующие доли: $m = 1/8$ — говорящие только на языке М; $n = 3/8$ — говорящие только на языке N; $o = 1/16$ — говорящие только на О; $mn = 1/4$ — двуязычные, говорящие на языках М и N; $mo = 0$ — двуязычные, говорящие на М и О; $no = 3/16$ — двуязычные, говорящие на N и О; и, наконец, $mno = 1/16$ — трехязычные, говорящие на М, N и О. В сумме эти величины, естественно, дают 1, то есть все население. Попарные произведения всех долей вычисляются, как было описано. В данном случае этих пар 49, считая и те, которые имеют нулевое значение. Так, скажем, $mn \times mno = 1/4 \times 1/16 = 1/64$, — вероятность того, что при случайном отборе первый человек будет говорить на языках М и N, а второй окажется трехязычным. Далее каждое произведение нужно поделить на число частей, полученное от перемножения. Так, произведение $mn \times mno$ в предыдущем примере нужно разделить на 6, что соответствует числу комбинаций языков MM, MN, MO, NM, NN и NO. При вычислении показателя Е эти значения умножаются либо на 1 для тождественных пар (MM, NN), либо на 0 — для разнородных пар (MN, MO, NM и NO). В нашем примере, где произведение $mn \times mno = 1/4 \times 1/16 = 1/64$ делится на 6 частей, каждая из которых будет равна $1/384$, две из них надо помножить на 1, а четыре — на 0, так что в результате получится $1/64 \times 1/3 = 1/192$. При вычислении показателя F каждую из шести частей нужно помножить на коэффициент сходства соответствующей пары языков. Как и в предыдущих случаях, полученные значения суммируются и вычитаются из единицы.

Следующий возможный метод оценки — метод случайных собеседников (random speaker-hearer method), или метод G. Этот показатель измеряется вероятностью того, что если произвольно взятый многоязычный житель некоторой местности заговорит на любом из известных ему языков, то другой произвольно взятый житель этой местности сможет его понять, иными словами, будет знать

тот язык, на котором заговорит первый. Сглаживая эффект разноязычия, этот показатель более рельефно отражает распространение *lingua franca*. Практически применим только невзвешенный вариант этого метода. Процедура расчета та же, что и при методе Е; единственная разница состоит в том, что после того как произведения долей, характеризующих многоязычные группы, будут разделены на равные части, каждая часть умножается на 1 не только для пар тождественных языков, но и для пар, второй член которых хотя бы в одной паре выступает в качестве первого члена. Так, возвращаясь к примеру из пункта 4, на единицу теперь следует помножить доли, соответствующие не только парам ММ и NN, но и парам MN и NM, а на 0 — только доли, соответствующие парам NO и MO. В результате вместо значения $1/192$, полученного по методу Е, получаем $1/64 \times 2/3 = 1/96$.

Наконец, последним предлагается показатель уровня коммуникации (*index of communication*), Н, который определяется как вероятность того, что два произвольно взятых жителя некоторой местности говорят хотя бы на одном общем языке. Этот показатель отражает реальную возможность языкового общения между двумя случайными собеседниками, в силу чего он чувствительнее других показателей реагирует на такие явления, как распространение вспомогательных языков. Чтобы определить его, нужно сначала разделить все население на доли, отражающие число говорящих на каждом из языков и на каждой комбинации языков, а затем вычислить все попарные произведения этих долей, как при методе Е. Затем, если среди языков, соответствующих сомножителям произведения, имеется хотя бы один общий, то такое произведение помножается на 1. Например, если $1/20$ населения говорит на трех языках MNO и $1/20$ — на двух языках OP, то произведение этих долей, равное $1/400$, следует помножить на 1. Потом все произведения складываются. Вычитать их из 1 в данном случае, по-видимому, не имеет смысла, так как тогда мы получили бы не показатель коммуникации, а показатель разобщенности.

Уровень коммуникации и языковая однородность (величина, противоположная разноязычию и определяемая вычитанием показателей разноязычия из 1) — понятия не равнозначные. Действительно, при высоком уровне разноязычия показатель уровня коммуникации может быть равен 1, что

имеет место, когда все члены разноязычного населения владеют некоторым общим языком.

Отметим также, что описанные выше показатели не учитывают, что полиглот владеет известными ему языками неодинаково. Пока что нет удовлетворительного способа оценки этих различий, и даже если бы удалось его разработать, то едва ли возможно было бы его применить настолько широко, чтобы получить данные, характеризующие с этой точки зрения население целой области. Правда, можно было бы выделить основной, обычно родной язык, отличив его от прочих (такие сведения часто даже включают в переписи), но мы не видим, как дать этим различиям математическое выражение, которое не было бы произвольным.

Условный пример табл. I показывает, каким образом

Таблица I

	C	D	E	F	G	H
I	0,80	0,40	0,80	0,40	0,80	0,20
II	0,83	0,37	0,75	0,365	0,66	0,48
III	0,64	0,31	0,60	0,30	0,40	1,00
IV	0,70	0,50	0,70	0,60	0,40	1,00

происходит рост уровня коммуникации. В строке I показано население, которое распадается на пять одноязычных групп, равных по численности и говорящих, соответственно, на языках M, N, O, P и Q; коэффициент сходства для любой пары языков равен 0,50. На стадии, отраженной в строке II, один из языков, M, начал распространяться и усвоен половиной носителей каждого из остальных четырех языков. В результате $\frac{1}{5}$ населения говорит только на M, по $\frac{1}{10}$ приходится на двуязычные группы MN, MO, MP и MQ, а еще по $\frac{1}{10}$ — это одноязычные, не говорящие на M. На следующей стадии (III), язык M известен уже всему населению, которое, если не считать исконных носителей M, теперь сплошь состоит из двуязычных. IV строке соответствует следующая картина: имеется универсальный язык-посредник R, не родственник ни одному из местных языков; население, таким образом, распадается на пять равных по численности двуязычных групп: MR, NR, OR, PR и QR, причем коэффициент сходства между языком R

и любым местным языком = 0,00, а между местными языками, как и ранее, 0,50. Как указывалось, С обозначает невзвешенный метод дробления индивида, D — взвешенный метод дробления индивида, E — невзвешенный метод случайного говорящего, F — взвешенный метод случайного говорящего, G — метод случайных собеседников и H — показатель уровня коммуникации.

5. Поскольку исходные данные о группах, говорящих на том или ином языке или на той или иной комбинации языков, выражаются долями от общей численности населения, вышеизложенные методы применимы к различным местностям независимо от территории и численности населения (что является, несомненно, достоинством этих методов). Какие области избрать объектом для сравнения — этот вопрос исследователь решает по своему усмотрению, исходя из специфики интересующих его проблем. В обычном случае сравниваемые области должны быть хотя бы приблизительно равны по территории и численности населения. В самом деле, представляется сомнительным, чтобы можно было извлечь какую-либо пользу, скажем, из сравнения уровня разноязычия на островах Зеленого Мыса с соответствующим показателем, вычисленным для Азиатского континента. В то же время подобрать для сравнения местности, абсолютно одинаковые по территории или по численности населения, бывает практически невозможно, так как данные переписей всегда относятся к установленным политико-административным единицам.

Возникает вопрос, нельзя ли учесть эти расхождения, внося некоторый поправочный коэффициент. В принципе при увеличении территории разноязычие должно возрастать. Можно показать, что если вычислить показатели разноязычия отдельно для местностей X и Y, а затем для объединенной территории $X + Y$, то общий показатель будет больше обоих или хотя бы одного из них. Равен он будет частным показателям лишь в случае их равенства между собой, а также если в местностях X и Y в одинаковых пропорциях распределены одни и те же языки; ни при каких условиях общий показатель не будет меньше каждого частного.

Сказанное можно проиллюстрировать данными табл. 2. Из 32¹ штатов и территорий Мексики у 20 показатель A

¹ В таблице 31 территория; вероятно, пропущен Чиapas.—
Прим. перев.

Таблица 2

	А	Н
Агуас Кальентес	0,0016	0,9997
Вера Крус	0,3465	0,8175
Герреро	0,3655	0,7371
Гуанахуато	0,0152	0,9992
Дуранго	0,0404	0,9862
Идальго	0,5060	0,6665
Кампече	0,4997	0,7042
Керетаро	0,1665	0,9469
Кинтана-Роо	0,5508	0,7448
Коауила	0,0324	0,9998
Колима	0,0140	1,0000
Мехико, штат	0,3763	0,8635
Мичоакан	0,1189	0,9624
Морелос	0,2476	0,9949
Наярит	0,0720	0,9588
Нуэво-Леон	0,0288	0,9978
Оахака	0,8363	0,4767
Пуэбла	0,5922	0,7043
Сан-Луис-Потоси	0,3357	0,8610
Сакатекас	0,0002	0,9998
Северная Нижняя Калифорния	0,3893	0,9434
Синалоа	0,0618	0,9950
Сонора	0,2226	0,9577
Таваско	0,1871	0,9588
Тамаулипас	0,0570	0,9988
Тласкала	0,3104	0,8982
Федеральный округ	0,1295	0,9994
Халиско	0,0141	1,0000
Чиуауа	0,1955	0,9112
Южная Нижняя Калифорния	0,0315	0,9999
Юкатан	0,4056	0,9998
Мексика	0,3122	0,8386
Грузия	0,6370	
Армения	0,2740	
Азербайджан	0,6105	
Дагестан	0,8988	
Чечения	0,1161	
Северная Осетия	0,2736	
Карачаевская обл.	0,3252	
Кавказ	0,8703	
Провинция Плато (Сев. Нигерия)	0,9539	

(одноязычный невзвешенный метод) ниже, чем для страны в целом, и только у 12 — выше. У 23 отдельных штатов и территорий показатель уровня коммуникации N выше, чем для страны в целом, и только у девяти он ниже. Пример Кавказа в этом смысле еще разительнее: шесть из семи кавказских районов имеют показатель разноязычия A ниже, чем Кавказ в целом, и только у Дагестана, района исключительно разноязычного, этот показатель несколько выше.

При сравнении двух районов, X и Y , естественно было бы ожидать, что если Y больше X , то уровень разноязычия в районе Y будет равняться уровню разноязычия в территориальном комплексе, состоящем из X и дополнительного участка, равного $Y - X$, принимая, что на этом дополнительном участке уровень разноязычия тот же, что в районе X . Однако, как мы видели, разноязычие территориального комплекса нельзя определить исходя из показателей, характеризующих отдельные районы. Даже в случае, когда эти показатели равны, уровень разноязычия на объединенной территории будет зависеть от того, какие из языков того или иного района одновременно употребляются и в других районах, а всякое заведомое предположение на этот счет представляется произвольным. Проблема, таким образом, остается пока не решенной.

6. Выше мы мимоходом указали на различие между уровнем возможностей общения, или уровнем коммуникации, измеряемым показателем N , и степенью языковой однородности, меру которой можно получить, вычитая любой показатель разноязычия из единицы. Полезно определить также, в чем заключается разница между взвешенными и невзвешенными показателями разноязычия. Для этого представим себе, с одной стороны, глухую сельскую местность с примитивным хозяйством, а с другой — промышленный район, население которого разноплеменно и состоит из переселенцев, недавно прибывших из районов, удаленных друг от друга. Невзвешенные показатели разноязычия у этих двух местностей могут оказаться равными; однако взвешенные значения, отражающие степень сходства между языками, вероятно, покажут более высокий уровень разноязычия для промышленного района. Из этого примера видно также, что хотя, вообще говоря, в районах с низким уровнем коммуникации и хозяйственного развития скорее можно ожидать высокого уровня разноязычия, связь эта далеко не проста. Так, повышение уровня комму-

никации в местности, где до этого господствовала разобщенность, может на первых порах вызвать повышение всех показателей разноязычия.

Мы не будем здесь углубляться в рассмотрение связи между значениями отдельных показателей разноязычия и внеязыковыми факторами, так как изучение этой связи — дело прежде всего социологии и этнографии. Итогом такого изучения могла бы явиться типологическая классификация, которая установила бы, что районы, у которых совпадают значения всех показателей разноязычия, характеризуются одинаковыми экологическими, экономическими и политическими условиями.

7. В табл. 2 приведены значения ряда показателей, вычисленных специально, чтобы проиллюстрировать на примерах, какого рода данные можно получать с помощью описанных методов. Показатели А (невзвешенный одноязычный метод) и Н (уровень коммуникации) рассчитаны для всех штатов и территорий Мексики и для страны в целом по данным переписи 1930 г.; выбор объясняется, в частности, наличием в этой переписи сведений о двуязычии. Взвешенные показатели не вычислялись, так как с этим сопряжены очень трудоемкие расчеты, да и все равно имеющаяся лингвистическая информация недостаточно полна. Затем следуют значения показателя А, вычисленные для семи районов Кавказа отдельно и для всей территории в целом по данным переписи 1926 г. Наконец, мы вычислили показатель А еще для одной территории — для провинции Плато в Северной Нигерии¹. Это местность рекордно высокого разноязычия: показатель А для нее выше, чем для Дагестана и Оахаки, территорий, которые также весьма примечательны в этом отношении.

¹ По данным справочника С. G. A m e s, *Gazetteer of the Plateau Province, Nigeria, Jos, 1932.*

Языковые контакты

III. Интерференция

СЕМАНТИЧЕСКИЙ СДВИГ ПРИ ДВУЯЗЫЧИИ

Давно известно, что системы обозначения цветов в разных языках не совпадают. Сравнивая с этой точки зрения язык зуни с английским, Робертс и Леннеберг заметили, что у зуни, знающих оба языка, система обозначения цветов иная, чем у зуни одноязычных¹. В настоящей работе предлагается метод, позволяющий предсказывать систему названий цветов у двуязычных носителей; этот метод основан на несложной теории «словесной медиации» (verbal mediation).

Цель исследования была двойной: проверить предлагаемое дополнение к этой теории² и объяснить явление семантической интерференции, или сдвига в значении слов, возникающего под влиянием второго языка³.

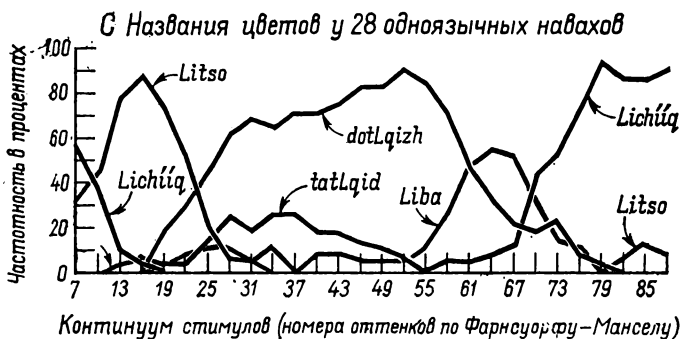
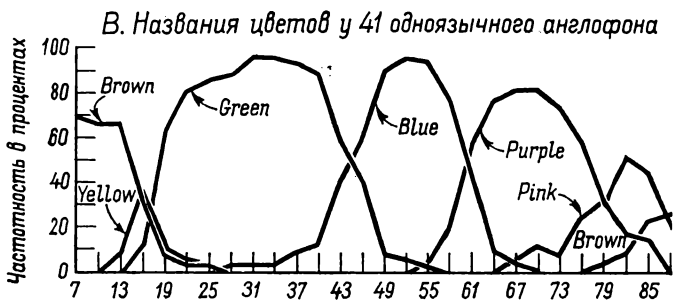
Семантику цвета как у отдельных говорящих, так и для целых языковых коллективов целесообразно описывать

Susan M. Ervin, *Semantic Shift in Bilingualism*, «The American Journal of Psychology», 74, 1961, 2, стр. 233—241.

¹ E. H. Lenneberg and J. M. Roberts, *The Language of Experience*, «International Journal of American Linguistics», Memoir 13, 1956, стр. 22.

² J. P. Foley, Jr., and M. A. Matthews, *Mediated Generalization and the Interpretation of Verbal Behavior: IV. Experimental Study of the Development of Interlinguistic Synonym Gradients*, «Journal of Experimental Psychology», 33, 1943, стр. 188—200; W. A. Russell and L. H. Storms, *Implicit Verbal Chaining in Paired-Associate Learning*, там же, 49, 1955, стр. 287—299; J. R. Bastian, *Response Chaining in Verbal Transfer*, «Studies in the Role of Language in Behavior», Technical Rep., 13, 1957, стр. 44—45.

³ Явлением семантического сдвига занимались исследователи-лингвисты; см., в частности, U. Weinreich, *Languages in Contact*, New York, 1953, стр. 47—62, и Einar Haugen, *The Norwegian Language in America*, Philadelphia, 1953, 2, стр. 459—474.



Р и с. 9.
 Диаграмма семантических сдвигов при двуязычии. А. Время реакции. В. Названия цветов у одноязычных англофонов. С. Названия цветов у одноязычных навахов.

в вероятностных терминах. Впрочем, это, должно быть, относится к любой системе категорий, членящих некоторый отрезок плавно меняющихся физических свойств, во-первых, потому, что такие свойства труднее научиться различать, а во-вторых, потому, что условия восприятия у говорящего, называющего свойство, и у слушающего, закрепляющего в этот момент свой речевой навык, редко бывают одинаковыми.

Центральным значением, или вершиной каждой категории, считается тот оттенок, для которого вероятность употребления данного названия наибольшая. Как видно из сравнения рис. 9 А и 9 В, время реакции при назывании «вершинных» оттенков значительно короче, чем при назывании остальных. Таким образом, закон Марбе (M a r b e) относится не только к словесным ассоциациям, но и к процессу называния⁴. Как показали Б р а у н и Л е н н е б е р г, при тестах на называние, проводимых с одноязычными испытуемыми, наблюдается высокая корреляция между быстротой реакции и степенью совпадения названий как у разных испытуемых (общепотребительность), так и у одного испытуемого в разное время⁵.

У двуязычного испытуемого выбор возможных реакций шире. Если попросить его при назывании цвета пользоваться только одним языком, то ему придется вытеснять слова второго языка, которые будут вторгаться в сознание, и наличие таких скрытых реакций на вытесняемом языке обязательно повлияет на вероятности наблюдаемых реакций на первом языке.

Скрытая реакция на вытесняемом языке служит промежуточным звеном, «выталкивающим» наблюдаемую реакцию на допущенном языке. Если в прошлом два разных слова часто произносились в связи с одним и тем же внешним раздражителем, то между ними возникает ассоциативная связь и в дальнейшем одно из них может по ассоциации вызывать другое уже помимо внешнего раздражителя.

⁴ Согласно этому закону, чем привычнее ассоциация, тем короче задержка реакции. Изложение работы М а р б е и позднейших подтверждений его закона можно найти в книге: С. Е. Osgood, *Method and Theory in Experimental Psychology*, Oxford University Press, 1953, стр. 722—723.

⁵ R. W. B r o w n and E. H. L e n n e b e r g, *A Study in Language and Cognition*, «*Journal of Abnormal and Social Psychology*», 49, 1954, стр. 454—462.

Примерами таких связей являются ассоциации слов-синонимов у одноязычных испытуемых и переводных эквивалентов у двуязычных. Как показали эксперименты по заучиванию парных ассоциаций, запоминание пар А — С и А—В ведет к образованию связей в парах С — В и В — С⁶. Слова, наиболее употребительные в качестве названий данного цвета в каждом из языков, не обязательно оказываются строго эквивалентными при переводе; здесь нет симметричного отношения, так как слову одного языка может соответствовать несколько слов другого⁷.

Если известны вероятности появления слов-реакций в каждом языке, степень владения данным языком у данного говорящего и вероятность употребления слов одного языка в качестве переводных эквивалентов слов другого языка, то можно попробовать предсказать семантические сдвиги в отдельных названиях.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Испытуемые. Участниками экспериментов были индейцы-навахи, живущие в резервации, в том числе 28 одноязычных, 21 двуязычный с доминирующим языком английским и 13 двуязычных с доминирующим языком навахо; в большинстве это были женщины в возрасте от 17 до 70 лет. Группу одноязычных англофонов составляли 41 заключенный тюрьмы Сан-Кинтин; этот выбор связан с их низким образовательным уровнем. При отклонениях от обычных названий цветов испытуемым навахо после эксперимента предлагалось рассортировать разноцветные фишки, чтобы проверить, не дальтоники ли они. Сан-кинтинские заключенные перед тестом на название цветов прошли проверку цветового зрения (тест Исихары — I s h i h a r a).

Определение доминирующего языка. Перед тестом на название цветов двуязычные испытуемые выполнили тест с картинками, при котором измерялась быстрота называ-

⁶ P. M. K j e l d e g a a r d and D. L. H o r t o n, An Experimental Analysis of Associative Factors in Stimulus Equivalence, Response Equivalence, and Chaining Paradigms, «Studies in Verbal Behavior», University of Minnesota, 1960, 3, стр. 21—36.

⁷ S. M. E r v i n, Information Transmission with Code Translation, «Journal of Abnormal and Social Psychology», Suppl., 49, 1954, стр. 185—192.

ния предметов на каждом языке; если реакции на языке навахо у испытуемого были быстрее, чем на английском, то язык навахо считался для испытуемого доминирующим. Этот тест подробнее описан в другой работе. Надежность критерия подтверждается наличием корреляции с продолжительностью учения в школе (коэффициент 0,72) (где в основном и происходит тренировка в английском языке) и с данными тестов на вспоминание слов каждого из языков. Подчеркнем, что скорость реакции в описанных ниже экспериментах по называнию цвета не находится в корреляции с остальными признаками доминантности языка.

Тестовый материал. Использовались покрытые целлофаном цветные фишки из 100-колерного тестового набора по Фарнсуорфу-Манселу, где стимулы отличаются только по оттенку при одинаковом насыщении и яркости. Перцептуально интервалы между оттенками равны⁸. Для теста отбиралась каждая третья фишка.

Порядок проведения эксперимента. Цвета предъявлялись вперемешку, но так, чтобы сложные оттенки не шли подряд. Сначала испытуемый должен был называть цвета на языке навахо; а несколько позже, но в этот же день — по-английски. Испытуемых просили называть цвета непринужденно, как будто в разговоре с другом.

Инструкции на языке навахо давались в записи на пленку. Они были подготовлены опытным переводчиком, затем снова переведены на английский, сначала дословно, потом вольно, и в окончательном варианте записаны. Чтобы отвечать на вопросы, переводчик присутствовал и при экспериментах. В ходе эксперимента записывались произносившиеся названия цветов и время реакции. Если испытуемый не успевал подобрать название цвета за 30 сек., фишку убирали, а потом она предъявлялась повторно в ряду с оставшимися фишками.

Анализ данных. Время реакции, выраженное в секундах, было обращено в логарифмы, а затем, чтобы сделать показатели сопоставимыми, в них были внесены поправки на индивидуальные особенности испытуемых. Двучленные названия цветов классифицировались по главному элементу конструкции, который определялся в языке навахо по суффиксам, а в английском по суффиксам и по порядку слов.

⁸ Dean Farnsworth, The Farnsworth—Munsell 100 Hue and Dichotomous Tests for Color Vision, «Journal of the Optical Society of America», 33, 1943, стр. 568—576.

Так, blue-green «сине-зеленый» подсчитывалось вместе с green «зеленый», а greenish blue «зеленовато-синий» — вместе с blue «синий». При паузе между элементами, как, например, blue... green «синий... зеленый», принималось во внимание только первое слово. Никаких других объединений групп слов не делалось.

РЕЗУЛЬТАТЫ

(1) *Одноязычные испытуемые.* Сначала мы выявили ключевые моменты различия между одноязычными группами, чтобы затем, исходя из этих различий, по ним предсказывать точки, в которых должен происходить семантический сдвиг. Главнейшие различия между двумя одноязычными группами состояли в следующем.

(а) *Желтый цвет.* Подбирать названия оттенкам в желтой части спектра по-английски оказалось труднее, чем на языке навахо. Слово языка навахо Litso покрывает более широкий отрезок спектра и в своем центральном значении имеет гораздо более высокую вероятность употребления, чем англ. yellow⁹. Центральным для обоих языков был оттенок № 16, но из навахов его называли словом Litso 89%, а из английской группы словом yellow его обозначили только 34%. Оттенок № 16 слабее насыщен, чем «хороший» желтый цвет, и были испытуемые, которые называли его словами tan «желто-коричневый», beige «бежевый», green «зеленый» и brown «коричневый». Запаздывание при назывании этого оттенка у английских одноязычных было наибольшим, если не считать оттенок № 84. Их реакция была значительно медленней, чем у группы навахо ($p < 0,0001$). Таким образом, для оттенка № 16 можно было предсказать, что двуязычные, говоря по-английски, сначала внутренне назовут цвет словом навахо, и это повысит вероятность употребления ими англ. yellow.

⁹ При транскрипции слов навахо мы придерживались следующих условных обозначений: L — глухой латеральный спирант, как «л», произнесенное шепотом; q — гортанная смычка, или тонкое придыхание, — как начальный согласный, который слышится в слове «Аня», если его громко крикнуть, или как согласный в начале второго слога междометия huph-uph «гм, гм»; zh «ж»; острым ударением обозначено повышение тона.

(б) *Граница желтого цвета.* Граница между желтым и зеленым в навахо проходит ближе к зеленому, чем в английском. Переходным для английских одноязычных является оттенок № 17, а для группы навахо — оттенок № 25.

При назывании оттенка № 17 можно ожидать, что на двуязычного испытуемого, когда он будет говорить по-английски, окажет давление соответствующее слово языка навахо; а когда он будет подыскивать навахское название оттенку № 25, то, наоборот, ощутит воздействие английского. Далее, поскольку нав. *litso* переводится на английский более однозначно, чем англ. *green* на язык навахо, то давление английского при назывании оттенка № 25 должно ощущаться слабее, чем давление навахо при назывании оттенка № 17. Реакции на промежуточные цвета будут зависеть от того, какой язык у испытуемого доминирующий, так как эти цвета в обоих языках расположены на периферии соответствующих отрезков спектра. Так, у испытуемого с доминирующим языком навахо при речи по-английски чаще будет возникать скрытая реакция на языке навахо, чем у испытуемого с доминирующим английским, и поэтому он назовет все промежуточные оттенки английским словом *yellow*.

Давление английского слова *green* должно продвинуть точку максимальной интерференции у испытуемых с доминантностью английского глубже в желтую полосу спектра, чем у испытуемых с доминантностью навахо.

При опытах с английским языком нав. *litso*, замедляющее реакцию, будет глубже внедряться в зеленую полосу спектра у испытуемых с доминантностью навахо, чем у испытуемых с доминантностью английского. Короче говоря, независимо от языка, на котором проводятся опыты, точка максимально замедленной реакции у людей с доминантностью навахо будет расположена глубже в зеленой полосе спектра.

(в) *Нав. dotLqizh.* Это слово навахо соответствует трем английским названиям цветов: *green* «зеленый», *blue* «синий» и *purple* «фиолетовый».

Правда, к этому отрезку спектра относятся также и другие слова и различные средства уточнения, позволяющие дифференцированно называть расположенные в нем оттенки, но все же главным словом для всего отрезка с № 25 по № 67 остается нав. *dotLqizh*.

Вершина англ. *green* приходится на оттенки с № 31 по № 34, для которых это слово употребили 95% одноязычных англофонов. Вершина соответствующего наваха-ского слова *tatLqid* (которое употребили 25% одноязычных навахов) приходится на оттенки № 34 и 37. Точка перехода от *green* к *blue* лежит между оттенками № 44 и 45; в языке навахо этого перехода нет из-за малой употребительности названия зеленого цвета, и индеец-навах, изучая английский, вынужден осваивать новое для него различие зеленого и синего. Можно было бы ожидать, что чем лучше он знает английский, тем устойчивее у него навыки различения зеленого и синего и тем точнее проводимая им граница совпадает с нормой английского языка. При речи на языке навахо у него под влиянием англ. *green* может возрасти частота употребления переводных эквивалентов этого слова независимо от их собственных вероятностей. Однако появление этих эквивалентов менее вероятно после оттенка № 45, так как здесь уже начинается сфера влияния англ. *blue*.

(г) Англ. *purple* «фиолетовый». Это слово не имеет эквивалента в навахо. Граница между обширной областью нава. *dotLqizh* и следующей категорией — нава. *Lichiiq* «красный» — проходит через оттенок № 69, на который в английском языке приходится вершина категории *purple*. Англ. *purple* с одной стороны граничит с *blue* (точка перехода между оттенками № 60 и 61), а с другой — с *pink* «розовый» (точка перехода — оттенок № 79).

Названия цветов и время реак

Доминирующий язык *	Язык, на котором назывался цвет	15		
		желтый	зеленый	лог. сек.
Английский	английский	76%	0%	—0,12
Навахо	английский	69%	0%	—0,19
Английский	навахо	95%	0%	—0,15
Навахо	навахо	92%	0%	—0,00

* Английский был доминирующим языком у 21 испытуемого, навахо — у 13.

Когда двуязычный носитель говорит на языке навахо, никакой интерференции английского слова purple происходит не должно, так как у этого слова нет однозначного перевода в языке навахо, который оно могло бы «выталакивать». Зато при речи на английском область употребления purple должна сужаться из-за интерференции нав. dotLqizh и Lichíiq, имеющих другие, более вероятные переводы. Этот эффект должен быть особенно заметен у двуязычных с доминантностью навахо.

(д) *Англ. grey «серый»*. Навахи переводят нав. Liba английским grey. С невысокой частотой нав. Liba употреблено для довольно широкой полосы оттенков, а оттенок № 61 этим словом называли целых 46% навахов. Англ. grey оказалось малоупотребительным; его вершинная частотность, всего 7%, пришлось на оттенки № 64 и 67. Если при назывании оттенка № 61 по-английски нав. Liba окажет какое-то влияние, то это влияние, очевидно, выразится в повышении частоты англ. grey, в особенности у двуязычных с доминантностью навахо. Обратного влияния английского языка на язык навахо быть не должно, так как оттенок № 61 лежит на границе между blue и purple.

(2) *Данные экспериментов с двуязычными испытуемыми*. Эти данные излагаются отдельно по каждому замеченному отклонению от одноязычной нормы. (Все приводимые значения вероятностей ограничены только сверху.)

(а) *Желтый цвет*. Доля двуязычных индейцев, назвавших оттенок № 16 yellow, была значительно выше

Таблица 1

ции у двуязычных испытуемых

18			21			24		
жел- тый	зеле- ный	лог. сек.	жел- тый	зеле- ный	лог. сек.	жел- тый	зеле- ный	лог. сек.
62%	0%	-0,08	48%	14%	-0,21	16%	43%	+0,12
62%	8%	-0,14	46%	15%	-0,22	8%	62%	+0,30
67%	14%	-0,02	43%	57%	-0,63	14%	76%	+0,17
69%	15%	-0,17	60%	15%	-0,18	24%	54%	+0,76

($p < 0,0005$ по X^2), чем в группе одноязычных англофонов ($p < 0,0005$ по X^2). Едва ли можно объяснять эту разницу отсутствием выбора из-за бедности запаса английских слов, так как главным конкурирующим названием у одноязычных англофонов было *grown* «коричневый» (32%) — слово, которое по отношению к другому оттенку употребили 38% двуязычных с доминантностью навахо и 52% — с доминантностью английского.

(б) *Граница желтого цвета*. Предсказание, что влияние англ. *green* вызовет повышенную частотность его навахских эквивалентов для оттенка № 24, не сбылось. Однако для оттенка № 18 нава. *Litso* и англ. *yellow* действительно преобладали (см. табл. 1). Для оттенка № 21 в опытах с языком навахо (но не с английским) вероятность употребления переводов англ. *green* (нава. *tatLqid* и *dotLqizh*) оказалась значительно больше у двуязычных с доминирующим английским по сравнению с группой, для которой доминирующим языком был навахо ($p < 0,03$ по X^2). Однако и для опытов с английским языком вычисление средней точки перехода от желтого к зеленому показало, что у группы с доминантностью навахо эта точка лежит ближе к зеленому ($p < 0,05$ по t -критерию *). Несовпадение граничной точки между желтым и зеленым у двуязычных групп подтверждается также и тем, что у группы с доминантностью английского, независимо от языка эксперимента, вершина была смещена дальше в сторону желтого, чем у группы с доминантностью навахо. В эксперименте с английским языком вершина у этих групп приходилась, соответственно, на оттенки № 18 и № 21, а в эксперименте с языком навахо — № 21 и № 24 ($p < 0,05$ по X^2).

(в) *Нав. dotLqizh*. При опытах с названием по-английски у группы с доминантностью английского наблюдалось большее совпадение границ категорий у разных испытуемых и у одного испытуемого в разное время, чем у группы с доминантностью навахо. У 5% членов первой группы и у 58% членов второй группы наблюдалось пересечение цветов, то есть они называли английским словом *green* оттенок более синий, чем другой оттенок, который они же называли *blue*. Вот названия, которые дал оттенкам с № 24 по № 70 испытуемый с наиболее ярко выраженным пересечением цветов: *purple, purple, green, green, blue, green,*

* Критерий Стьюдента.— Прим. перев.

green, green, green, blue, green, green, purple, green и далее до конца purple. Все это — оттенки, которые на языке навахо можно назвать одним словом dotLqizh.

Если определять гипотетическую граничную точку для каждого испытуемого как оттенок, лежащий на середине отрезка между последним из оттенков, названных green, и первым из названных blue, то колебания у группы с доминантностью навахо будут ощутимо шире, чем у группы с доминантностью английского ($p < 0,01$).

Данных, которые свидетельствовали бы о повышенной употребительности среди двуязычных испытуемых навахо слова tatLqid (или единиц, уточняющих нав. dotLqizh при назывании оттенков в зеленой части спектра), не получено. Возможно, это объясняется, в частности, тем, что испытуемые-навахи младшего поколения не знают слова tatLqid ($p < 0,005$ по t-критерию); теоретически частота употребления этого эквивалента англ. green должна расти вместе со степенью овладения английским языком, однако этому, может быть, препятствует его исходно низкая частота¹⁰.

Среди двуязычных с доминирующим языком навахо разброс переводных эквивалентов англ. green был значимо меньше, чем у навахов одноязычных ($p < 0,05$), из чего можно заключить, что когда промежуточным словом, «выталкивающим» реакцию, является англ. blue, то вероятность появления его главного переводного эквивалента dotLqizh повышается, но что этого не происходит, когда в роли скрытого промежуточного стимула выступает англ. green, которое может быть отражено в языке навахо и как dotLqizh, и как tatLqid.

(г) Англ. purple «фиолетовый». Если подсчитывать только случаи употребления англ. blue и англ. purple, то двуязычных, назвавших оттенок № 63 словом blue, окажется

¹⁰ В частном сообщении Герберт Л а н д а р, много изучавший медицинскую лексику, обратил мое внимание еще на одну возможную причину низкой частотности нав. tatLqid: это слово можно разложить на морфемы ta- «вода» и -tLqid «flatus», чем, возможно, и объясняется несклонность некоторых навахов употреблять его в «приличной» беседе несмотря на то, что в сложении морфемы получают значение «мох, водоросли или пена на воде». Вероятно, это слово вытесняется в первую очередь у индейцев, обладающих сравнительно более высоким культурным уровнем, и поэтому его реже можно услышать от испытуемых, для которых доминирующим стал английский язык.

гораздо больше, чем употребивших англ. purple ($p < 0,0005$ по X^2). Далее, если так же сопоставить случаи употребления англ. violet «лиловый», lavender «бледно-лиловый» и purple «фиолетовый», с одной стороны, и red «красный» и pink «розовый» — с другой, при назывании оттенка № 78, то двуязычных испытуемых, употребивших последние два слова, окажется значимо больше ($p < 0,03$ по X^2), чем употребивших первые три слова. Таким образом, для двуязычных испытуемых категория «purple» и его синонимов уже, чем для одноязычных. (У двуязычных испытуемых с доминантностью навахо этот эффект не был значимо сильнее, чем у остальных двуязычных.)

(д) Англ. grey «серый». В полосе оттенков с № 57 по № 69 англ. слово grey употреблялось двуязычными испытуемыми чаще, чем одноязычными, причем гораздо большее число испытуемых с доминантностью навахо употребили это слово хотя бы по одному разу ($p < 0,05$ по X^2).

РАССМОТРЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Данные эксперимента подтверждают, что в ряде ситуаций правомерно описывать процессы называния у двуязычных в терминах скрытых реакций, влияющих на речь через перевод. Сформулируем эти ситуации в более общем виде.

(1) Когда в одном языке имелось высокоупотребительное название, а в другом языке такого названия не было, в речи двуязычных на том и на другом языке преобладало это высоковероятное название и, соответственно, его переводной эквивалент (случай а).

(2) Если языки проводили границу между двумя категориями, имеющими названия в каждом языке, в разных точках, то двуязычные, определяя эту граничную точку, ориентировались на свой доминирующий язык (случаи б и а).

(3) Если категория одного языка обнимала область значений, которой во втором языке соответствует две категории, то граничная точка между этими последними варьировала и зависела от степени владения вторым языком (случай в).

(4) В случае, когда область, покрываемая в одном языке двумя категориями, другим языком членилась на три категории, так что граничная точка между категориями

ми первого языка оказывалась внутри средней категории второго, двуязычные при речи на втором языке сужали эту среднюю категорию (случай *г*).

Первоначально мы предполагали, что в распоряжении обеих групп двуязычных имеются примерно одинаковые по богатству наборы названий цветов и что ожидаемые различия в реакциях будут связаны с разницей в силе давления, оказываемого на каждую из групп ее доминирующим языком — навахо или английским. Это предположение оказалось ошибочным. Результаты эксперимента свидетельствуют, что с усвоением английского языка словарь названий цветов становится богаче, причем наблюдается зависимость между показателем степени доминантности языка и вероятностью употребления таких слов, как lavender «бледно-лиловый» и violet «лиловый» ($p < 0,005$ по *t*-критерию), имеющих в английском языке меньшую частотность, чем purple «фиолетовый»¹¹.

Подобные различия наблюдались и при речи двуязычных на языке навахо: запас названий цветов у пожилых испытуемых был богаче. Употребительность как нав. *tatLqid*, так и нав. *Liba* зависела от возраста испытуемых, хотя, в общем, *Liba* употреблено большим числом двуязычных. Некоторые молодые двуязычные с доминантностью английского пользовались этими словами неправильно с точки зрения одноязычной нормы. Например, один из них называл словом *tatLqid* только оттенки № 18 и № 63 и ни один из промежуточных оттенков. Таким образом, оказывается, что вероятность переводных соответствий между словами двух языков не всегда можно точно предсказать из-за неодинаковой степени владения словарем.

Вероятно, процессы, аналогичные выявленным при назывании цветов, будут иметь место и при семантических сдвигах в других областях значений, например, у слов, относящихся к эмоциональной сфере. Остается неясным, приложимо ли то же простое объяснение и к сдвигам в значении слов, относящихся к дискретным категориям, а не к сплошному спектру свойств.

Полученные результаты не дают оснований предполагать какие-либо различия в цветовом видении у одноязыч-

¹¹ E. L. Thorndike and I. Lorge, *A Teacher's Word Book of 30,000 Words*, 1944. По Торндайку — Лорджу purple входит в категорию частотности 2 В, violet — 3 А, lavender — 8. Последние два слова редко употреблялись заключенными из Сан-Квинтина.

ных и двуязычных испытуемых непосредственно в момент восприятия. Опыты Леннеберга с языком зуни не обнаружили различий в восприятии цвета у носителей языка зуни и английского при одновременной демонстрации цветных образцов ¹².

Как показали тесты на сортировку цветов и опыты по определению пороговых значений, языковые категории не оказывают влияния на остроту цветового восприятия. В то же время очевидно, что в ситуациях, где можно предположить «словесную медиацию» (*verbal mediation*), одноязычные и двуязычные испытуемые будут вести себя неодинаково.

¹² E. H. L e n n e b e r g, *Color Naming, Color Recognition, Color Discrimination: a Re-appraisal (in press)*.

Языковые контакты

IV. Конвергенция контактирующих языков

АНГЛИЙСКАЯ, ФРАНЦУЗСКАЯ И НЕМЕЦКАЯ ФОНЕТИКА И ТЕОРИЯ СУБСТРАТА

П. Делаттр в своей блестящей статье¹ об относительной позиции английской, французской и немецкой фонетики хорошо излагает основные фонетические черты этих языков и приводит убедительные соображения в пользу промежуточной позиции немецкого языка между французским и английским. Его наблюдения основаны на научном анализе и подтверждены данными, полученными с помощью современного оборудования в фонетической лаборатории. Вряд ли их можно опровергнуть. Однако в объяснительной части своей статьи он, к сожалению, вновь вызывает старый призрак субстрата и именно в связи с этим наталкивается на почти непреодолимые трудности. Поскольку определенные тенденции в развитии английского языка в значительной мере приписываются в этой статье, как он говорит, расслабленной артикуляции и «ошибкам в произношении» британских кельтов², представляется уместным проанализировать тот кельтский язык в Британии, на котором говорят до сих пор, а именно валлийский, и установить, имеются ли в нем те черты, которые приписываются теорией субстрата его кельтскому предку.

Место ударения в валлийском слове предсказуемо, ибо оно почти всегда падает на предпоследний слог, как в польском или испанском, и лишь небольшое число слов представляет исключение из этого правила. Но даже и в этих словах ударение первоначально падало на предпоследний слог, как, например, в слове *Symraeg* [kəm'ra:ig] «валлий-

Robert A. F o w k e s, English, French, and German Phonetics and the Substratum Theory, «Linguistics», 21, 1966, стр. 45—53.

¹ См. P. D e l a t t r e, German Phonetics between English and French, «Linguistics», 8, 1964, стр. 43—55.

² Там же, стр. 54.

ский», в котором последний слог получился из стяжения двусложного когда-то окончания [-ai-ig]. Однако для проблемы, разбираемой в настоящей работе, гораздо важнее не место, а характер этого ударения. В валлийском оно, по существу, того же типа, что в немецком и английском, и воспринимается как усиление степени громкости ударного слога. Оно сильнее, чем французское ударение; что же касается вопроса о том, сильнее ли валлийское ударение, чем английское, то эксперты расходятся здесь во мнениях. Соммерфельт в своих исследованиях кифейлиогского (Cyfeiliog) диалекта³ утверждает, что ударение в нем слабее, чем в английском или немецком. С другой стороны, Стефен Джоунз⁴ говорит, что оно более выражено, чем в английском языке. Джоунз описывает то, что можно назвать стандартным североваллийским, и вполне можно предполагать, что сила ударения в нем слегка отличается от наречия, обследованного Соммерфельтом. Во всяком случае, ясно, что ударение в валлийском гораздо ближе к английскому и немецкому, чем к французскому. Следует, правда, признать, что имеется известная связь между ударением и длительностью гласного в валлийском, что напоминает французский язык, но тип ударения явно отличается от французского.

Что касается артикуляции г, то в валлийском оно в первую очередь характеризуется вибрацией языка; в нем нет никаких признаков альвеоло-палатального ретрофлексного г. Многие индивиды произносят увулярный R, но это расценивается как дефект речи и в народе называется «толстаязычием» (tafod tew). Валлийские велярные /k/ и /g/ артикулируются глубже, чем в английском, а фарингальный фрикативный /x/ глубже, чем немецкий ach-Laut. Звуки t, d, n имеют в валлийском отчетливо зубную, а не альвеолярную артикуляцию. Что касается частотности согласных, то в валлийском они располагаются в следующем порядке: p, r, d (g, l, v, m), в то время как английский и немецкий дают p, t, r, а французский — r, l, t.

Немецкий и английский языки имеют дифтонги типа ai, au, ou с известными фонетическими вариантами (разными в двух языках), а также позиционно обусловленными

³ Alf Sommerfelt, *Studies in Cyfeiliog Welsh*, Oslo, 1925, стр. 57.

⁴ St. Jones, *A Welsh Phonetic Reader*, London, 1926, стр. 20.

аллофонами. В валлийском дифтонгов гораздо больше: *oi, ui, əi; iu, eu, iu; əu; ai, oi, ui, əi*, но это обилие дифтонгов в валлийском объясняется отнюдь не дифтонгизацией долгих гласных, за исключением [au] из [a:]. В валлийском нет ничего, напоминающего процесс, который Делаттр называет «ненапряженной артикуляцией, приводящей к созданию дифтонгов»⁶. Валлийский, точно так же как немецкий и французский, имеет так называемые «чистые» гласные [e:] и [o:]. Признак напряженности, который, разумеется, трудно измерить, по-видимому, ослаблен в этих валлийских долгих гласных по сравнению с немецкими и французскими; кроме того, они имеют в валлийском несколько более открытый характер. Однако по сравнению с долгими дифтонгами в английском валлийские [e:] и [o:] явно являются более напряженными. В английском языке всех валлийцев такое монофтонгическое произношение долгих *e* и *o* является хорошо известной чертой, которая широко используется на сцене для имитации «валлийского акцента».

Немецкий и английский языки унаследовали некоторое число аффрикат, которые они сохранили. Английскому языку приписывается тенденция создавать аффрикаты⁶. В валлийском нет унаследованных аффрикат и не видно никакой тенденции создавать их. Имеется весьма ограниченное число заимствований, в которых они встречаются, но чаще они замещаются при заимствовании другими звуками, обычно щелевыми (ср. *siars* [šars] «печенье, забота, командование» из *charge*). Здесь скорее мы имеем дело с проявлением двуязычия и контакта языков, чем с субстратом или суперстратом. Эти редкие аффрикаты не стали «продуктивными» в валлийской системе согласных. В этом отношении валлийский можно назвать «более германским, чем немецкий»; во всяком случае, это касается его сопротивления какому-либо созданию аффрикат. Замечательно и то, что в валлийском /k/ произносится с полным взрывом в таких сочетаниях, как *kt, ŋkt* и т. п.⁷, и это еще раз подтверждает, как далек валлийский от приписываемой ему ненапряженности кельтской артикуляции. Если сравнить произношение валлийских слов *actau* [ˈaktai] «акты» и *sanctaidd* [ˈsɔŋktaið] «святой» с английскими

⁶ См. P. Delattre, цит. соч., стр. 49.

⁶ Там же.

⁷ St. Jones, цит. соч., стр. 16.

actor, sanctity «святость», то ясно ощущается взрыв [k] перед образованием следующего [t], в то время как в английских словах actor и sanctity [k] является имплозивным. Валлийская артикуляция скорее напоминает произношение немецкого слова Akt или французского acte. Более того, в валлийских словах с начальным сочетанием согласных [kn-], например, spawd [knaud] «плоть», спан [knaɪ] «орехи», артикуляция [n] не начинается до тех пор, пока не закончен взрыв [k] — положение, которое можно сравнить с произнесением немецких слов Knie, Knecht, knapp. В самом деле, для комбинаций согласных в валлийском языке типично сохранение независимой артикуляции каждого согласного. Это особенно заметно в сочетании [xw], в котором велярный щелевой [x] произносится без округления губ, несмотря на следующий [w], т. е. [x] и [w] артикулируются независимо. (Конечно, в историческом развитии валлийского имел место процесс ассимиляции глухих и звонких в звуковой цепи, но это явление совсем иного порядка.) Практическим отражением этой фонетической ситуации — как в области гласных, так и в области согласных — является то, что валлийцы обычно легче обучаются немецкому произношению, чем англичане. Наоборот, валлийцы, говорящие по-английски, часто испытывают значительные трудности при усвоении дифтонгического произношения английских долгих гласных и обычно заменяют их монофтонгами, точно так же как французы и немцы, говорящие по-английски.

В валлийском языке нет назализации гласных, хотя именно это считается особенностью западно-английской территории, где кельты предположительно были основным населением, когда началось распространение «англосаксонского языка»⁸. Ясно, что кельты еще более плотно заселяли области, называемые теперь Уэльсом, однако они совсем не передали своим современным потомкам никакой тенденции ни к назализации, ни к каким другим «ненапряженным» чертам, которые приписываются этому влиянию. Верно, что бретонский имеет теперь носовые гласные, однако он мог приобрести их в результате контакта с французским. Многочисленные бретонские заимствования из французского обнаруживают такие звуки. Носовые распространились и на исконно бретонские слова, и им вряд

⁸ P. Delattre, цит. соч., стр. 50.

ли можно приписывать кельтское происхождение, поскольку они незнакомы в валлийском (или корнском). Может быть, правда, нам надо поверить в своего рода «замедленную реакцию», при которой некие скрытые тенденции вдруг вновь стали активными после столетий покоя (скажем, под влиянием французского в качестве катализатора).

По-видимому, уже давно в кругах неспециалистов или полуспециалистов стало привычкой объяснять лингвистические особенности романских языков кельтским влиянием. Галлам приписывают тенденцию, проявившуюся среди говорящих на латыни в Галлии, к опусканию мягкого нёба, что привело к назализации латинских гласных, столь характерной для французского языка. Но сколь ни скудны наши знания о галльском языке, все же ничто не говорит в пользу наличия носовых в этом языке⁹. Более того, валлийский и корнский, в фонологическом отношении близкие к галльскому, не имеют носовых гласных, а бретонский, как мы видели, приобрел их лишь в результате контакта с французским языком. С другой стороны, в романском эти гласные были почти с самого начала¹⁰. Предположение о галльском или другом кельтском субстрате было бы здесь анахронизмом. Остается лишь надеяться, что кельтам не припишут возникновения подобных явлений в старославянском или в польском, хотя и можно делать всякие предположения в связи с названием «Галиция».

Что касается утраты «тембра гласных», то валлийский разделяет эту историческую черту с немецким (а также и с английским и с французским): в истории имела место редукция безударных гласных. Однако сейчас не наблюдается никакой тенденции к возникновению новых шва. Наоборот, можно утверждать, что имеется явное противодействие этой тенденции. Интересен тот факт, что если для немецкого языка сохранение тембра безударных гласных может быть продемонстрировано по понятным историческим причинам только в заимствованных словах, например *Demokrat*, *Demokratie*, *demokratisch*¹¹, то в валлийском тембр сохраняется в огромном числе исконных слов, напри-

⁹ G. Dottin, *La langue gauloise*, Paris, 1918, стр. 95—97; R. A. Fawkes, *The Phonology of Gaulish*, «Language», 16, 1940, стр. 297—299.

¹⁰ W. Meyer-Lübke, *Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft*, Heidelberg, 1920, стр. 233—234.

¹¹ P. Delattre, цит. соч., стр. 50.

мер gwelaf [ˈgwelav] «я вижу», agorant [aˈgorant] «они откроют, открывают», bechan [ˈbexan] «маленькая» и т. п. (и, конечно, в таких заимствованиях, как democrataidd [demoˈkrataid] «демократический» и т. п.). Не наблюдается в валлийском и нейтрализации или утраты тембра гласных перед [r], ср. dirgel [ˈdirgel] «тайный», ers [ers] «(тому) назад» (англ. ago), berwi [ˈberwi] «кипеть», wrth [urθ] «с, к, до». Валлийский не только не теряет тембра в безударных слогах, но, наоборот, усиливает тембр гласного в безударных слогах или слогах, несущих побочное ударение, в словах, заимствованных из английского языка, хотя это сопровождается и интонационными сдвигами, ср. англ. island — англо-валлийское [əi-länd], в то время как английский источник дает [ˈaɪlɪnd] или [ˈaɪlənd].

Признак придыхания в валлийском очень похож на тот же признак в английском и немецком (в отличие от французского), однако распространяется в валлийском на большее число позиций. Глухие взрывные обычно произносятся с придыханием в любом окружении (за исключением t в сочетании [tr]). Валлийское [l] ближе к французскому или немецкому, чем к английскому «темному l». Конечно, в валлийском имеется специальная глухая фонема [l̥], так называемое «двойное l» (Llangollen и т. п.), но это не влияет на фонетическое положение валлийского относительно английского, французского или немецкого. Валлийские [t], [d], [n], упомянутые раньше, являются зубными звуками, а не альвеолярными, как соответствующие английские. Они ближе по артикуляции к французским зубным, чем к немецким, которые, по-видимому, находятся где-то посередине между французскими и английскими. Интервокальные /p, t, k/ не озвончаются в валлийском и не подвержены влиянию соседних гласных. Ослабление /p, t, k/ в валлийском проводится чаще и полнее, чем в английском, что делает его более похожим на французский и немецкий.

Палатализация, или смягчение, также мало характерна для валлийского произношения, во всяком случае, не играет большей роли, чем в немецком языке. Правда, явления палатализации имеются в корнском языке, но они были крайне редкими в ранний период и увеличивались в процессе усиления контактов с английским языком. Естественно считать более вероятным влияние английского языка на корнский, чем обратное влияние. Особенно важно отме-

тить сопротивление валлийского языка по отношению к палатализации звука [k]. Делаттр указывает, что «германский сохранил свое /k/ перед /i, e, a/ на протяжении всей истории»¹². (Он, несомненно, имеет в виду немецкий, а не германский, ибо в противном случае из германской группы исключаются английский, фризский и скандинавские языки.) Разумеется, в современном немецком языке /k/ остается /k/ в Kaiser, Kirche, Kind, а английские слова church и child явно показывают действие палатализации. При этом утверждается, что смягчение произошло «в устах британских кельтов». Разве при этом не удивительно, что Iwl Cesar [ju:l'kesar] до сих пор остается валлийским соответствием для Julius Caesar, что латинское cella «комната» дает в валлийском cell [keɪ] «камера; покой», а латинское cista «ящик, сундук» дает cest [kest] «брюхо», что certus «верный, уверенный» > certh [kerθ] «верный; ужасный», civit(as) «граждане, народ» > ciwed ['kiwed] «народ, толпа»; и что эти заимствования восходят к периоду римской оккупации Уэльса¹³. Более того, даже индоевропейское /k/ до сих пор остается /k/ в унаследованных словах валлийского языка, например в celu ['keɪ] «прятать» (староирландское celim «я прячу», родственное (но не заимствованное) латинскому celō из индоевропейского *kel)¹⁴.

Все сказанное можно подытожить следующим образом: те черты английского языка, которые нас призывают считать результатом продолжительного воздействия кельтского субстрата, как раз отсутствуют в валлийском, прямом продолжателе британского кельтского языка, причем многие из этих черт таковы, что британский или какой-нибудь другой кельтский язык не мог характеризоваться ими ни в какой период своего развития. Наоборот, те черты французского языка, которые приписываются влиянию германского суперстрата, главным образом древнефранкского, оказываются чертами, которые имеются и в валлийском. Нужно обладать очень богатым воображением, чтобы представить себе эти черты в валлийском как результат воздействия англосаксонского суперстрата, особенно если учесть, что многие из них существовали в кельтском языке Брита-

¹² Там же, стр. 53.

¹³ H. Lewis, Yr Elfen Ladin yn yr Iaith Cymraeg, Cardiff, 1943, стр. 35.

¹⁴ J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern, 1959, стр. 55.

нии задолго до прихода англов и саксов (и ютов). Это, во всяком случае, верно в отношении заимствований из латыни в период римского владычества. Если кто-либо станет объяснять романским суперстратом эти черты «нерасслабленной артикуляции» (некоторые из которых встречаются и в ирландском, где вообще не могло быть никакого романского суперстрата), то вряд ли для этого удастся найти какие-либо доказательства (во всяком случае, опровергающий материал представить куда легче). Точно так же маловероятной, а может быть, и вообще абсурдной была бы теория, по которой германский суперстрат освободил валлийскую артикуляцию от ее внутренних тенденций к расслабленности, в то время как в Англии, наоборот, кельтский субстрат привел к проникновению в англосаксонскую артикуляцию этих тенденций в соответствии с неким мистическим принципом обратной компенсации.

Обратимся теперь к какому-нибудь германскому языку, для которого вообще очень трудно говорить о каком-либо кельтском субстрате. С этой точки зрения весьма интересен фарёрский диалект. Здесь сторонники теории субстрата с удивлением обнаружили бы многие черты ненапряженной артикуляции, характерные для английского (и французского) и приписываемые, как мы видели, кельтскому влиянию. Если допустить, что германский элемент был способен препятствовать и противоборствовать определенным фонологическим тенденциям французского языка (и даже повернуть их в другую сторону) на территории, где германский действовал лишь как суперстрат, то разве не следует ожидать, что фарёрский диалект, являясь языком полностью (северо)германским и никак не подверженным действию какого-либо субстрата, суперстрата или адстрата, в высокой степени сохранит те характеристики, которые считаются собственно германскими? Однако в фарёрском дифтонгизация получила очень большое распространение — и не только в случае долгих гласных, но в значительной степени и в случае кратких гласных. Весьма консервативная и вводящая в заблуждение орфография (хотя и принятая не очень давно), по-видимому, объясняет тот факт, что часто, в особенности сторонние наблюдатели, преувеличивают сходство между фарёрским и исландским. Долгое *и* (орфографически *ú* в подражание исландскому) реализуется как дифтонг [ui], например, *tu* [tʰui] «ты». Аналогично *о* долгое реализуется как дифтонг [ou] или [ɔi], например

stórir [stóurir] «большие»; *a* долгое, как правило, произносится [ɔa], например mála [mɔala] «красить». Долгое *i* дает [uɪ], например líka [liuka] «похожий, как». Приведем примеры дифтонгизации первоначально кратких гласных: tað [teɪ] «что», hava [ˈheava] «иметь», stova [stóuva] «комната», hefur [ˈheavur] «имеет» и т. п. Здесь дается, разумеется, фонетическая, а не фонологическая транскрипция¹⁵.

Что касается палатализации, то в фарёрском она зашла даже дальше, чем в английском. Достаточно привести всего несколько примеров, чтобы показать размеры этого явления. И здесь традиционная орфография скрывает истинное положение дел, отражая более древнее состояние языка (что становится ясным из сравнения с древне- и ново-исландским), хотя принята она была лишь в нашем столетии: gestur [ˈjɛstur] «гость», hjá [čɔa] «у, при, с», hyggja [ˈhiǰja] «взгляд», Eingilskmann [ˈainjilskman] «англичанин», tykjast [ˈti:čast] «казаться», ikki [ˈiči] «не», kjallar [ˈčaðlar] «подвал», til merkis [tilˈmerčis] «например», skip [šip] «корабль», ríkidóm [ˈruɪčidɔm] «богатство» и т. п.

Исландский язык обнаруживает сходную дифтонгизацию долгих гласных, например á [au:] «на, в», óska [ˈou:ska] «желать», hér [hje:r] «здесь», где *e:* долгое реализуется как восходящий дифтонг¹⁶. Но, по-видимому, здесь нет, как в фарёрском, дифтонгизации [i:] и [u:] и тем более кратких гласных. Палатализация представлена в зачатках, например последовательность-ggí дает [gʲi]. Ясно, что это развитие в фарёрском и исландском не может быть объяснено никаким кельтским субстратом (хотя в Исландии в период поселения скандинавов, как утверждают, и найдены следы нескольких ирландских якорных стоянок).

При попытке применить теорию субстрата возникает и целый ряд общих трудностей. Например, у нас нет никакой реальной возможности определить, какая именно этнолингвистическая группа действительно ответственна за рассматриваемые здесь изменения и тенденции. Но даже если бы нам это удалось, то у нас нет никаких сведений о речевых навыках соответствующего народа, кроме того, отсутствуют средства приписать определенный удельный вес

¹⁵ Примеры взяты из: W. B. L o c k w o o d, An Introduction to Faroese, Copenhagen, 1955.

¹⁶ Árni B ö ð v a r s s o n, Hljóðfroedi, Reykjavík, 1953, стр. 45—46; Stefán E i n a r s s o n, Icelandic, Baltimore, 1949, стр. 6—7.

суперстрату по отношению к субстрату, чтобы выяснить, подкрепляются или, наоборот, подавляются те или иные тенденции. Несколько больше законных оснований приписать определенные процессы адстрату, поскольку здесь речь идет о наблюдаемых явлениях, о живом контакте языков. Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать взаимодействие соседей-современников или же почти очевидный факт, что поколение, изучающее новый язык, принесет в этот язык много собственных речевых навыков. Что же касается таинственной атавистической силы древних субстратов, то она представляется окутанной слишком густым туманом, чтобы можно было вести научное наблюдение: есть лишь возможность строить всякие, иногда довольно увлекательные, предположения. Более того, даже если поверить в доказательность субстрата, то почему мы должны в случае Британии ограничиться кельтами? Они были, в конце концов, лишь одной из волн завоевателей и поселенцев, причем одной из довольно поздних. Разве их язык, навязанный уже имевшемуся там населению, не мог подвергнуться влиянию языка, который они заменили своим, плюс влияние языков всех предшествующих волн — вплоть до автохтонных насельников острова? Подобным же образом и те северонемецкие диалекты, которые впоследствии образовали англосаксонский, относились к той части Германии, которая когда-то была кельтской. Если теория субстрата справедлива, то речевые навыки англов и саксов должны были бы отражать саксонское влияние еще до того, как они покинули материк. Но и франкский был в большей части распространен на бывшей кельтской территории, и поэтому черты, приписываемые германскому, могут быть результатом старых кельтских тенденций. Так открывается возможность для бесконечных спекуляций, и вся теория становится непроходимым лабиринтом¹⁷.

Когда переход [f] в [h] в испанском начинают объяснять баскским субстратом (с последующей утратой [h])¹⁸, то достаточно указать на то, что параллельное развитие имело место в калабрийских диалектах южной Италии, где не

¹⁷ Ср. благотворный скептицизм Блумфилда («Language», New York, 1933, стр. 386, 469) и де Соссюра («Курс общей лингвистики», М., 1933, стр. 151).

¹⁸ А. Martinet, *Economie des changements phonétiques*, Berne, 1955, стр. 304—305 = стр. 298 и сл. настоящего сборника; W. J. Entwistle, *Aspects of Language*, London, 1953, стр. 60.

могло быть никакого баскского субстрата. Некоторые романисты ¹⁹ к тому же считают, что переход $f > h$ — достаточно поздний процесс в испанском языке. А если первые поколения, овладевавшие латинским языком на территории, которая потом стала Испанией, не совершали этой «ошибки» в произношении, то как мы можем приписывать ее баскскому субстрату? Сторонники теории субстрата, разумеется, скажут, что была передана соответствующая «тенденция». Но каков реальный смысл такого высказывания? Конечно, надо быть благодарным за любую попытку приблизиться к «объясняющей лингвистике», однако теория субстрата до сих пор остается исключительно шатким основанием для какого-либо объяснительного построения.

¹⁹ Ср. R. Menéndez Pidal, *Orígenes del Español*, Madrid, 1926, стр. 219—240.

Проблемы семантики

ДЕЛО О ПАДЕЖЕ

Для ученого-лингвиста далеко не всегда и не везде считалось достойным занятием проводить время в рассуждениях о языковых универсалиях. Пишущему эти строки вспоминается одна лекция, которая была прочитана в Летнем лингвистическом институте несколько лет назад; в ней утверждалось, что единственно действительно надежное обобщение относительно языка, которое лингвисты готовы высказать в настоящее время, состоит в следующем: «...было замечено, что некоторые члены ряда языковых сообществ общаются между собой посредством голосовых шумов». Приятно отметить, что времена изменились, и произошло это отчасти потому, что теперь у нас есть более ясное представление о предмете лингвистической теории, а отчасти потому, что некоторые ученые не боятся выдвигать и защищать идеи, которые могут быть признаны глубоко ошибочными.

Ученые, прилагавшие усилия к тому, чтобы выявить синтаксические категории, общие для всех языков мира, обычно включали в свое рассмотрение следующие три круга вопросов, тесно связанных между собой, но тем не менее все же различающихся: (а) Каковы формальные и субстанциальные универсалии синтаксической структуры? (б) Существует ли универсальная база *, и если существует, то каковы ее свойства? (в) Существуют ли какие-либо универсальные ограничения на то, каким образом глубинно-синтаксические представления предло-

Charles F i l l m o r e, The Case for Case.— In: «Universals in Linguistic Theory», ed. by E. Bach, R. T. Harms, New York и др., 1968.

* Имеется в виду базовый компонент порождающей грамматики, отвечающий за порождение глубинных структур.— *Прим. перев.*

жений находят свое выражение в виде поверхностных структур?

Что касается формальных универсалий, то к ним можно отнести утверждения Хомского о том, что всякая грамматика должна иметь базовый компонент, позволяющий задать глубинную * синтаксическую структуру всех предложений данного языка (и только их) и содержать еще по крайней мере набор трансформационных правил, функцией которых является отображение множества глубинных структур, порождаемых базовым компонентом, в множество таких структур, которые уже более непосредственно сопоставимы с фонетическими описаниями высказываний в данном языке (С h o m s k y, 1965, p. 27—30; русск. перев.: Х о м с к и й, 1972, с. 19—20). Представительным высказыванием на тему о субстанциальных синтаксических универсалиях служит утверждение Лайонза (L y o n s, 1966, p. 211, 223) о том, что во всякой грамматике должны фигурировать такие категории, как Имя, Предикатор и Предложение, а прочие грамматические категории и признаки могут использоваться в разных языках по-разному. Кроме того, Бах (B a c h, 1965) представил аргументы, дающие основания полагать, что существует универсальный набор трансформаций, из которого каждый язык черпает свои трансформации; он показал также, какой вид могут иметь подобные трансформации, например, при описании придаточных определительных предложений.

Споры о том, возможна ли универсальная база (в отличие от попыток установить универсальные ограничения на форму базового компонента), были связаны главным образом с вопросом о том, задается или не задается правилами универсальной базы (если такая существует) линейный порядок элементов предложения. Распространенное мнение состоит в том, что универсальными базовыми правилами задаются лишь нужные синтаксические *отношения*, а приписывание линейного порядка составляющим

* Термин «глубинный» в английском языке (где он и возник) передается либо словом *deep* и обычно употребляется в сочетании *deep structure* 'глубинная структура', представляющим одну из основных категорий теории порождающих грамматик Н. Хомского, либо словом *underlying* (букв. 'лежащий в основе'), которое употребляется более свободным и неспецифическим образом. Это обстоятельство следует иметь в виду при чтении статьи Ч. Филлмора, который, впрочем, в основном следует второму из этих употреблений.— *Прим. ред.*

базовой структуры осуществляется в каждом языке по своим собственным правилам. В пользу универсальных глубинных структур без линейного порядка выступали в своих работах Хэллидей (Halliday, 1966), Теньер (Tespigge, 1959) и другие. Лайонз (Lyon, 1966, p. 227) рекомендует вопрос о соотношении глубинного представления и линейного порядка оставить для эмпирического исследования, а Бах (Bach, 1965) высказывает предположение, что продолжающиеся исследования синтаксических правил в языках мира, возможно, дадут основания для постулирования тех или иных конкретных отношений порядка между элементами в правилах универсальной базы.

Статистические исследования Гринберга (Greenberg, 1963), касающиеся моделей последовательностей элементов предложения в некоторых группах языков, не пролили свет, как мне кажется, на данную проблему. Их следует рассматривать скорее лишь как фактический материал, который в совокупности с достаточным пониманием природы синтаксических процессов в конкретных языках сможет в конечном итоге послужить хорошим доводом в пользу той или иной гипотезы, касающейся либо свойств линейной упорядоченности элементов в правилах базового компонента, либо универсальных ограничений, управляющих на поверхностном уровне линейным упорядочиванием синтаксически организованных объектов.

Данные, которые могут интерпретироваться как один из возможных ответов на наш третий вопрос, обнаруживаются в исследованиях «маркированности» у Гринберга (Greenberg, 1966) и среди так называемых имплицитивных универсалий Якобсона (Jakobson, 1958). Если эти исследования можно понимать так, что в них высказываются эмпирические утверждения об отображении глубинных структур в поверхностные, то можно считать, что в них содержатся универсальные ограничения следующего вида: «Грамматический признак «двойственное число» может использоваться тем или иным образом во всех языках, однако этот признак эксплицитно выражается некоторой морфемой только в тех языках, в которых имеется эксплицитно выраженная морфема, обозначающая множественное число». Другими словами, теорию имплицитивных универсалий не обязательно интерпретировать как набор утверждений о том, каковы возможные глубинные структуры в ес-

тественных языках и как они могут различаться между собой.

Настоящий очерк задуман как попытка исследования формальных и субстанциальных универсалий. Вопрос о линейном порядке оставлен в стороне или, во всяком случае, не получит здесь никакого решения, а вопросы маркированности будут рассматриваться исходя из того предположения, что существуют структуры с такими свойствами, какие описаны ниже.

В этой статье я выступаю в защиту той точки зрения, что грамматическое понятие «падежа» должно найти свое место в базовом компоненте грамматики любого языка. Прежде исследования понятия «падеж» ограничивались рассмотрением всевозможных семантических отношений, которые могут иметь место между именем существительным и остальной частью предложения; считалось, что описывать падежи — это то же самое, что изучать семантические функции именных словоизменительных аффиксов или отношения формальной зависимости между определенными именными аффиксами и лексико-грамматическими свойствами соседних элементов предложения; иногда эта задача сводилась к установлению морфонематических рефлексов, лежащих в основе «синтаксических отношений», которые выбирались независимо от понятия «падежа». Я постараюсь показать, что во всех подобных исследованиях отсутствует правильное понимание истинной сути падежных отношений и что для верного понимания необходима прежде всего такая концепция базовой структуры, при которой падежные отношения являются элементарными понятиями теории², а такие понятия, как «подлежащее» и «прямое дополнение», отсутствуют. Последние признаются оправданными только в поверхностных структурах некоторых (но, вероятно, далеко не всех) языков.

² Терминологические трудности делают невозможным использование «падежа» в качестве по-настоящему элементарного понятия, поскольку форма базовых правил детерминирована моделью НС-структуры. Поэтому то, что я здесь собираюсь утверждать, сводится к следующему: во-первых, должен быть предусмотрен набор падежных значений, пригодный для любого языка со всеми синтаксическими, лексическими и семантическими последствиями, вытекающими из приложения его к каждому конкретному языку, а, во-вторых, всякая попытка ограничить сферу применения понятия «падеж» поверхностной структурой должна быть признана неправомочной.

Для построения доказательства существенно принять два предположения, которые на самом деле обычно и принимаются как само собой разумеющиеся исследователями, придерживающимися правил порождающей грамматики. Первое из них — это предположение *о центральном месте синтаксиса в грамматике*. Было время, когда типичная грамматика содержала длинный и подробный перечень морфологических структур различных классов слов, за которым следовало двух- трехстраничное приложение под названием «Синтаксис»; в нем предлагался пучок приблизительных правил о том, как «использовать» слова, описанные в предыдущих разделах, — как соединять их в предложения.

В тех грамматиках, где синтаксису отводится центральное место, формы слов определяются в соответствии с синтаксическими понятиями, а не каким-либо иным образом. Иначе говоря, современные грамматисты стараются описать «сравнительную конструкцию» в данном языке посредством возможно более общих терминов, а затем дополняют свое описание указанием на те морфонологические последствия, которые влечет за собой выбор того или иного конкретного прилагательного или количественного слова в пределах такой конструкции. Этот подход в общем, конечно, отличен от того, при котором сначала описывается морфология слов типа *taller* ‘выше’ и *more* ‘больше, более’, а затем добавляются случайные наблюдения о поведении этих слов в более сложных конструкциях³.

³ Джон Р. Росс указал в своем выступлении на настоящем симпозиуме [Имеется в виду симпозиум «Универсалии в лингвистической теории», проводившийся в Университете штата Техас в г. Остин 13—15 апреля 1967 г., на котором была доложена и данная статья Ч. Филлмора.— *Прим. перев.*], что некоторые синтаксические процессы, по-видимому, все же зависят от конкретных лексических реализаций таких единиц, как формы сравнительной степени прилагательных (и, следовательно, выбор этих форм должен «предшествовать» таким процессам в грамматике), и именно сравнительные степени прилагательного могут быть повторены в качестве однородных членов лишь в том случае, если все они получили одинаковую поверхностно-синтаксическую реализацию. Можно сказать:

i. She became friendlier and friendlier.

‘Она становилась все дружелюбнее и дружелюбнее.’

ii. She became more and more friendly.

‘Она становилась все более и более дружелюбной.’

но не:

iii. *She became friendlier and more friendly.

‘Она становилась все дружелюбнее и более дружелюбной.’

Второе предположение, которое я хотел бы сформулировать в явном виде,— это *важность скрытых категорий*. Многие из недавних и не таких уж недавних работ убедили нас в том, насколько существенны грамматические признаки, которые даже при отсутствии очевидных «морфемных» реализаций, безусловно, существуют в действительности, проявляясь в сочетаемостных ограничениях и в трансформационных возможностях лингвистических единиц. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что грамматические признаки, обнаруженные в одном языке, выявляются в той или иной форме также и в других языках, если при поиске скрытых категорий обеспечена достаточная тонкость исследований. Между прочим, небезынтересно будет заметить, что понятие «скрытой категории» — понятие, которое позволяет полагать, что в конечном итоге все языки в сущности похожи,— было введено с наибольшей убедительностью в работах Б. Уорфа, человека, чье имя особенно непосредственно связывается с учением о том, что глубоко заложенные структурные различия между языками определяют принципиально несопоставимые отношения к действительности у носителей разных языков (см. *Whorf*, 1965, p. 69 и сл.).

Примером «скрытого» грамматического различия может служить различие между категориями, традиционно именуемыми «*affectum*» и «*effectum*», по-немецки — «*affiziertes Objekt*» (объект, подвергаемый воздействию) и «*effiziertes Objekt*» (создаваемый объект). Это различие, имеющее по некоторым свидетельствам явное выражение в ряде языков, может быть продемонстрировано на примере предложений 1 и 2:

- (1) John ruined the table.
'Джон разломал стол.'
- (2) John built the table.
'Джон сделал стол.'

Можно заметить, что в одном случае предмет понимается как существовавший до начала деятельности Джона, тогда как в другом случае его существование явилось результатом деятельности Джона.

До тех пор пока мы опираемся только на «интроспективные данные», мы можем допустить, что это различие сугубо семантическое, что оно не навязывается нам английской грамматикой. Наша способность дать разные интерпре-

тации отношениям между глаголом и дополнением в этих двух предложениях не имеет связи, как можно было бы полагать, с правильным описанием специфически синтаксических навыков носителя английского языка.

Тем не менее это различие является также и синтаксически значимым. В случае *создаваемого* объекта нельзя задать вопрос к сказуемому с глаголом *do to* 'сделать с', а в случае объекта, *подвергаемого воздействию*, — можно. Так, предложение 1 (но не предложение 2) можно считать ответом на вопрос в предложении 3:

- (3) What did John do to the table?
'Что сделал Джон со столом?'

Кроме того, если предложение 1 может иметь в качестве перифразы предложение 4, то предложение 5 уже не будет перифразой предложения 2:

- (4) What John did to the table was ruin it.
букв. 'Что Джон сделал со столом, так это разломал его.'
(5) What John did to the table was built it.
букв. 'Что Джон сделал со столом, так это сделал его'.

Еще одним примером, где наличествуют оба указанных отношения, служит предложение 6, причем можно заметить, что только в одном из двух его смыслов предложение 6 является перифразой предложения 7.

- (6) John paints nudes.
'Джон рисует обнаженных натурщиц.'
(7) What John does to nudes is paint them.
'Что Джон делает с обнаженными натурщицами, так это рисует их.'

Правда, прямое дополнение в предложении 6 и само по себе неоднозначно*, но различие заключается все же в том, когда существовали объекты, которые рисовал Джон, до того или только после того, как он их нарисовал.

* Этим наблюдением я обязан Полу Посталу.

* Слово *nudes* по-английски значит: 1) 'обнаженные фигуры'; 2) а) 'чулки-паутинка', б) 'чулки телесного цвета'. — *Прим. перев.*

Я собираюсь показать ниже, что есть много семантически существенных синтаксических отношений между именами и синтаксическими структурами, в которые входят эти имена, что эти отношения (аналогично тем, которые были представлены в примерах 1 и 2) являются по большей части скрытыми, но тем не менее эмпирически выявляемыми, что они образуют фиксированный конечный список и что наблюдения над ними будут, вероятно, обладать известной типологической ценностью. Для этих отношений я буду употреблять термин «падежные».

1. ПРЕЖНИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПАДЕЖЕЙ

Редкая книга, предназначенная для студентов в качестве введения в нашу науку, не предлагает своим читателям рассказа о том, как не надо пользоваться конкретными падежными системами в качестве универсальных моделей языковой структуры. Грамматисты, принимавшие падежную систему латинского или греческого языка в качестве основы, пригодной для языкового выражения всякого человеческого опыта, при попытке изучить и описать алеутский или тайский язык, скорее всего, должны были бы, как нам сообщалось, потратить много времени, задавая информантам совсем не те вопросы, какие нужно. Все мы, вероятно, с удовольствием глумились вместе с Есперсеном над его любимым «негодником» Зонненшейном, который, не зная, что предпочесть — латынь или древнеанглийский, — допускал возможность описывать английский глагол *teach* 'учить' либо как управляющий дативом и аккумулятивом, потому что такова была модель управления у древнеанглийского *tæsan*, либо как управляющий двумя аккумулятивами, вроде латинского *doseo* и немецкого *lehren* (Jespersen, 1924, с. 175).

Поиски известной по своему языку падежной системы в чужом языке — это, конечно, не лучший способ исследовать падежи. Но есть — и притом в нескольких разновидностях — также и такие подходы к изучению падежа, к которым действительно можно относиться серьезно. В большинстве традиционных работ изучались в более или менее семантических терминах различные *употребления* падежей. Более современные исследования содержат попытки анализа падежных *систем* конкретных языков со

всеми допущениями, предполагаемыми использованием слова «система». И прежде, и теперь немало работ посвящается выяснению *истории* или *эволюции* падежных значений или падежных морфем. И наконец, исследователи в области порождающей грамматики рассматривали падежные показатели как рефлексy в поверхностной структуре, вводимые специальными правилами и выражающие различные виды глубинных и поверхностных синтаксических отношений.

1.1. Употребления падежей

В стандартных учебниках греческого или латинского языка большая часть их объема обычно посвящена классификации и иллюстрации семантически различных отношений, представляемых конкретными падежными формами. Подзаголовки такой классификации обычно имеют вид «X Y-а», где X — название конкретного падежа, а Y — название определенного «употребления» падежа X. Читатель может припомнить такие термины, как «датель отделения», «датель обладания» и т. п.⁵

Не говоря уже о том, что подобные исследования не исходят из предположения о центральной роли синтаксиса, в них можно отметить следующие основные недостатки: а) как правило, номинатив практически игнорировался; б) критерии классификации, которые следовало бы проводить отчетливо, часто смешивались.

Пренебрежительное отношение к номинативу в работах по употреблению падежей имеет, вероятно, несколько причин; одна из них — этимологическое значение греческого обозначения падежа: *ptôsis* 'отклонение', дающее повод для того, чтобы применять этот термин лишь к косвенным падежам. Однако наиболее важная причина забвения номинатива в этих исследованиях заключена в кажущейся ясности понятия «подлежащее предложения». В 1908 г. Мюллер опубликовал монографию об употреблении номинатива и аккузатива в латинском языке, и в этой монографии он посвятил около 170 страниц аккузативу и несколько меньше о д н о й страницы номинативу, объясняя (M ü l-

⁵ Примером обширного описания такого типа является книга Беннета (см. B e n n e t t, 1914).

1ег, 1908, S. 1), что «оба прямых падежа — номинатив и вокатив — не рассматриваются в спорах о теории падежа. В номинативе стоит подлежащее, о котором нечто сообщается в предложении».

Для Суита роль подлежащего была настолько ясна, что он провозгласил номинатив единственным падежом, в котором может стоять собственно «существительное». Предложение он рассматривал как некоторую предикацию о данном существительном, а всякий элемент предложения, похожий на существительное, но не являющийся подлежащим, — как своего рода производное наречие, образующее часть этой предикации ⁶.

При ближайшем рассмотрении, однако, становится очевидным, что семантические различия в отношениях между подлежащими и глаголами совершенно того же порядка и обнаруживают такое же разнообразие, как и в случае всех остальных падежей. В принципе не видно оснований, по которым бы в традиционных описаниях употреблений падежей должны отсутствовать такие разделы, как «номинатив личного агенса», «номинатив пациенса», «номинатив бенефицианта» и «номинатив заинтересованного лица» (или, возможно, «этический номинатив»), для таких предложений, как 8—12 соответственно:

- (8) He hit the ball.
'Он ударил по мячу.'
- (9) He received a blow.
'Он получил удар.'
- (10) He received a gift.
'Он получил подарок.'
- (11) He loves her.
'Он любит ее.'
- (12) He has black hair.
букв. 'Он имеет черные волосы.'

Смешение критериев при описании употреблений падежей было отмечено де Гроотом (de Groot, 1956) в его работе о латинском генитиве. Употребление падежей можно классифицировать на основе синтаксических критериев, когда, например, различаются генитивы приименные, приаъективные и приглагольные; на основе исторических критериев; таков, например, случай синкретического латин-

⁶ Излагается по тексту Есперсена (Jespersen, 1924, p. 107).

ского аблатива, употребление которого распадается на три класса: отделительный, местный и инструментальный; и на основе семантических критериев, причем в этом случае сильно путаются те значения, которые можно считать связанными именно с данными падежными формами существительных, и значения, зависящие от окружающего контекста.

Критическое рассмотрение де Гроотом традиционной классификации значений латинского генитива представляет особый интерес с точки зрения настоящего исследования, поскольку, пытаясь «упростить» картину, де Гроот отбрасывает как несущественные целый ряд таких явлений, которые специалистами по порождающей грамматике наверняка расценивались бы как синтаксически важные. Например, он утверждает, что в традиционных описаниях различие *референтов* смешивается с различием употреблений падежей. Так, для де Гроота три смысла, традиционно выделяемые для словосочетания *statua Murgonis* ('статуя, принадлежащая Мирону' — *посессивный генитив*; 'статуя, изваянная Миронем' — *генитив субъекта* и 'статуя, изображающая Мирона' — *генитив изображаемого субъекта*), равно как и субъектный и объектный смыслы словосочетания *amor patris* (1) 'любовь отца', 2) 'любовь к отцу', отражают различия в фактах действительности, а не в языковых фактах. Подобные аргументы позволяют свести двенадцать традиционных «употреблений» в одно, которому он дает название «собственно генитив» и про которое утверждает (с. 35), что «собственно генитив обозначает любое отношение «предмет-предмет» и, следовательно, может употребляться для выражения любого такого отношения». В конечном итоге тридцать традиционных «употреблений генитива» сводятся к восьми ⁷, из которых два нельзя не упомянуть из-за их

⁷ По де Грооту (de Groot, 1956, p. 30):

- I. Употребление при существительном:
 - A. Собственно генитив: *eloquentia hominis* ('красноречие человека').
 - B. Генитив качества: *homo magnae eloquentiae* ('человек большого красноречия').
- II. Употребление при заместителе существительного (местоимении или субстантивированном прилагательном):
 - B. Генитив совокупности лиц: *reliqui peditum* ('остальные из пехотинцев').
- III. В соединении со связкой («дополнение связки»):
 - Г. Генитив типа лица: *sapientis est aperte odisse* ('[признак] мудреца — открыто ненавидеть').
- IV. Употребление при глаголе:

уникальности, а третье — «генитив места» — в действительности бывает лишь у ограниченного круга особых географических названий.

Э. Бенвенист (Benveniste, 1962) высказался по поводу анализа де Гроота в одном из выпусков журнала «Lingua», посвященном этому ученому. Он счел возможным еще более упростить предложенную классификацию.

Заметив, что «генитив местонахождения», который ввел в свою классификацию де Гроот, образуется только от некоторых географических имен собственных, а именно, от имен с корнями на -о и на -а, и находится в дополнительном распределении с аблативом, Бенвенист остроумно предложил отнести это к фактам, касающимся географических названий, а не употреблений родительного падежа. Заключение Бенвениста об остальных конструкциях полностью совпадают с точкой зрения теории порождающих грамматик. Он считает, что так называемый собственно генитив в конечном итоге возникает в результате превращения предложения в именную группу. Различие в значении между конструкциями с «генитивом субъекта» и с «генитивом объекта» попросту отражает различие между исходными ситуациями, в которых существительное, получившее затем форму генитива, было сначала субъектом или объектом, а генитив в данном случае представляет своего рода нейтрализацию глубинного различия между номинативом и аккумулятивом⁸.

Д. Генитив цели: *Aegyptum profiscitur cognoscende antiquitatis* ('отправляется в Египет для изучения древностей')

Е. Генитив места: *Romae consules creabantur* ('в Риме избирались консулы').

IVa. Употребление при причастии активного залога:

Ж. Генитив с причастием активного залога: *laboris fugiens* ('уклоняющийся от работы')

V. Генитив восклицания: *mercimoni lepidi* ('приятный товар').

⁸ Следует заметить, однако, что у Бенвениста эта интерпретация генитива через возведение к предложению является скорее диахронической, чем синхронической, поскольку вслед за этим он объясняет, что именно по аналогии с такими базовыми глагольными конструкциями создаются новые типы отношений, выражаемых генитивом. От *ludus pueri* 'игра мальчика' и *risus pueri* 'смех мальчика', где соотношение с *ludit* 'играет' и *ridet* 'смеется' еще достаточно прозрачно, модель была распространена и на такие сочетания, как *somnus pueri* 'сон мальчика', *mos pueri* 'прав мальчика' и, наконец, *liber pueri* 'книга мальчика'. В теории порождающих грамматик в таком случае следовало бы, вероятно, искать синхронные связи с глаголами также и для неглаголь-

Уже из рассмотрения двух упомянутых работ об употреблении латинского генитива становится ясно, что (а) некоторые употребления падежей сугубо нерегулярны и для их объяснения требуется установление идиосинкретических грамматических свойств конкретных лексических единиц и (б) некоторые семантические различия описываются независимо от приписывания значения собственно падежам — либо за счет признания разных значений у «управляющих» слов, либо путем возведения к разным глубинным предложениям, не совпадающим по значению. Предположение о том, что можно выделить определенные отчетливые значения, соотносимые с поверхностными падежами, едва ли получает в этих исследованиях основательную поддержку.

1.2. Падежные системы

Итак, имеются вполне обоснованные возражения против описания падежной системы одного языка с точки зрения поверхностной падежной системы другого языка (например, классической латыни), при котором для некоторого падежного отношения в языке, избранном в качестве точки отсчета, просто ищется соответствующее выражение этого отношения в исследуемом языке. Одна из приемлемых альтернатив состоит, по-видимому, в обратном: в новом языке в рамках системы именного словоизменения выявляются падежные морфемы, каждая из которых затем соотносится с традиционными, или «стандартными», понятиями падежей. Взять хотя бы одно из недавних описаний такого рода — работу Реддена (Redden, 1966), в которой выявляются пять падежных показателей языка валапаи* (четыре суффикса и нуль) и каждый из этих показателей соотносится с названиями, взятыми из традиционных описаний падежей: -č — номинатив, -ø — аккузатив, -k — аллатив/адессив, -l — иллатив/инессив и -m — аблатив/абессив. В каждом из соответствующих разделов автор приводит вдобавок такие сведения об употреблении этих падежных форм, кото-

рых конструкций с генитивами — хотя, быть может, для этого понадобилось бы постулировать некоторые абстрактные единицы, которые никогда не реализуются глаголами. (см. Veneniste, 1962, p. 17).

* *Валапай* — один из языков североамериканских индейцев. — Прим. перев.

рые не выводимы из самих названий. Например, номинатив может встречаться в простом предложении только один раз: в цепочке однородных подлежащих для всех существительных, кроме первого, требуется суффикс *-m*; форму аккумулятива иногда имеют такие употребления существительных, которые в английском никак не были бы сочтены прямыми дополнениями; аллатив/адессив обладает также и партиципальной функцией, а аблатив/абессив объединяет в себе функции аблатива, инструменталиса и комитатива.

Поскольку исследование этого типа направлено на описание поверхностной структуры системы субстантивного словоизменения в языке валапаи, постольку задачей описания является идентификация поверхностных падежных форм, которые отличаются друг от друга в данном языке, и связывание с каждой из них определенных «падежных функций». Следует подчеркнуть, что: (а) в подобном описании нельзя найти непосредственного ответа на вопросы типа «Как выражается в данном языке косвенное дополнение?» (в частности, описание не строится по такому плану, который состоял бы из перечня возможных падежных значений) и (б) сами значения, или функции, падежей не принимаются в данном описании за элементарные понятия (в частности, разные «функции» у «аблатива/абессива» на *-m* не интерпретируются как свидетельство того, что несколько разных падежей попросту оказались омофоничными)⁹.

Таким образом, один из подходов к изучению падежных систем состоит в том, чтобы ограничиться морфологическим описанием существительных, не накладывая никаких ограничений на то, каким образом для падежных морфем устанавливаются их значения или функции. Этот подход отличен от исследований падежных систем, при которых делались попытки найти единое значение для каждого падежа. Примером этого последнего подхода может служить ныне дискредитированный «локалистский» взгляд на падежи в индоевропейских языках, согласно которому датив является «падежом покоя», аккумулятив — «падежом движения-приближения», а генитив — «падежом движения-

⁹ Эти замечания не следует воспринимать как критику работы Редена. В самом деле, при отсутствии универсальной теории падежных отношений для этого подхода нет и теоретически оправданной альтернативы.

удаления»¹⁰. Однако и более современные попытки уловить единые всеобъемлющие «значения» падежей страдали той неопределенностью и нечеткостью, которую естественно ожидать от всякой попытки дать семантическую характеристику поверхностно-синтаксическим явлениям¹¹.

Хорошо известные работы Ельмслева (Hjelmslev, 1935; 1937) и Якобсона (Jakobson, 1936) представляют собой попытки не только обнаружить единое значение каждого из падежей, но и показать, что сами эти значения образуют логически связную систему, вступая между собой в отчетливые оппозиции. Допустимая степень неточности здесь, естественно, увеличивается, поскольку число оппозиций меньше числа описываемых падежей¹².

Трудности, связанные с поисками единого значения для каждого из падежей в некоторой падежной системе, привели к альтернативному взгляду на падежи, согласно которому *всем падежам, кроме одного*, приписывается более или менее конкретное значение, а значение этого остаточного падежа остается открытым. Этот остаточный падеж может либо выражать любое отношение, предопределяемое значениями соседних слов, либо выполнять любую чисто падежеобразную функцию, еще не узурпированную другим падежом. В работе Беннета нам сообщается, что Гедике толковал аккузатив как «падеж, используемый в тех функциях, которые не выполняются никакими другими падежами». Тот факт, что Беннет вслед за Уитни высмеивает эту точку зрения на том основании, что так мог бы быть описан *любой* падеж, заставляет предположить, что замечание Гедике, должно быть, было передано не вполне точно¹³.

¹⁰ Эта интерпретация, вкратце рассматривавшаяся у Есперсена (Jespersen, 1924, p. 186), восходит, по-видимому, к византийскому грамматисту Максиму Плануду (Maxime Planude).

¹¹ Иллюстрацией к последнему замечанию может служить, например, заявление Гонды (Gonda, 1962, p. 147) о том, что ведический датив требуется во всех тех случаях, когда имя существительное употреблено для обозначения «видимого объекта». Бессодержательность этого утверждения видна хотя бы из того, как автор интерпретирует фразу

vātāya kapilā vidyut (Patanjali).

‘Красноватая молния предвещает ветер.’

— в ней говорится, что ‘у молнии, так сказать, *ветер на виду*.’

¹² В этой связи см. краткую критическую заметку Квиперса (Kipars, 1962, p. 231).

¹³ См. Bennett, 1914, p. 195, fn. 1. Ознакомиться непосредственно с работой Гедике мне до сих пор не удалось.

Иной подход принят в работе Дайвера (Diver, 1964), который приписывает «остаточную функцию» не какому-либо конкретному падежу как таковому, а всякому падежу или падежам, которые не обязательны для реализованной в данном предложении так называемой «агентной системы». В кратком изложении и без учета особой трактовки пассивных предложений анализ Дайвера выглядит следующим образом: у глагола может быть одно, два или три связанных с ним имени существительных (или именных группы), соотносимых в общем случае с типами предложения, содержащими соответственно непереходный глагол, нормальный переходный глагол или переходный глагол с косвенным дополнением. В предложении с тремя именами последние стоят в номинативе, аккузативе и дативе, причем номинатив — это падеж агенса, а аккузатив — падеж пациенса; датив же как «остаточный» падеж может выражать любое значение, совместимое со значением остальной части предложения. Другими словами, функция датива в предложении с тремя именами «выводится» из контекста; она не существует как заранее заданная среди множества возможных «значений» датива¹⁴. В предложении с двумя именами одно из них стоит в номинативе, а другое — в дативе или в аккузативе, причем чаще употребляется аккузатив. Номинатив здесь — падеж агенса, но на этот раз уже аккузатив (или датив соответственно) является остаточным падежом. Другими словами, в предложении с двумя именами аккузатив не ограничен в своем значении функцией пациенса; он может выражать также и любое количество других значений. А поскольку он здесь уже не противостоит дативу, постольку он может и заменяться на датив. Выбор между дативом и аккузативом в предложении с двумя именами, не являясь семантически релевантным, подчиняется случайным правилам, иногда допускающим свободу выбора, а иногда накладывающим те или иные условия.

¹⁴ Ниже я цитирую Дайвера (Diver, 1965, p. 181).

«В предложении *Senatus imperium mihi dedit*. 'Сенат дал мне верховную власть.' номинатив с синтаксическим значением агенса обозначает дающего, аккузатив с синтаксическим значением пациенса обозначает даваемое. Возникает вопрос: указывает ли датив сам по себе на получателя или же просто на то, что соответствующее слово не является ни даваемым, ни дающим?»

Дайвер выбирает вторую возможность. А именно, он утверждает, что, «зная, что *mihi* в дативе не может быть ни Агенсом (дающим), ни Пациенсом (даваемым), мы выводим, что это получатель».

Продолжая это рассуждение, можно сказать, что имя в предложении с одним именем может выражать любое семантическое отношение с глаголом. Такое имя, чаще всего употребляемое в номинативе, может стоять также и в аккумулятиве или в дативе, однако выбор одного из этих падежей не определяется обычно приписываемыми им значениями. Если имя стоит в номинативе, оно может иметь «синтаксическое значение» или агенса, или пациенса, или чего-нибудь еще.

Неадекватность описания Дайвера очевидна. Прежде всего, представляется невероятным, чтобы понятия агенса и пациенса, употребляемые так, как они употребляются в его статье, хоть в каком-нибудь смысле удовлетворяли элементарным семантическим понятиям. Принять, что в предложении *Senatus imperium mihi dedit* слово *imperium* является пациенсом — это все равно что согласиться употреблять слово «пациенс» всякий раз, когда форма аккумулятива встречается в предложении с тремя именами. Во многих примерах Дайвера вся его аргументация стала бы несколько более убедительной, если бы он утверждал, что неизменная семантическая функция выполняется дативом, а от таких явлений, как лексическое значение глагола, зависит роль аккумулятива. Кроме того, не следовало бы отмахиваться как от несущественных исключений от «пары дюжин глаголов», которые выступают в предложениях с двумя именами и обнаруживают при этом некую семантическую корреляцию, характеризующуюся, в частности, видимо, ничем не обусловленным выбором между дативом и аккумулятивом.

То, что предлагает Дайвер, можно осмыслить как попытку определить, какой элемент значения добавляет падежи, рассматриваемые как синтагматически обусловленные сущности, в то время как постулирование дифференциальных оппозиций вроде тех, которые предлагались Ельмслевом и Якобсоном, — это попытка взглянуть на функционирование падежей с точки зрения понятия парадигматического контраста. Эта последняя точка зрения в свое время стала объектом критики Куриловича (K u r i l o w i c z, 1960, p. 134, 141). Наблюдаемое в польском и в русском языках смысловое противопоставление между аккумулятивным и генитивным (партитивным) прямым дополнением, как, например, в предложениях 13 и 14:

(13) *Дай нам хлеб.*

(14) *Дай нам хлеба,*

не является различием в синтаксической функции именного дополнения по отношению к глаголу, а скорее является различием, попадающим в ту сферу синтаксиса, которая в языках с артиклем имеет дело с влиянием выбора артикля на семантическое содержание существительного, к которому этот артикль относится. Тот факт, что в русском языке это различие отражается как различие в словоизменении существительного, сам по себе еще никоим образом не определяет его места в собственно падежной системе этого языка.

Вертикальный контраст между существительными в предложном и в винительном падеже после локативных/направительных предлогов, как в примерах 15 и 16:

(15) *Он прыгает на столе.*

(16) *Он прыгает на стол,*

— это различие, которое в терминах трансформационной грамматики было бы описано как противопоставление между теми предложными группами, которые включены, и теми, которые не включены в состав группы сказуемого. Так, предложная группа, не входящая в составляющую VP, указывает место, где происходит действие, описываемое посредством VP. Локативная предложная группа, входящая в составляющую VP, является дополнением к глаголу. Внутри VP различие между локативным и направительным значениями целиком обусловлено глаголом; за пределами VP всегда имеет место только локативное значение.

По сути дела, Курилович описывает предложения 15 и 16 в тех же самых терминах. Направительное словосочетание *на стол* представляется ему «более центральным» по отношению к глаголу, чем локативное словосочетание *на столе*. Противопоставление возникает, по-видимому, только в том случае, если один и тот же глагол может выступать иногда с локативным (или направительным) дополнением, а иногда без него. Таким образом, в парах типа 13—14 или 15—16 настоящего парадигматического контраста на самом деле нет.

Собственный подход Куриловича к исследованию падежных систем вводит в рассмотрение грамматический факт другого порядка: соотносимость предложений между собой. С точки зрения Куриловича, падежи образуют сеть отношений, опосредствованным выражением которой оказы-

ваются такие грамматические явления, как пассивная трансформация. В частности, противопоставление между номинативом и аккузативом является отражением в падежной системе более глубинного противопоставления между активными и пассивными предложениями. В терминах Куриловича, *hostis occiditur* 'враг убивается' превращается в предикат *hostem occidit* 'убивает врага', и при этом первичная замена пассива *occiditur* 'убивается' на актив *occidit* 'убивает' обуславливает сопутствующую замену номинатива *hostis* на аккузатив *hostem*.

Номинализации предложений имеют своим следствием то, что и аккузатив и номинатив оба оказываются соотносенными с генитивом, потому что при переводе в генитив эти два падежа нейтрализуются, как показывает замена *plebs secedit* 'народ откальвается' на *secessio plebis* 'откол народа' (*genitivus subjectivus*), в отличие от замены *hostem occidere* 'убивать врага' на *occisio hostis* 'убийство врага' (*genitivus objectivus*).

Таким образом, отношение между номинативом и аккузативом оказывается рефлексом диатезы; а отношение этих двух падежей к генитиву опосредуется в процессе построения отглагольных существительных. Остальные падежи — датив, аблатив, инструменталис и локатив — включаются в общую сеть отношений на основании того, что наряду с их вторичной функцией в виде разного рода обстоятельств они могут выступать каждый в качестве варианта аккузатива при определенных глаголах. Здесь имеется в виду, что существуют глаголы (например, *utro* 'пользоваться'), которые для выражения своего «прямого дополнения» могут «управлять» аблативом вместо аккузатива¹⁵.

1.3. История падежей

Помимо исследований разных падежных употреблений и интерпретаций падежей того или иного языка в качестве элементов единой системы, в литературе встречается немало исторических исследований падежей, содержащих раз-

¹⁵ Kuryłowicz, 1960, p. 138—139, 144—147, 150. См. также Kuryłowicz, 1964, p. 179—181. Отчасти похожие интерпретации связей между падежами и диатезами можно найти в Heger, 1966.

личные их истолкования. Если одни исследователи пытались открыть первоначальные значения падежей некоторого отдельного языка или целой языковой семьи, то других занимала история развития падежных морфем из морфем других типов — либо синтаксических служебных слов, либо тех или иных словообразовательных морфем. Есть еще и третий тип исследователей, которые видели в истории некоторой падежной системы падежную систему иного типа, выдвигая или не выдвигая при этом предположения о том, что более ранний тип «по своей сути» является и «более примитивным».

Довольно распространенной гипотезой среди лингвистов, занимающихся историей языка, было возведение падежных аффиксов к непадежным единицам. Форма, которая в конечном счете стала индоевропейским падежным окончанием номинатива единственного числа мужского рода, а именно *-s, интерпретировалась как указательное местоимение *so, которое превратилось в суффикс, обозначающий подлежащее со значением определенности; а это *so в свою очередь происходит, как полагали некоторые ученые, из прото-индо-хеттского элемента, связующего предложения (L a p e, 1951). Та же самая форма интерпретировалась и иначе — как словообразовательная морфема, обозначающая конкретного индивидуума, непосредственно вовлеченного в некоторую деятельность, — в противоположность другому словообразовательному аффиксу *-m, обозначающему неактивный предмет или продукт некоторого действия¹⁶. Эта последняя точка зрения может казаться более состоятельной тем ученым, которые не считают для себя необходимым придерживаться того взгляда, что «синтетические» языки в прошлом наверняка прошли через «аналитические» стадии¹⁷.

¹⁶ См. например, соответствующее утверждение в L e h m a n n, 1958, p. 190.

¹⁷ Иногда автор создает впечатление, что установление этимологического источника некоторого падежного аффикса дает нам одновременно и характеристику той интеллектуальной эволюции, которая имела место у носителей данного конкретного языка. Если указанная выше интерпретация аффиксов *-m и *-s как словообразовательных морфем верна, то из этого еще не следует, что тем самым открыт какой бы то ни было процесс «абстрагирования» или тенденция перехода от более «конкретного» к более «относительному» образу мышления, символизируемая переходом от первоначальных функций этих элементов к позднему использованию их в качестве показателей падежей.

Второй тип рассуждений на тему об исторических изменениях внутри падежных систем исторически возводит падежную систему одного типа к падежной системе другого типа. Особый интерес представляет здесь предположение о том, что падежные системы индоевропейских языков восходят к исходной «эргативной» системе. Типология падежей будет обсуждаться немного подробнее ниже, но, коротко характеризуя здесь «эргативную» систему, мы можем сказать, что в этой системе один падеж (эргатив) приписывается подлежащему переходного глагола, а другой — и подлежащему непереходного глагола, и дополнению переходного глагола. С другой стороны, «аккузативная» система — это такая система, в которой один падеж приписывается подлежащему или переходного или непереходного глагола, а другой падеж (аккузатив) приписывается дополнению переходного глагола. Типичным свойством эргативных систем является то, что форма «генитива» совпадает с формой эргатива (или, иначе говоря, что эргативный падеж может иметь «генитивную» функцию).

Связь индоевропейского *-s с одушевленностью (подлежащее у переходного глагола обычно бывает одушевленным), первоначальное тождество окончания номинатива единственного числа *-s с окончанием генитива, а также тождество окончания среднего рода *-m с формой аккузатива

Конечно, наши методы реконструкции должны бы давать возможность обнаруживать базовую (то есть глубинно-структурную) эволюцию языка, если таковую вообще можно обнаружить, однако не стоит делать предположений относительно глубинных типологических различий, исходя при этом из этимологии поверхностно-структурных морфем. Говоря это, я имею в виду прежде всего то, что у глубинной падежной структуры в праиндоевропейском языке была, вероятно, не менее строгая и целесообразная организация, чем у падежных структур в любом из языков-потомков, и что те изменения, которые в ней произошли, могли целиком и полностью относиться лишь к более частным сторонам морфонологии. Предпочтительность употребления в позиции подлежащего (производных) имен со значением активного деятеля могла привести к тому, что одно поколение носителей языка «переинтерпретировало» соответствующий суффикс как показатель имен со значением лица в роли подлежащего, а последующее поколение «переинтерпретировало» его уже просто как показатель подлежащего употребления определенного множества слов. Такова в самом наивном изложении одна из возможных линий развития. Короче говоря, изменения вполне могли затронуть только систему поверхностного выражения глубинных структурных признаков, которые сами по себе не подверглись вообще никаким изменениям.

мужского рода привели многих исследователей к заключению, что наши предки были носителями языка «эргативного» строя¹⁸. Ниже я попытаюсь обосновать предположение о том, что, если соответствующее изменение действительно имело место, оно было таким изменением, в котором существенную роль играет понятие «подлежащего».

1.4. Падеж в современных исследованиях по порождающим грамматикам

Не подвергавшееся доньше никакому сомнению допущение относительно падежей, принятое в порождающей грамматике, было явным образом сформулировано Лайонзом (Lyon, 1966, p. 218): „падеж» (в тех языках, в которых эта категория существует) в глубинной структуре вообще отсутствует и при этом является не чем иным, как просто словоизменительной «реализацией» определенных синтаксических отношений“. Эти синтаксические отношения могут быть на самом деле такими отношениями, которые определены только в поверхностной структуре, как, например, в тех случаях, когда поверхностное подлежащее предложения (которому предстоит получить, скажем, форму «номинатива») появилось в результате применения пассивной трансформации или когда показатель «генитива» вводится в предложение при трансформации номинализации. Одно из своих немногочисленных замечаний по поводу падежей Хомский высказывает в связи с обсуждением периферийной природы стилистических инверсий; хотя приписывание падежей английским местоимениям, в значительной степени обусловленное их позицией в поверхностной структуре, представляет собой одну из довольно поздних трансформаций, правила стилистической инверсии должны действовать еще позже. Тем самым оказывается возможным объяснить предложения такой формы, как *him I like* ‘его

¹⁸ См., в частности, работу Уленбека (Uhlenbeck, 1901), где окончание *-m трактуется как показатель подлежащего, а *-s — как показатель агенса в пассивных предложениях (интерпретация, типичная для «эргативных» систем), а также статью Вайана (Vaiyan, 1936). Леманн (Lemman, 1958, p. 190) находит эти аргументы неубедительными, отмечая, в частности, что такое «эргативное» окончание не может быть засвидетельствовано во множественном числе или у существительных женского рода на -ā.

я люблю'; сдвиг словоформ *him* в начало предложения должен следовать за приписыванием падежных форм местоимениям (см. *С h o m s k y*, 1965, p. 221 и сл.).

Мне кажется, что обсуждение проблемы падежей могло бы предстать в несколько лучшем свете, если бы на приписывание падежей смотрели бы как на процесс, в точности аналогичный правилам приписывания предлогов в английском языке или послелогов в японском языке¹⁹. Существуют языки, в которых разные падежные формы используются довольно широко, и предположение о том, что падежные формы могут прямо приписываться существительным на основе достаточно просто определяемых синтаксических отношений, представляется основанным в значительной степени на ситуации с английскими местоимениями.

Предлоги в английском языке — или отсутствие предлога перед именной группой, которое можно трактовать как соответствующее нулевому или немаркированному падежному аффиксу, — выбираются на основе целого ряда структурных признаков, и притом таким образом, что наблюдается прямая аналогия с выбором определенных падежных форм в языках типа латыни: здесь учитывается и то, что данное существительное выступает в роли (поверхностного) подлежащего или прямого дополнения, его способность употребляться после определенных глаголов, способность употребляться с определенными существительными, в определенных конструкциях и т. д. Если почему-либо и затруднительно считать эти два процесса аналогичными, так это только потому, что даже в языках с наиболее замысловатой падежной системой может встречаться одновременно употребление падежной формы и предлога, а также потому, что у некоторых предлогов есть независимое семантическое содержание. Первая из этих трудностей устраняется, если, приняв как данное то, что условия выбора предлогов и условия выбора падежных форм в основном однотипны, мы попросту согласимся считать, что эти определяющие условия могут определять одновременно *и* предлог, *и* падежную форму. Вторая трудность означает просто то, что адекватное описание должно допускать несколько вариантов выбора предлогов в некоторых контекстах, и выбор

¹⁹ Это предположение, конечно же, не ново. Если верить Ельмслеу, первым ученым, показавшим связь между предлогами и падежами, был А.-Ф. Бернарди (в работе: *A.-F. Bernhaldi. Anfangsgrunde der Sprachwissenschaft*. Berlin, 1805); см. *H j e l m s l e v*, 1935, p. 24.

того или иного предлога имеет семантические следствия*. Аналогичные механизмы обнаруживаются и в «истинно» падежных языках — например, при наличии в них альтернативного выбора падежей в одной и той же конструкции или же при наличии предлогов или послелогов с семантическими функциями.

Синтаксические отношения, играющие роль в выборе падежных форм (предлогов, аффиксов и т. п.), бывают, в сущности, двух типов: это, как мы можем их назвать, «чистые», или «конфигурационные», отношения, с одной стороны, и «помеченные», или «опосредствованные», отношения — с другой²⁰. «Чистые» отношения — это отношения между грамматическими составляющими, которые выражаются в терминах (непосредственной) доминанции узлов НС-структуры. Так, понятие «подлежащее» может быть отождествлено с отношением между некоторой NP и непосредственно

* Здесь имеется в виду, что выбор предлога влияет на семантическую интерпретацию предложения, которая осуществляется семантическим компонентом после порождения предложения. — *Прим. перев.*

²⁰ Более точно это различие можно было бы представить при помощи противопоставления «отношений» *vs.* «категорий». Ведь когда НС-правилами вводятся такие символы, как «Образ действия» (Mapper) или «Степень» (Extent) (это символы, которые в НС-структуре доминируют над обстоятельствами образа действия и над словосочетаниями со значением степени признака или качества), то тогда эти символы с точки зрения остальной части грамматики функционируют точно так же, как и «целесообразные» категориальные символы типа S и NP. Этот факт обусловлен не столько «категориальным» характером соответствующих грамматических понятий, сколько общими требованиями модели, предъявляемыми к устройству НС-структуры. В одной из своих предыдущих работ я уже обсуждал невозможность охватить в базовом компоненте грамматики такого типа, какой предложен Хомским в *Chomsky*, 1965, одновременно и ту информацию, что словосочетание *in a clumsy way* 'неуклюже' является обстоятельством образа действия (и как таковое имеет крайне жесткие ограничения на лексическую сочетаемость и весьма специфические свойства в отношении допустимого порядка слов и вообще окружающего контекста, которые оно разделяет с другими обстоятельствами образа действия), и ту, что оно является предложной группой (см. *Filloge*, 1966a).

Когда некоторые лингвисты и вводили в свои НС-правила такие термины, как «Локализация» (Loc), «Время» (Temp), «Степень» (Extent) и т. п., они делали это, чтобы представлять посредством этих терминов отношения между составляющими, над которыми эти термины доминируют в НС-структуре, и некоторыми другими элементами предложения (а именно, всей группой VP в целом); насколько я могу судить, никто никогда и не хотел, чтобы эти термины считались представляющими различные типы «категориальных» грамматических единиц того же порядка, что и NP или предложная группа.

доминирующим над ней символом S, а понятие «прямое дополнение» может быть приравнено к отношению, которое имеет место между NP и непосредственно доминирующим над ней символом VP. Если отношение «подлежащее данного предложения» понимается как отношение между элементами глубинной структуры, то тогда говорят о глубинном подлежащем; если же оно понимается как отношение между элементами поверхностной структуры (на уровне, предшествующем стилистическим трансформациям), то говорят о поверхностном подлежащем. Похоже, что это различие соответствует традиционному различию между «логическим подлежащим» и «грамматическим подлежащим».

Под «помеченным» отношением я подразумеваю такое отношение именной группы к предложению или к VP, которое указывается при посредстве псевдокатегориальной пометы типа «Образ действия», «Степень», «Локализация», «Агентив».

Ясно, что если все трансформации, в результате которых создается поверхностное подлежащее, приводят к тому, что некоторая NP присоединяется прямо к некоторому S при условии, что никакая другая NP не подсоединена прямо к тому же самому S, и если всегда оказывается, что в поверхностной структуре до применения стилистических трансформаций к VP присоединяется только одна NP, то тогда эти два «чистых» отношения являются именно теми отношениями, которые определяют наиболее типичное употребление падежных категорий «номинатив» и «аккузатив» в языках соответствующего типа. Употребление остальных падежных форм определяется либо на основе идиосинкретических свойств конкретных управляющих слов, либо на основе «помеченного» отношения, как, например, в том случае, когда выбор предлога *by* в словосочетании со значением степени в предложении типа 17 обусловлен наличием в HS-структуре доминирующей над этим словосочетанием пометы «Степень».

(17) He missed the target by two miles.

‘Он не попал в цель, ошибившись на две мили’.

В своей более ранней работе (F i l l m o r e, 1966) я указывал, что с понятием «подлежащее» не ассоциируется никакая постоянная семантическая величина (если только не окажется возможным придать смысл выражению «то, о чем говорится [в предложении]», а затем, если это удастся, ре-

шить, имеет ли такое понятие какую-нибудь связь с отношением «подлежащее [данного предложения]»), а также что в отношении «поверхностное подлежащее [данного предложения]» не заключено никакого такого семантически значимого отношения, которое не было бы на каком-либо шаге вывода выражено также и с помощью «помеченного отношения». Вывод, который я из этого сделал, состоит в том, что семантически значимые синтаксические отношения между именными группами и структурами, в которые они входят, должны относиться к «помеченному» типу. Следствием из этого заключения является: (а) устранение как таковой составляющей типа VP и (б) добавление к некоторым грамматикам правила или системы правил для образования подлежащего. Иначе говоря, отношение «подлежащее [данного предложения]» рассматривается как сугубо поверхностно-синтаксическое явление.

2. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Выше я высказал предположение, что существуют достаточные основания подвергнуть сомнению целесообразность традиционного деления предложения на подлежащее и сказуемое в глубинной структуре — того деления, которое, по мнению некоторых ученых, лежит в основе глубинной, базовой формы всех предложений во всех языках. Принимаемая мной точка зрения, видимо, согласуется с точкой зрения Теньера (T e s p i è g e, 1959, p. 103—105), который считал, что деление на подлежащее (субъект) и сказуемое (предикат) внесено в лингвистическую теорию из формальной логики, что оно является понятием, которое не опирается на языковые факты и, более того, фактически затемняет многие структурные параллели между «подлежащими» и «дополнениями». Те наблюдения, которые были сделаны некоторыми учеными относительно поверхностных различий между «предикативными» и «детерминативными» синтагмами²¹ могут быть приняты к сведению, даже если никоим образом не считать, что деление на подлежащее и сказуемое играет какую-нибудь роль в синтаксических отношениях между составляющими в *глубинной структуре* предложения.

²¹ См., например, работу V a z e l l, 1979, в особенности с. 8, где это различие выражается в таких терминах, как «степени связности», «признаки связи», выделяемые внутри сказуемого, но не между подлежащим и сказуемым.

Как только мы станем интерпретировать «подлежащее» в качестве некоторого аспекта поверхностной структуры, больше уже не будет возникать особых волнений по поводу «бесподлежащих» предложений в тех языках, где некоторые предложения все же имеют поверхностное подлежащее, или по поводу тех языков, где вообще отсутствуют сущности, соотносимые с тем, что называется «подлежащим» в нашей грамматической традиции. Есть и хорошие, и плохие основания для утверждений о том, что определенные языки или определенные предложения «лишены» подлежащих; может быть, нужно пояснить, что, собственно, я имею в виду, утверждая это. Следует проводить различие между *отсутствием* составляющей, которую разумно назвать подлежащим с одной стороны, и *утратой* такой составляющей в результате анафорического эллипсиса, с другой стороны ²².

В своей рецензии на книгу Теньера (T e s n i è r e, 1959) Робинс (R o b i n s, 1961) обвиняет Теньера в том, что в его описании подлежащее не изолировано от остальной части предложения. По мнению Робинса, решение Теньера о допустимости трактовки подлежащего просто в качестве одного из дополнений глагола должно быть связано с тем фактом, что в языках типа латыни подлежащее может быть опущено. Если верно, что именно возможность *опустить*

²² Особенно близко к тому, чтобы проводить это различие, подошли сторонники тагменной теории благодаря тому, что в их системе записи есть особое обозначение для «необязательных» составляющих. «Тагменную формулу» можно представлять себе как попытку задать единым выражением квазипорождающее правило для вывода множества родственных по своей структуре предложений и поверхностных структур этих предложений (без указаний о свободном выборе в них порядка слов). Если формулы для предложений с переходным и непереходным глаголом записать как i и ii соответственно:

- i. ±Подл + Сказ ± Доп ± Место ± Время
- ii. ±Подл + Сказ ± Место ± Время,

то станет ясным, что всякое предложение, в котором есть только Сказуемое, удовлетворяет любой из этих формул и что (б) потенциальная возможность появления в предложении таких составляющих, как Место или Время, менее существенна для описания этих типов предложений, чем та же возможность для составляющей Дополнение. Пайк проводит различие между «диагностическим» и «недиагностическим» элементами предложения, и это различие пролегает «поперек» различия «обязательное» / «необязательное»; см., например, P i k e, 1966, особенно гл. 1. Простые предложения. С другой стороны, Граймз хотел бы, чтобы «диагностические» составляющие вводились в качестве обязательных, но при некоторых контекстуальных или анафорических условиях допускался бы их эллипсис. См. G r i m e s, 1964, p. 16 и сл.

подлежащее убедила Теньера в том, что подлежащее подчинено глаголу, и если, с другой стороны, невозможность *опустить* подлежащее привела бы Теньера к убеждению, что во всех языках у подлежащего в противоположность сказуемому действительно имеется особый статус в глубинной структуре, то для адекватного описания такой аргумент, по моему мнению, недостаточен.

Лучше всего было бы считать, что в лингвистической теории учитываются разные анафорические процессы — процессы, которые приводят к укорочению, упрощению или снятию ударения в предложениях, частично тождественных с соседними предложениями (или частично «подразумеваемых»). Случилось так, что в английском языке в анафорических явлениях используется прономинализация, редукция ударения, а также эллипсис — при тех же контекстных условиях, при которых другие языки могут с успехом обходиться исключительно эллипсисом²³. При некоторых условиях в языках последнего типа элемент, подвергавшийся эллипсису, может оказаться «подлежащим». Таким образом, тот факт, что в некоторых предложениях некоторых языков нет подлежащего, сам по себе еще *не* является убедительным аргументом против универсальности выделения подлежащего и сказуемого. Но есть аргументы и получше. Некоторые из них уже приводились, а к изложению других я скоро перейду.

Благодаря тому что различаются поверхностные и глубинные падежные отношения, что «подлежащее» и «прямое дополнение» интерпретируются как аспекты поверхностной структуры и что конкретный фонетический облик существительных в реальных высказываниях определяется многими факторами, крайне изменчивыми во времени и в пространстве, у нас нет больше оснований удивляться несравнимости (поверхностных) падежных систем. Мы находим, что можно было бы отчасти согласиться с Беннетом, когда, сделав обзор нескольких представительных падежных теорий XIX в., он утверждал (Ben nett, 1914, p. 3), что их авторы ошибались, придерживаясь «сомнительного допущения.., что все падежи должны относиться к некоторой единой схеме, как будто это части какого-то целостного образования». Разумеется, нам не обязательно вслед за ним

²³ Чрезвычайно информативное описание этих явлений в английском см. в работах: Gleitman, 1965 и Harris, 1957, особ. разд. 16.

делать вывод, что единственно достойным типом исследования падежей является выявление древнейшего значения каждого падежа.

Гринбергом было отмечено, что сравнивать сами по себе падежи в разных языках нельзя: две падежных системы могут иметь разное число падежей; за одинаковыми названиями могут скрываться функциональные различия; однако можно ожидать, что окажутся сравнимыми *употребления падежей*. В частности, он предсказывал, что употребления падежей должны быть «существенно похожи по частоте, но они по-разному распределены в разных языках» (G r e e n b e r g, 1966, p. 98; см. также с. 80). Рекомендации Гринберга о типологическом изучении падежных употреблений были высказаны в связи с языками, имеющими «настоящие» падежи, однако кажется очевидным, что если «датель личного агенса» в одном языке можно отождествить с «аблативом личного агенса» в другом языке, то на тех же основаниях нужно признавать наличие отношения «личный агенс» между именем и глаголом и в так называемых беспадежных языках. Более того, если окажется, что с тем, что в предложении есть отношение «личный агенс», могут быть связаны еще какие-то грамматические факты, то станет ясно, что понятия, лежащие в основе описания падежных употреблений, могут иметь гораздо большую лингвистическую значимость, чем те понятия, с помощью которых описываются поверхностные падежные системы. В число таких дополнительных фактов может входить установление ограниченного множества имен и ограниченного множества глаголов, способных вступать в эти отношения, и любые дополнительные обобщения, которые можно будет сформулировать в терминах таких классификаций. Могут быть вскрыты также зависимости более высоких уровней, такие, как ограничение круга предложений с бенефактивными словосочетаниями предложений, содержащих в глубинной структуре отношение «личный агенс».

Теперь, естественно, возникает вопрос: оправданно ли употребление термина *падеж* для рассматриваемых синтактико-семантических отношений, имеющих довольно мало общего с обычными падежами. У многих ученых имеется твердое убеждение, что этот термин следует употреблять только в том случае, когда в словоизменении существительных обнаруживаются соответствующие падежные морфемы. По мнению Есперсена, даже в тех случаях, когда у пред-

ложных групп нет «местного» значения, ошибочно было бы говорить о них, как об «аналитических» падежах (Jespersen, 1924, p. 186; русск. перев. Есперсен, 1958, с. 214). Такая позиция Есперсена в этом вопросе отчасти объясняется тем, что он полагал, будто бы отсутствие падежей в английском языке представляет собой некое прогрессивное явление, за которое носители английского языка должны быть благодарны своему языку²⁴.

Кэссиди, призывая в 1937 г. спасти слово *падеж* от неправильного употребления, писал (Cassidy, 1937, p. 244): «Термин «падеж» будет употребляться правильно и сохранит хоть какое-нибудь значение, если только будет признана его связь со словоизменением и если будут оставлены попытки расширить его значение таким образом, чтобы в него включались и другие виды «формальных» различий». В том же духе Леман (Lemmon, 1958) упрекает Хирта за ту высказанную им точку зрения, что осознание падежей должно было предшествовать развитию падежных окончаний, что, иначе говоря, «у носителей до-индоевропейского и протоевропейского языков была предрасположенность к падежам» (с. 185). Далее Леман пишет (с. 185): «Такие утверждения Хирта мы можем объяснить исходя из того предположения, что падеж для него является понятийной категорией независимо от того, воплощен он в какую-либо форму или нет. Для нас конкретного падежа просто не существует, если он не представлен формами, контрастирующими в некоторой системе с другими формами». Утверждение о том, что синтаксические отношения различных типов должны были существовать еще до того, как в язык могли быть введены падежные окончания для их выра-

²⁴ Jespersen, 1924, p. 179:

«Сколько бы мы ни продвигались в глубь истории, мы нигде не нашли бы падежа с одной, ясно очерченной функцией: в каждом языке каждый падеж служит различным целям, и границы между ними не являются отчетливыми. Именно это в сочетании с характерными для падежей нерегулярностью и непоследовательностью при образовании форм объясняет многочисленные случаи слияния падежей, известные в истории языков («синкретизм»), а также хаотические правила, свойственные отдельным языкам, — правила в значительной степени трудно объяснимые. Если английский язык упростил эти правила больше, чем другие языки, мы должны испытывать к нему искреннюю благодарность и ни в коем случае не пытаться навязать ему беспорядок и запутанность далекого прошлого. [Курсив мой. — Ч. Ф.]

жения, само по себе наверняка не вызвало бы возражений; неприязнь возникла, очевидно, из-за употребления слова *падеж*.

Мне кажется, что если внутри предложения имеются легко опознаваемые отношения тех типов, которые обсуждались в исследованиях падежных систем (независимо от того, отражаются ли они в падежных аффиксах или нет), если можно показать, что эти отношения сравнимы по языкам, и если предположения относительно универсальности этих отношений могут быть использованы при формулировке тех или иных прогнозов или объяснений, то тогда, несомненно, не может быть выдвинуто никаких разумных возражений против употребления слова *падеж* (с отчетливым пониманием придаваемого ему глубинного смысла) для обозначения этих отношений. Споры о термине *падеж* теряют свою остроту в рамках тех лингвистических исследований, в которых синтаксису отводится центральное место ²⁵.

Итак, для наших целей мы можем согласиться с Ельмслевом, который указывал, что изучение падежей может развиваться наиболее плодотворно, если отказаться от предположения, что существенной характеристикой грамматической категории падежа является *выражение его в форме аффиксов при существительных*. Далее я буду придерживаться словоупотребления, впервые введенного, насколько мне известно, Блейком (Blake, 1930). В соответствии с этим словоупотреблением под термином *падеж* понимается

²⁵ Универсальность падежа как грамматической категории утверждается в Нjеlmslеv, 1935, р. 1. В недавней работе, написанной с позиций Якобсона, Вельтен (Veltеn, 1962) достаточно убедительно показывает историческую непрерывность перехода между «синтетическими» и «аналитическими» падежами, чтобы заявить, что лингвисты не имеют права разносить падежи и предлоги по разным «главам» грамматического исследования. Понятие глубинных падежей можно представить себе как расширение синхронного понятия «синкретизма». Обычное синхронное понимание синкретизма падежей состоит, как правило, в том, что разрешается усматривать падежное противопоставление, хотя бы и не выраженное явно в большинстве контекстов, если оно все-таки проявляется в какой-нибудь «одной части системы» (см. Nеwтагk, 1962, р. 313). Падежи глубинной структуры могут нигде не отражаться явно в виде аффиксов или служебных слов. Возможно, то понятие, которое нам нужно, соответствует *падежным отношениям* (Kasusbeziehungen) у Мейнгофа (см. Mеiнhоf, 1938, S. 71). Ссылка на эту работу, с которой мне не довелось ознакомиться, дается у Фрея (Fгeі, 1954, сноска на с. 31).

глубинное синтактико-семантическое отношение, а под термином *падежная форма* — выражение падежного отношения в конкретном языке, безразлично, используется ли для этого аффиксация, супплетивность, добавление энклитических или проклитических частиц или ограничения на порядок слов.

3. ПАДЕЖНАЯ ГРАММАТИКА

Существенное видоизменение теории трансформационных грамматик, которое я собираюсь предложить, состоит не более и не менее как во введении уже упоминавшейся интерпретации падежных систем с помощью «концептуальных рамок», однако на этот раз такая интерпретация вводится при ясном понимании различия между глубинной и поверхностной структурами. Предложение в своей глубинной основе трактуется как состоящее из глагола и одной или более именных групп, каждая из которых связана с глаголом определенным падежным отношением. «Объяснительная» ценность подобного подхода состоит в таком обязательном требовании, в соответствии с которым для каждого отдельного падежа допустимо его воплощение в виде сложной сущности (однородной именной группы), но всякое падежное отношение встречается в простом предложении только один раз.²⁶

Важно понимать, что объяснительная ценность универсальной системы глубинных падежей заключается в их синтаксической, а не в (просто) морфологической природе. Разнообразные наборы отличных друг от друга падежей, допустимые в простом предложении, выражают понятие «тип предложения», которое, вероятно, может считаться имеющим универсальную значимость независимо от таких

²⁶ Из этого следует, что, когда некоторая падежная форма появляется в поверхностной структуре одного и того же предложения более чем один раз (в разных именных группах), то либо здесь налицо более чем один глубинный падеж, либо данное предложение является сложным. Если, например, нем. *lehren* 'учить, преподавать' описывается как глагол, «управляющий двумя аккузативами», мы имеем все основания полагать, что в глубинной структуре соответствующие два дополнения различаются своими падежами. Достаточно часто в языке можно найти подтверждения подобному различию, например в виде наличия пассивных предложений типа *Das wurde mir gelehrt* 'Это мне преподавалось.'

поверхностных различий, как выбор подлежащего. Наборы падежей, определяющие типы предложений некоторого языка, обуславливают само собой разумеющуюся классификацию глаголов этого языка (в соответствии с теми типами предложений, в которых может быть употреблен каждый глагол), и может оказаться вполне вероятным, что многие аспекты такой классификации тоже будут иметь универсальную значимость.

Падежные элементы, факультативно связанные с конкретными глаголами, в совокупности с правилами формирования подлежащего должны служить для объяснения разнообразных ограничений на совместную встречаемость слов в предложениях. Например, в предложении 18 подлежащее находится в агентивном отношении к глаголу; в предложении 19 подлежащее выступает как Инструмент; а в предложении 20 наличествуют и Агенс, и Инструмент, однако только Агенс, а не Инструмент оказывается подлежащим.

(18) John broke the window.

‘Джон разбил витрину (окно).’

(19) A hammer broke the window.

‘Молоток разбил витрину (окно).’

(20) John broke the window with a hammer.

‘Джон разбил витрину молотком.’

В силу того что подлежащие предложений 18 и 19 грамматически различны, невозможно получить предложение, выражающее объединенный смысл этих двух предложений, путем соединения их подлежащих в одну однородную группу. Так, предложение 21 неприемлемо:

(21) *John and a hammer broke the window.

‘Джон и молоток разбили витрину (окно).’

Сочиняться могут только такие именные группы, которые представляют один и тот же падеж. Аналогичным образом то обстоятельство, что лишь один представитель данного падежного отношения может встречаться в одном и том же простом предложении в совокупности с обобщениями, касающимися выбора подлежащего, и с описанием избыточности, наблюдаемой при указании падежей и семантических признаков лексем (например, избыточность между падежом «Агенс» и одушевленностью), — это обстоятельство объясняет неправильность предложения 22:

(22) *A hammer broke the glass with a chisel.

‘Молоток разбил стекло зубилом.’

Оно неправильно, если и *молоток*, и *зубило* интерпретируются как Инструменты. Но оно не может пониматься и как предложение, содержащее Агенс и Инструмент, поскольку существительное *hammer* ‘молоток’ неодушевленное²⁷.

Сформулировав перечисленные выше посылки, можно объяснить следующую зависимость: подлежащее активного предложения с переходным глаголом должно интерпретироваться как одушевленный агенс только в том случае, если в предложении представлена группа предлога *with* с инструментальным значением. У кажущихся исключений из этого правила обнаруживаются другие глубинные структуры. Одним из таких исключений представляется предложение 23; однако, обратив внимание на присутствие в нем слова *its* ‘свой’, легко заметить принципиальное отличие такого предложения от предложений 22 и 24.

(23) The car broke the window with its fender.

‘Машина разбила витрину (окно) своим крылом.’

(24) *The car broke the window with a fender.

‘Машина разбила витрину (окно) крылом.’

В предложении 24 сформулированные выше условия нарушены; в то же время предложение 23 является перифразой предложения 25 и поэтому может интерпретироваться как предложение, имеющее ту же самую глубинную структуру, что и 25.

(25) The car's fender broke the window.

‘Крыло машины разбило витрину (окно).’

Здесь предполагается следующая трактовка: предложения 23 и 25 — это безагенсные предложения, содержащие

²⁷ Автор этих строк сознает, что в предложении 18 говорящий может иметь в виду то, что сделало тело Джона, когда его метнули в окно, а предложение 19 может иметь метафорический смысл, при котором молоток олицетворяется. При любой из этих интерпретаций предложение 21 оказывается приемлемым, а при интерпретации, предполагающей олицетворение молотка, становится приемлемым также и предложение 22. Важно, однако, понимать, что и обе эти интерпретации объяснимы на основе тех же самых посылок, на основе которых строятся объяснение прямых интерпретаций.

в качестве инструмента *обладаемое имя* (the car's fender 'крыло машины'). В этом случае правила выбора подлежащего допускают разные варианты: в качестве подлежащего может выступать либо вся именная группа, обозначающая инструмент (как в примере 25), либо им может стать только сам «обладатель», а остальная часть инструментальной группы должна выступать с предлогом *with* (как в примере 23). При выборе второй возможности требуется, чтобы внутри инструментальной группы был оставлен «след» обладателя в виде соответствующего притяжательного местоимения. Аналогичное объяснение предлагается для таких фраз, как 26 и 27, которые тоже можно интерпретировать как имеющие одинаковую глубинную структуру.

- (26) Your speech impressed us with its brevity.
'Ваша речь поразила нас своей краткостью.'
(27) The brevity of your speech impressed us.
'Краткость вашей речи поразила нас.'

Поверхностный характер понятия «подлежащее предложения» демонстрируется на этих примерах особенно убедительно, поскольку в случае подлежащего-обладателя «подлежащее» даже не является главной составляющей предложения; оно берется из состава определения, входящего в главную составляющую.

Таким образом, в базовой структуре предложений усматривается нечто, что можно назвать «пропозицией», — набор отношений между глаголами и именами (или придаточными предложениями, если таковые имеются), без информации о времени, отделяемый от того, что можно назвать составляющей «модальность». Эта составляющая должна содержать такие модальные характеристики предложения в целом, как отрицание, время, наклонение и вид²⁸. Конкретная природа такой модальной составляющей для наших целей безразлична. Не исключено, однако, что некоторые «падежи» должны быть прямо соотносены с модальной составляющей так же, как некоторые другие «па-

²⁸ По-видимому, есть достаточные основания считать, что отрицание, время и наклонение непосредственно связаны с предложением в целом, а перфектный и длительный «виды» являются признаками глагола. Формулировку такой точки зрения см. в L у o n s, 1966, p. 218, 223.

дежи» соотносятся с собственно пропозицией — таковы, к примеру, некоторые обстоятельства времени ²⁹.

Таким образом, первым глубинным правилом является правило 28 (в сокращенном виде — 28'):

(28) Предложение → Модальность + Пропозиция
(28') $S \rightarrow M + P^{30}$

Составляющая Р «развертывается» в глагол плюс одна или более падежных категорий. Последующее правило обеспечивает автоматическую реализацию всякого падежа в виде категориального символа NP (кроме тех случаев, когда на месте NP должно выступать придаточное предложение S). Тем самым оказывается, что падежные отношения представляются в дереве составляющих посредством доминирующих категориальных символов.

Развертывание пропозиционной составляющей Р можно представлять себе как список формул такого вида, который показан в 28"* , где обязательно должна быть по крайней мере одна падежная категория, и никакая падежная категория не может входить в одну и ту же формулу дважды:

(28") $P \rightarrow V + C_1 + \dots + C_n$

Можно ли свести совокупность этих формул в более короткую запись, пользуясь обычными средствами объединения правил, пока неясно **. Для наших целей достаточно, что Р может быть представлено посредством любой формулы из набора, включающего $V + A$, $V + O + A$, $V + D$, $V +$

²⁹ В своей более ранней работе я предложил считать, что обстоятельства, относящиеся ко всему предложению, в общем случае включаются в модальную составляющую. Теперь я полагаю, что многие из таких обстоятельств вводятся в предложение из главного подчиняющего (посредством трансформаций того типа, который мы могли бы назвать «инфраекциями»). Эта возможность давно была очевидна для обстоятельств типа *unfortunately* 'к несчастью', которые, бесспорно, относятся ко всему предложению, но есть вполне убедительные доводы также в пользу того, чтобы распространить описание с использованием «инфраекций» на обстоятельства типа *willingly* 'охотно', *easily* 'легко', *carefully* 'осторожно'.

³⁰ В настоящей работе везде используется обычная запись правил посредством стрелок, но при этом не следует думать, что в предлагаемом варианте падежной грамматики в правилах подстановки обязательно предусматривается упорядоченность составляющих слева направо.

* В оригинале здесь стоит 29, однако номер 29 еще раз использован автором ниже для примера.— *Прим. перев.*

** Здесь имеются в виду некоторые средства из технического ар-

+ O + I + A и т. д. (Интерпретация буквенных символов указывается ниже.)

Смыслы падежей образуют набор универсальных, возможно врожденных, понятий, идентифицирующих некоторые типы суждений, которые человек способен делать о событиях, происходящих вокруг него, — суждений о вещах такого рода, как 'кто сделал нечто', 'с кем нечто случилось', 'что подверглось некоему изменению'. В число падежей, представляющихся необходимыми, входят:

Агентив (A) — падеж обычно одушевленного инициатора действия идентифицируемого с глаголом³¹.

Инструменталис (I) — падеж неодушевленной силы или предмета, который включен в действие или состояние, называемое глаголом, в качестве его причины³².

Датив (D) — падеж одушевленного существа, которое затрагивается состоянием или действием, называемым глаголом.

сенала порождающих грамматик: фигурные, круглые и квадратные скобки, позволяющие, например, записать пять правил:

1) $X \rightarrow Y + A$; 2) $X \rightarrow Y + Z + A$; 3) $X \rightarrow W + B$; 4) $X \rightarrow W + Z + B$; 5) $X \rightarrow C -$ в одю:

$$X \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \left[\begin{array}{c} Y \\ W \end{array} \right] (Z) \left[\begin{array}{c} A \\ B \end{array} \right] \\ C \end{array} \right\}$$

— *Прим. перев.*

³¹ Спасительная оговорка «обычно» отражает мое понимание того факта, что в некоторых случаях контексты, требующие, по-моему, агенса, заполняются «неодушевленными» существительными типа *robot* 'робот' или существительными, обозначающими «объединения людей» вроде *nation* 'нация'. Поскольку в настоящий момент я не знаю, как следует поступать с такими вещами, я просто предполагаю для всех агенсов, что они являются «одушевленными».

³² Пол Постал напомнил мне о существовании предложений типа (i):

- (i) I gapped him on the head with a snake.
'Я похлопал его по голове змеей.'

Требование «неодушевленности» инструментальной NP является требованием интерпретировать предложение (i) таким образом, как будто в его глубинной структуре есть нечто, эквивалентное выражению *with the body of a snake* 'телом змеи'. Аргументом в поддержку такой позиции может служить существование языков, в которых в данном контексте является обязательным упоминание некоторого корня со значением 'тело', а также отмеченная у Лакоффа неприемлемость предложений типа (ii):

- (ii) *John broke the window with himself.
'Джон разбил витрину собою.'

(См. Lakoff, 1967.)

Фактив (F) — падеж предмета или существа, которое возникает в результате действия или состояния, называемого глаголом, или которое понимается как часть значения глагола.

Локатив (L) — падеж, которым характеризуется местоположение или пространственная ориентация действия или состояния, называемого глаголом.

Объектив (O) — семантически наиболее нейтральный падеж, падеж чего-либо, что может быть обозначено существительным, роль которого в действии или состоянии, которое идентифицируется глаголом, определяется семантической интерпретацией самого глагола. Естественно, этот падеж бывает только у названий вещей, которые затрагиваются состоянием или действием, идентифицируемым глаголом³³. Объектив не надо путать ни с понятием прямого дополнения, ни с именем поверхностного падежа, являющимся просто синонимом для аккумулятива.

Наверняка нам понадобятся и другие падежи. В дальнейшем мы будем по мере необходимости предлагать дополнения к приведенному списку.

Важно отметить, что ни один из этих падежей нельзя интерпретировать как прямое соответствие поверхностно-синтаксическим отношениям «подлежащее» и «прямое дополнение» в каком-либо конкретном языке*. Так, слово John 'Джон' — это А как в предложении 29, так и в предложении 30, the key 'ключ' — это I как в предложении 31, так и в предложениях 32 и 33, а John 'Джон' — это D и в предложении 34, и в предложениях 35 и 36 и, наконец, Chicago 'Чикаго' — это L и в 37, и в 38.

(29) John opened the door.

'Джон открыл дверь.'

(30) The door was opened by John.

'Дверь была открыта Джоном.'

³³ В работе Fillmore, 1966а этому нейтральному падежу было дано необдуманное и вводящее в заблуждение название «эргатив».

* Здесь автор употребляет терминологию, принятую в теории порождающих грамматик, согласно которой «подлежащее» понимается как отношение, или функция, некоторой именной группы (подлежащего в обычном смысле) ко всему предложению в целом.— *Прим. перев.*

- (31) The key opened the door.
'Ключ открыл дверь.'
- (32) John opened the door with the key.
'Джон открыл дверь ключом.'
- (33) John used the key to open the door.
'Джон воспользовался ключом, чтобы открыть дверь.'
- (34) John believed that he would win.
'Джон верил, что он выиграет.'
- (35) We persuaded John that he would win.
'Мы убедили Джона, что он выиграет.'
- (36) It was apparent to John that he would win.
'Джону было очевидно то, что он выиграет.'
- (37) Chicago is windy.
букв. 'Чикаго ветрен.' [т. е. 'Чикаго — ветренный город.'].
'В Чикаго ветрено.'

В список падежей включен локатив L, но нет ничего похожего на такой падеж, который можно было бы назвать «дирекционалом» (направительным падежом). Как отмечалось выше, существуют факты, свидетельствующие о том, что локативные и направительные значения не противостоят друг другу, а являются лишь поверхностными различиями, обусловленными либо структурой фразы, либо характером глагола, управляющего существительным. В примере, предложенном Барбарой Холл (см. предложение 39), по употреблению местоименного слова-заместителя *there* 'там' видно, что сочетания *to the store* 'в магазин' и *at the store* 'в магазине' представляют собой варианты одной и той же сущности, обусловленные характером глагола, обозначающего движение или недвижимое ³⁴.

³⁴ (Налл, 1965). Противопоставленность, будто бы существующая между выражениями с направительным и локативным значением, а также различие «факультативных» и «обязательных» локативных выражений в примерах Барбары Холл (i) и (ii) указывают, скорее всего, на разницу между элементами, входящими в группу глагола, и элементами, находящимися вне ее.

- i. John keeps his car in the garage.
'Джон держит свою машину в гараже.'
- ii. John washes his car in the garage.
'Джон моет свою машину в гараже.'

(39) She took him to the store and left him there.

‘Она повела его в магазин и оставила его там.’

Я указал ранее, что А и D — это ‘одушевленные’ участники деятельности, называемой соответствующим глаголом, и предложил также, чтобы глаголы выбирались* в соответствии с имеющимися в предложении падежными окружениями; в дальнейшем я буду называть такие окружения «падежными рамками». Тогда возникают следующие два выбора лексических единиц: выбор существительных и выбор глаголов. Признаки существительных, требуемые

В наших терминах это значило бы, что либо надо усматривать разницу между падежом L в качестве составляющей, входящей в P, и падежом L в качестве составляющей, входящей в M, либо считать, что имеется два элемента L внутри P, различающихся по степени их сочетаемости с глаголами. Падеж L со строгими ограничениями на сочетаемость употребляется с глаголами keep ‘держат’, put ‘класть’ / ‘ставить’ и leave ‘оставлять’, но не с polish ‘полировать’, wash ‘мыть’ и build ‘строить’; падеж L со слабыми ограничениями сочетается с глаголами типа polish, wash и build, но не с believe ‘верить’, know ‘знать’ и want ‘хотеть’.

Однако, как бы ни интерпретировать это различие, второй, или «внешний», элемент L оказывается в ряде отношений похожим по своим сочетаемым свойствам на падеж, который можно было бы назвать бенефактивом (B). Падеж B также связан с сочетаемостью глаголов-предикатов в том смысле, что некоторые предикаты не могут иметь при себе обстоятельства-бенефактива (*He is tall for you ‘Он высок вам’); однако, возможно, что это ограничение в данном случае относится не столько к зависимостям, непосредственно связанным с глаголом, сколько к отношениям зависимости между падежами. В действительности оказывается, что глаголы, при которых допустимы такие определители, как «внешний L» и B, — это в точности те же самые глаголы, при которых бывает агенс. Я не представляю себе, как можно формулировать такие зависимости, но это надо делать так, чтобы и второй тип L и B могли появляться только в тех предложениях, где есть A.

Таким образом, интерпретация различия между предложениями iii и iv

iii. Il demeure à Paris.

‘Он остается в Париже.’

iv. Il travaille à Paris.

‘Он работает в Париже.’

при которой в первом предложении усматривается ‘прямое дополнение’, а во втором — ‘косвенное дополнение’, может быть связана просто с тем фактом, что подлежащее предложения iv — это на самом деле A. Наличием A объясняется и выбор конкретного глагола, и наличие ‘внешнего L’. См. в этой связи замечания Базеля (Bazell, 1949, p. 10) по поводу рецензии Гугенхейма (Gougenheim) на книгу Boer. French syntax.

* Имеется в виду «выбор» (selection) лексических единиц из лексикона на этапе введения лексики в НС-структуру.— Прим. перев.

тем или иным падежом, задаются обязательными правилами такого типа, как, например, следующее правило, которое показывает, что всякое N в составе группы, имеющей падеж A или D, должно содержать признак [+ одушевленный] (вспомним оговорку в сноске 30):

$$N \rightarrow [+ \text{одушевленный}] / A \cdot D [X \text{ ______ } Y]$$

Чтобы учесть в самом общем виде признаки лексических единиц, связанные с конкретными падежами, мы можем воспользоваться правилом, которое приписывает каждому существительному помету, идентифицирующую то падежное отношение, в которое вступает это существительное с остальной частью предложения. Такое правило могло бы приписывать, к примеру, всякому существительному, над которым доминирует падеж L, признак [+ локатив]. Так как абстрактные существительные вроде слова *idea* 'идея' не могут быть главами групп, реализующих падеж L, они будут получать признак [— локатив]³⁵.

Вставление глаголов, с другой стороны, зависит от конкретного набора падежей, «падежной рамки»*, представленной в данном предложении³⁶. Так, глагол *run* 'бежать' может быть вставлен в рамку [____ A], глагол *sad* '(быть) грустным' — в рамку [____ D], глаголы типа *remove* 'убирать' и *open* 'открывать' — в рамку [____ O + A], глаголы типа *murder* 'убивать' и *terrorize* 'терроризировать' (то есть глаголы, требующие «одушевленного субъекта» и

³⁵ Допущение для лексики сильно ограниченных признаков, связываемых с данными падежными единицами, возвращает нас к расширенному пониманию «падежей» в виде «наречных форм», которое предлагалось еще Боппом, Вюльнером и Хартунгом. Согласно такому пониманию, некоторые наречия, а на самом деле существительные, способны «принимать» только одну падежную форму. Поскольку все глубинные падежи и в самом деле являются до некоторой степени «дефектными» (то есть неприменимыми ко всем существительным), такое понятие, как сфера действия словоизменения, уже не может служить для четкого разграничения между «собственно падежными формами» и «наречиями». Обсуждение этих проблем см. в *N j e l m s l e v*, 1935, p. 40.

* В русской лингвистической литературе нередко можно встретить употребление термина *frame* 'рамка' без перевода (как «фрейм»). Такое употребление не оправданно никакими соображениями и поэтому в настоящем переводе статьи Ч. Филлмора данный термин повсюду используется в его переводной форме — 'рамка'. — *Прим. ред.*

³⁶ В настоящем изложении я придерживаюсь доктрины Поста — Лакоффа, кажущейся мне чрезвычайно убедительной, что прилагательные образуют подмножество глаголов.

«одушевленного объекта») — в рамку [____ D+A), глаголы типа give 'давать' — в рамку [____ O+D+A] и т. д.

Сокращенные формулировки, называемые «рамочными признаками», должны задавать в словарных статьях глаголов множество падежных рамок, в которые может быть вставлен данный глагол. Эти рамочные признаки естественно определяют некоторую классификацию глаголов в данном языке.

Такая классификация достаточно сложна не только из-за разнообразия падежных окружений, возможных внутри R, но еще и из-за того, что многие глаголы могут выступать в более чем одном определенном падежном окружении. Этот последний факт может быть отражен в предлагаемой записи явным образом, если в выражениях, характеризующих рамочные признаки, допустить факультативные представления падежей.

Так, если рассмотреть уже известный пример — глагол open 'открывать', то мы увидим, что этот глагол может выступать и в контексте [____ O], как в предложении 40; и в контексте [____ O + A], как в предложении 41; и в контексте [____ O + I], как в 42; и, наконец, в контексте [____ O + I + A], как в 43:

(40) The door opened.

'Дверь открылась.'

(41) John opened the door.

'Джон открыл дверь.'

(42) The wind opened the door.

'Ветер открыл дверь.'

(43) John opened the door with a chisel.

'Джон открыл дверь стамеской.'

В наиболее простом представлении этого набора возможностей для указания того, какие элементы факультативны, используются круглые скобки. Тем самым оказывается возможным записать рамочный признак для open в виде 44:

(44) + [____ O(I) (A)]⁸⁷

⁸⁷ Падежные рамки записываются в квадратных скобках, подчеркивающая линия указывает место элемента, для которого запись в целом является контекстной рамкой. Рамочные признаки даются в квадратных скобках со знаком + или — перед ними. Эти знаки показывают, что набор падежных рамок, представленных выражением внутри скобок, допустим (если стоит знак +) или недопустим (если стоит знак —) для той лексической единицы, которой приписан этот признак.

Другими глаголами с тем же рамочным признаком являются *turn* 'поворачивать(ся)', *move* 'двигать(ся)', *rotate* 'вращать(ся)' и *bend* 'сгибать(ся)'.

Для глагола *kill* 'убивать' надо указать, употребляя привычные термины, что у него бывает одушевленный объект и одушевленный или неодушевленный субъект и что при одушевленном субъекте может быть еще одновременно группа со значением инструмента. Другими словами, рамочный признак для *kill* должен показывать, что при этом глаголе может быть либо Инструменталис, либо Агенс, либо оба эти падежа. Если ввести запись с пересекающимися скобками для указания на то, что в предложении должен быть выбран хотя бы один элемент из пары, стоящей в таких скобках, тогда рамочный признак для *kill* может быть записан в виде выражения 45.

(45) + [_____ D (I & A)]

С другой стороны, глагол *murder* 'убивать' относится к числу глаголов, требующих Агенса. Рамочный признак такого глагола не совпадает ни с 44, ни с 45, поскольку элемент А в нем обязателен. Этот рамочный признак приводится в 46.

(46) + [_____ D (I) A]

Для классификации глаголов в соответствии с их окружением имеет значение не только простой набор падежей в составе Р. Поскольку один из падежей может быть реализован в виде S (придаточного предложения), глаголы можно классифицировать также на том основании, является ли элемент О предложением. Мы условимся в дальнейшем интерпретировать символ О в рамочных признаках как NP (именную группу), а символ S — как элемент О, который реализуется как придаточное предложение S.

Рамочный признак + [_____ S] характеризует такие глаголы, как *true* 'верно, что', *interesting* 'интересно, что' и т. д.; признак + [_____ S + D] объединяет такие глаголы, как *want* 'хотеть' и *expect* 'ожидать'; глаголы типа *say* 'сказать', *predict* 'предсказывать' и *cause* 'заставлять, побуждать' выступают в рамке [_____ S + A], а глаголы типа *force* 'заставлять, принуждать' и *persuade* 'убеждать' могут вставляться в рамку [_____ S + D + A]³⁸.

³⁸ Следует подчеркнуть, что в грамматиках, основанных на различии «подлежащее / дополнение», описание придаточных предложений как реализации категории NP в виде *it* + S 'то, что S' должно каким-то образом гарантировать, что такое развертывание именной

Глаголы отличаются друг от друга не только конкретными падежными рамками, в которые они могут вставляться, но и своими трансформационными свойствами. К наиболее важным свойствам относятся: (а) выбор той или иной NP на роль поверхностного подлежащего или поверхностного дополнения во всех тех случаях, когда этот выбор осуществляется не по общему правилу; (б) выбор предлогов для каждого падежного элемента в том случае, если этот выбор определяется скорее идиосинкретическими свойствами глагола, чем общим правилом, и (в) другие особые трансформационные признаки, такие, как, например, выбор конкретного комплементаризера (*that*, *-ing*, *for — to* и т. д.)* для глаголов, управляющих придаточными дополнительными, и некоторые более поздние трансформации с участием этих элементов.

Использование скобок в записи рамочных признаков наряду с трансформационным введением подлежащих дает возможность сократить число семантических толкований в словаре. Вся информация, связанная с конкретными падежными отношениями, представленными в составляющей Р, должна даваться при семантической интерпретации этой составляющей Р, что позволяет исключить ее из толкований глаголов. Как мы видели в случае глаголов с признаком 44, некоторые соотносящиеся между собой переходные и непереходные глаголы не обязательно должны получать отдельные толкования. Эта особенность может быть продемонстрирована еще и на примере английского глагола *cook* 'варить(ся)', 'готовить(ся)'. Рамочный признак этого глагола должен выглядеть, по-видимому, примерно как

(47) + [_____ О (A)],

а идиосинкретический трансформационный признак этого глагола состоит в том, что если в предложении есть А и

группы будет иметь место лишь в позиции подлежащего при непереходном глаголе и в позиции дополнения (прямого или косвенного) при переходном глаголе. Все такие оговорки становятся излишними, если принять решение ограничить употребление придаточного предложения S падежным элементом О.

* *Комплементаризером* (*complementizer*) в теории трансформационных грамматик называется *способ оформления* в поверхностной структуре глубинного придаточного предложения, выступающего в главном предложении в функции дополнения («комплемента»): «*that*» указывает на обычное придаточное предложение с союзом *that* 'что', «*for—to*» — на инфинитивный оборот, «*-ing*» — на герундий с зависимыми словами и т. д. — *Прим. перев.*

если O — это какая-либо NP, типичная для данного глагола (то есть нечто вроде food 'пища' или meal 'еда'), то элемент O может быть опущен. Толкование этого глагола состоит всего лишь в идентификации определенной деятельности, направленной на достижение определенного результата по отношению к объекту, обозначаемому элементом O. Иначе говоря, одна и та же словарная статья годится для характеристики употребления глагола cook во всех трех предложениях 48—50.

(48) Mother is cooking the potatoes.

'Мать готовит картошку.'

(49) The potatoes are cooking.

'Картошка готовится.'

(50) Mother is cooking.

'Мать готовит.'

Вместо того чтобы выделять у этого глагола три разных значения, нам достаточно будет сказать, что имеется несколько возможных для него падежных рамок и что этот глагол относится к глаголам с «элиминируемым объектом». Тот факт, что падеж A бывает только у одушевленных существительных, а для падежа O одушевленность безразлична, служит объяснением того, что если мы можем понять предложение 49 неоднозначно *, то это происходит потому, что мы можем допустить нарушение грамматических требований в случаях «олицетворений» такого типа, с которыми мы познакомились еще в детском саду; неоднозначность же предложения 50 на самом деле обуславливается тем, что нам известен диапазон видов деятельности, существующих в человеческих обществах.

Пример с глаголом cook показывает, что, приняв предлагаемое описание, уже не нужно включать в словарь так много подзначений для *отдельных* единиц, как это было бы необходимо в грамматике, основанной на различии «подлежащее/дополнение»³⁹. Теперь мы покажем, что тот же са-

* В предложениях 49 и 50 сказуемое может, вообще говоря, иметь значение и 'готовит' и 'готовится'. — *Прим. перев.*

³⁹ Может оказаться, что представление факультативных падежей в рамочных признаках имеет отмеченные выше преимущества в английском языке потому, что в этом языке много глаголов, которые могут, не меняя своей формы, употребляться и переходно, и непереходно. Совпадение формы этих слов в английском языке является случайным, частным свойством этого языка. Отождествление переходного и непереходного open 'открывать(ся)' или переходного и непереходного cook

мый гибкий аппарат позволяет сократить количество словарных статей для целых классов глаголов, поскольку теперь можно достаточно убедительно доказать, что некоторые синтаксически разные слова на самом деле семантически тождественны (в той части их значения, которая независима от того, что приносится в нее соответствующими падежами). Так, это может быть справедливо для глаголов типа like 'любить' и please 'нравиться' — пример, который приходит в голову прежде всего. Эти слова можно описывать как синонимы; каждое из них имеет рамочный признак + [_____O + D], а различаются они лишь признаками выбора подлежащего. В действительности глагол like 'любить' в ходе своего исторического развития прошел через такое состояние, когда у него был тот же самый признак выбора подлежащего, что сейчас у please.

У глагола show 'показывать', входящего в другой класс примеров, может быть то же самое семантическое представление, что и у глагола see 'видеть', с тем лишь существенным отличием, что рамочный признак у show содержит падеж A, которого нет у see. Аналогичным образом соотносятся между собой, по-видимому, глаголы kill 'убивать' и die 'умирать'.

(51) see (+ [_____O + D]) vs. show (+ [_____O + D + A])

'варить(ся)' оправданно постольку, поскольку семантическая характеристика глаголов также не меняется во всех рассмотренных случаях их употребления. (Мы должны различать семантическую характеристику глагола и семантическую интерпретацию содержащего его предложения. Во втором случае принимаются во внимание и все другие составляющие предложения, и те семантические роли, которые они играют в соответствии со своими падежами.) Во всех языках, в которых такое условие удовлетворяется, уместно и представление факультативных падежей. Вероятно, в некоторых языках может оказаться, что наличие или отсутствие одного из «необязательных» падежей будет сказываться на глаголе. Если у глаголов типа [_____O (A)] появление A обуславливает не такую форму, какая была бы при отсутствии этого падежа (что различает «переходное» и «непереходное» употребление одного и того же глагола), или же если при отсутствии A требуется некий дополнительный элемент (например, какая-нибудь «возвратная» морфема), излишний при эксплицитно выраженном A, то такие факты могут быть описаны с помощью трансформаций — см. N a s h i m o t o, 1966. (Расширив диапазон поверхностных вариантов глагола, встречающихся в этих условиях, так, чтобы между ними допускались отношения супплетивности, мы смогли бы, по-видимому, интерпретировать даже различные лексемы в примерах типа 51—53 как поверхностную лексическую вариативность.)

(52) die (+[_____D]) vs. kill (+[_____D(I)A])

Мы рассмотрели случаи синонимии, при которых рамочные признаки были тождественны, а признаки выбора подлежащего — различны, и другие случаи синонимии, при которых уже сами рамочные признаки различались наличием или отсутствием некоторой падежной категории. Теперь мы можем обратиться к примерам синонимии, в которых обнаруживается различие в выборе того или иного падежа.

Напомним, что и А, и D являются одушевленными. У некоторых глаголов толкования могут содержать указания об одушевленности существительных, стоящих в этих падежах, безотносительно к тому, является ли «источником» одушевленности падеж А или падеж D. Иными словами, семантическое представление некоторых глаголов может характеризовать определенное отношение или процесс, предполагающий наличие обязательно одушевленного участника действия или состояния, называемого глаголом. Отношение между глаголами hear 'слышать' и listen 'слушать' и между обязательно одушевленной NP, называющей действующее лицо, одинаково в обоих случаях; различие в семантической интерпретации пропозиционных составляющих Р, содержащих эти глаголы, обуславливается значениями, привносимыми соответствующими падежами и тем обстоятельством, что hear выступает в падежной рамке [_____O + D], а listen — в падежной рамке [_____O + A]. Если в случае listen отношение между глаголом и именной группой понимается таким образом, что для лица, характеризуемого падежом А, предполагается активное участие в действии, то этот факт — следствие наличия падежа А, а не особого значения у listen. То же самое различие можно наблюдать у глаголов see 'видеть' и know 'знать', с одной стороны, и look 'смотреть' и learn 'узнавать', с другой стороны.

(53) see, know (+[_____O + D]) vs. look, learn (+
[_____O + A])

Только что упомянутые факты подводят к рассмотрению тех свойств английских глаголов, с которыми Лакофф (L a k o f f, 1966) связывает термины 'стативный' и 'нестативный'. Напрашивается следующий вопрос: являются ли эти признаки у Лакоффа элементарными различитель-

ными признаками словарных статей глаголов или они сводимы к тем понятиям, которые я наметил в общих чертах в предыдущем изложении? Лакофф отмечает, что «истинное» повелительное наклонение, формы длительного вида, совместное употребление с бенефактивными (В) группами и замена на *do so* 'сделать то же самое' допускаются только у «нестативных» глаголов. В его работе предлагается сначала приписать глаголам признаки «стативный/нестативный», а затем уже устанавливать, что бенефактивные именные группы могут допускаться только при нестативных глаголах (иными словами, нужно гарантировать, что присутствию бенефактивных групп будет допускаться отбор только нестативных глаголов), что трансформация образования императива будет применима только в том случае, если глагол «нестативный», и т. д. Предпочитаемое мною решение имплицитно представлено в предыдущем изложении. Трансформация, отвечающая за образование «истинных» императивов, может применяться только к предложениям, содержащим А; соответственно наличие в предложении падежа В (и «внешних» L) также зависит от присутствия падежа А. Длительный вид может быть выбран только в связи с определенной падежной рамкой, например с такой, которая содержит А. К глаголам не нужно добавлять никаких специальных признаков, показывающих стативность, поскольку если предложенная нами трактовка правилна, то в таких предложениях будут так или иначе выступать только те глаголы, которые встречаются в пропозиционных составляющих, содержащих падеж А⁴⁰.

3.5. Поверхностные явления

Резюмируем предыдущее изложение. Глубинная структура (пропозиционного компонента) всякого простого предложения представляет собой построение, состоящее из глагола плюс некоторое количество именных групп, которые находятся в специальных помеченных отношениях (падежах) ко всему предложению. Эти отношения, трактуемые

⁴⁰ Интерпретировать тем же способом факты, связанные с глаголом-заместителем *do so* 'делать то же самое', оказывается не так-то просто. Тем не менее связь между «нестативными» глаголами и глаголами, «управляющими» падежом А, слишком бросается в глаза, чтобы быть попросту неверной.

как категории *, включают такие понятия, как Агентив, Инструменталис, Объектив, Фактив, Локатив, Бенефактив и, возможно, некоторые другие. Сложные предложения строятся с помощью рекурсии через посредство категориального символа «Предложение», подчиняемого в НС-структуре символу падежной категории «Объектив». Глаголы подразделяются на классы в зависимости от тех падежных окружений, в которых они могут выступать, а семантическая характеристика глаголов соотносит их либо со специфическими падежными элементами в окружении глаголов, либо с элементами с определенными признаками (типа одушевленности), вводимыми как обязательное сопровождение конкретных падежей.

В этом разделе будут рассмотрены некоторые способы превращения глубинных структур (предлагаемых в настоящей статье) в поверхностные представления предложений. Сюда относятся механизмы выбора тех эксплицитных средств, с помощью которых выражаются падежи (супплетивные формы, аффиксация, добавление предлогов или послогов), средства «регистрации» некоторых элементов в глаголе, формирование подлежащего, формирование прямого дополнения, линейное упорядочение словоформ, номинализация.

Система поверхностных падежей может соотноситься с набором глубинных падежей разными способами. Два глубинных падежа могут представляться в поверхностной структуре одинаково, как, например, прямые дополнения типа D и O, которые во многих языках представляются «винительным» падежом (решающим фактором при этом может быть то, что на каком-то шаге трансформационного вывода они окажутся непосредственно следующими за глаголом). A и D также могут выражаться одной и той же поверхностной формой, где решающим фактором оказывается ассоциирующаяся с этими падежами одушевленность. Или же поверхностная форма падежного элемента может определяться идиосинкретическими свойствами управляющего им слова.

Правила для английских предлогов могут выглядеть примерно следующим образом: предлогом для выражения падежа A является *by*; предлог для падежа I — тоже *by*

* Здесь еще раз отмечается, что символы падежей фигурируют в глубинной структуре так же, как и символы других, более обычных, категорий НС-грамматик: S, NP, VP и т. д.— *Прим. перев.*

в случае, если в предложении нет А, а в противном случае — with; предлоги для О и F — обычно *нулевые*; предлог для В — for; предлог для D — обычно to; предлоги для L и T (обозначение времени) либо семантически непусты (и тогда они выбираются свободно, через словарь), либо их выбор зависит от конкретного существительного [on the street 'на улице', at the corner 'на углу' (= пересечение двух улиц), in the corner 'в углу (комнаты)', on Monday 'в понедельник', at noon 'в полдень', in the afternoon 'днем']]. У некоторых конкретных глаголов могут быть специфические требования на выбор предлогов, приводящие к исключениям из перечисленных обобщений ⁴¹.

Расположение предлога перед существительным может быть обеспечено либо правилом подстановки, развертывающим символ падежа в сочетание P_{prep} + NP (Предлог + NP), либо тем, что предлог входит в NP в качестве обязательной составляющей. Я предпочитаю первое, хотя причины выбора того или иного из этих решений не особенно ясны. «Универсальный» характер базовых правил сохраняется, если предположить, что и предлоги, и послелог, и падежные аффиксы независимо от того, являются ли они семантически релевантными или нет, представляют собой на самом деле реализации одного и того же глубинного элемента — скажем, элемента К (от Kasus 'падеж'). Тогда можно считать, что для всех символов падежей действует правило подстановки, развертывающее их в сочетание К + NP.

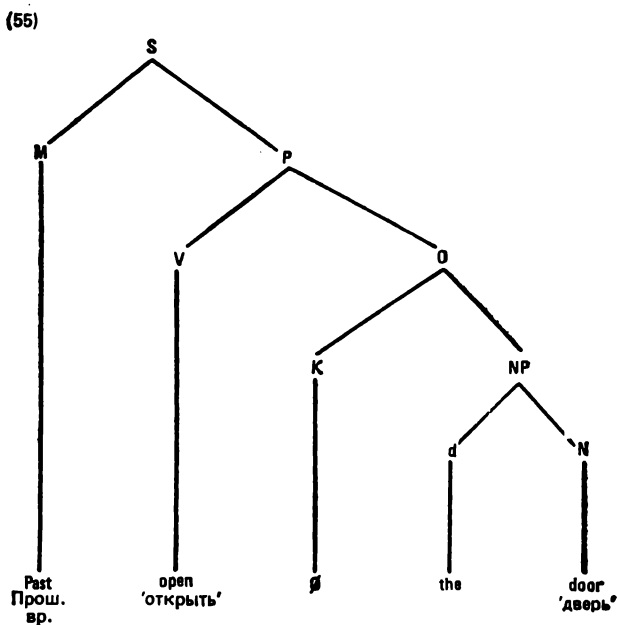
В каждом английском предложении, по крайней мере с формальной точки зрения, есть поверхностное подлежащее. Для большинства комбинаций падежей существует «предпочтительный», или «немаркированный», вариант выбора подлежащего, а для некоторых комбинаций падежей разных

⁴¹ Так, глагол blame 'обвинять' выбирает («управляет») предлог for для падежа О и предлог on для падежа D. Для падежа О у глагола look в значении 'смотреть' берется предлог at, в значении 'искать' — предлог for, у глагола listen 'слушать' — предлог to и т. д. Первоначальный выбор предлога может быть изменен в результате действия трансформаций: правила образования поверхностных подлежащих и прямых дополнений убирают предлоги (замещают их нулем), а правила образования отглагольных существительных (точнее, правила образования именных групп из предложений) превращают некоторые исходные падежные формы в эквиваленты генитива, либо заменяя выбранный ранее предлог предлогом of, либо иногда убирая исходный предлог и добавляя к имени аффикс «генитива».

вариантов выбора подлежащего практически даже и нет — подлежащее определено однозначно. В общем случае выбор «немаркированного» подлежащего происходит, скорее всего, по следующему правилу:

- (54) Если имеется падеж А, то он и становится подлежащим; если его нет, но есть падеж I, то подлежащим становится этот I; во всех прочих случаях подлежащее — это О.

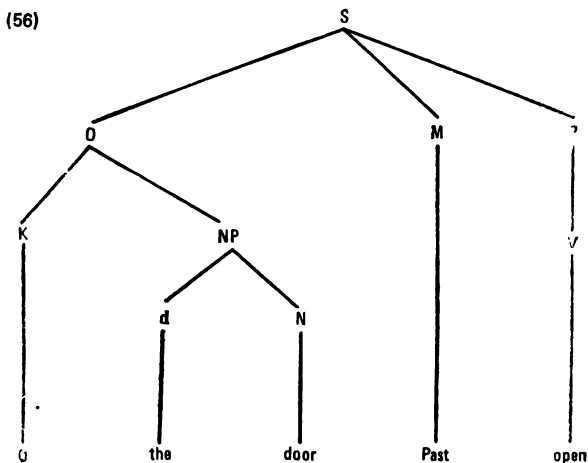
Предположим, например, что базовым представлением определенного предложения является структура 55*:



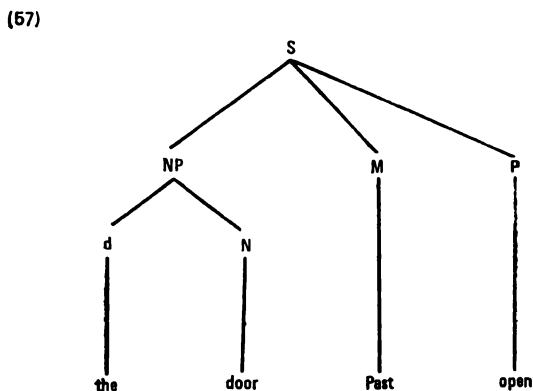
Поскольку в этом предложении имеется только одна падежная категория, она обязательно выносится вперед (и

* Здесь и ниже в примерах НС-структур дается пословный перевод терминальных символов в базовой НС-структуре (первой в последовательности структур, образующих трансформационный вывод предложения) и достаточно гладкий перевод *всей* терминальной цепочки в последней структуре вывода. Переводы в промежуточных структурах редакция сочла возможным не приводить. — *Прим. ред.*

тем самым становится непосредственно подчиненной категории S), где к ней затем должна быть применена трансформация элиминации предлога у подлежащего. Иными словами, на некотором шаге вывода данное предложение принимает вид 56:

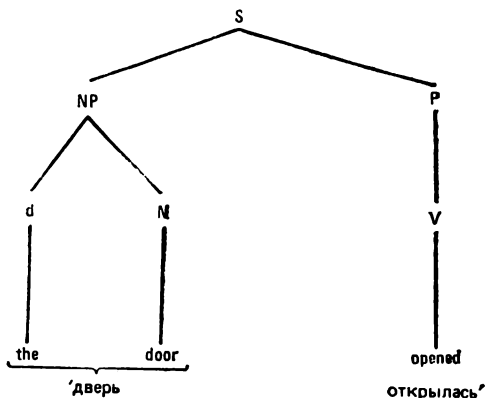


Правило элиминации предлога убирает предлог и стирает метку падежа. После применения этого правила предложение выглядит уже так, как показано на схеме 57:



Окончательная поверхностная форма предложения, представленная на схеме 58, получается в результате слияния показателя времени с глаголом:

(58)



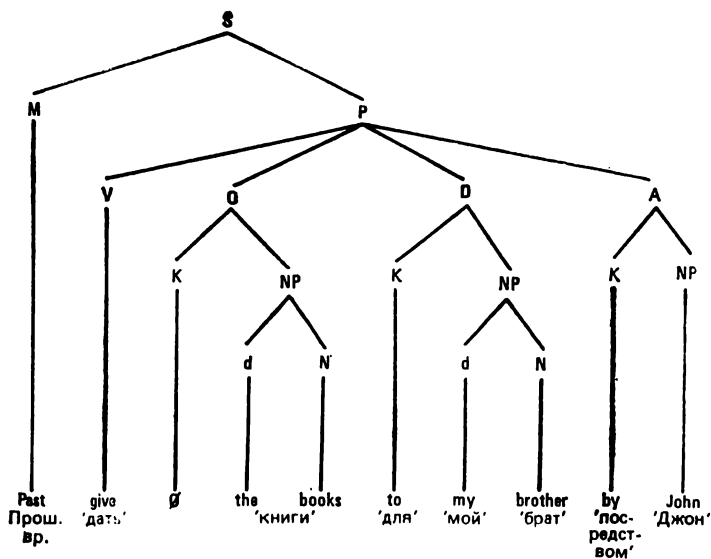
У всякой базовой конфигурации, содержащей А, нужно различать «нормальный» и «ненормальный»⁴² выбор подлежащего. Выбор в качестве подлежащего падежа А в соответствии с правилом, предложенным в правиле 54, не влечет за собой никакой модификации глагола. Изменения, наблюдаемые при переходе от схемы 59 к схеме 60, отражают действие правила выноса подлежащего в начальную позицию; при переходе от 60 к 61 происходит элиминация предлога у подлежащего, а переход от 61 к 62 показывает, как работает третье правило — элиминация предлога у прямого дополнения⁴³. Окончательная поверхностная структура предложения с глубинной структурой 59 представлена на схеме 63 (схемы 59, 60 см. на с. 422; схемы 61, 62 — на с. 423; а схему 63 — на с. 424).

Если заметить, что глагол give 'давать' относится к глаго-

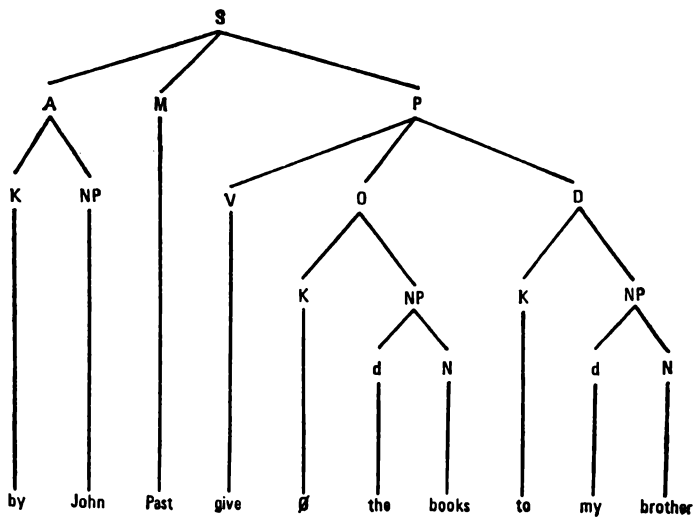
⁴² Предлагаемые термины не надо принимать всерьез.

⁴³ Глаголы классифицируются в зависимости от того, требуют ли они элиминации предлога у непосредственно следующей за ними падежной группы, то есть в зависимости от того, «принимают» ли они прямое дополнение. В случае наличия у глагола такого свойства, оно может быть отменено или изменено позже в результате действия трансформаций.

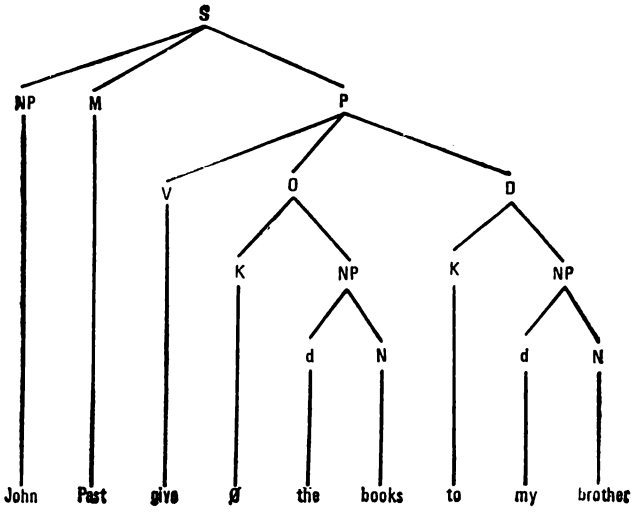
(59)



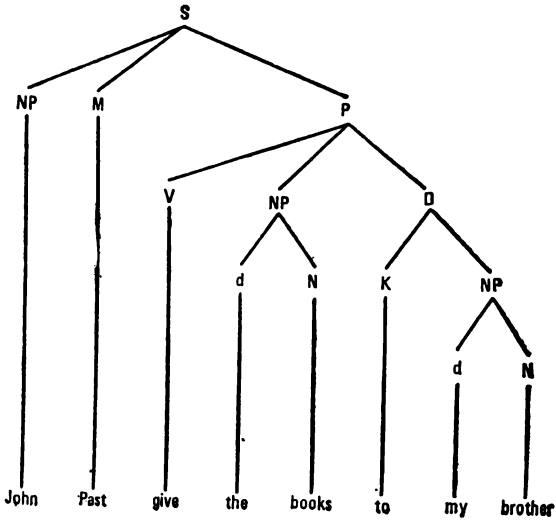
(60)



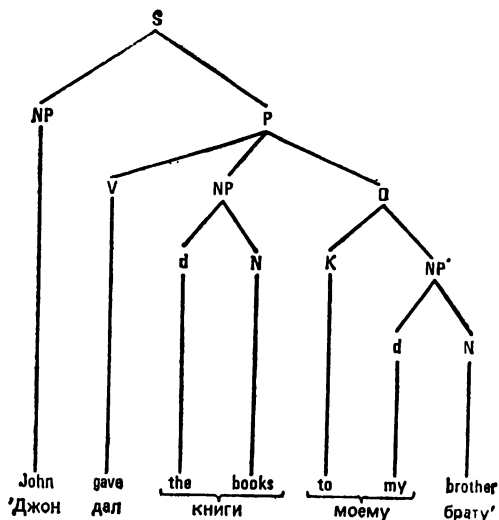
(61)



(62)

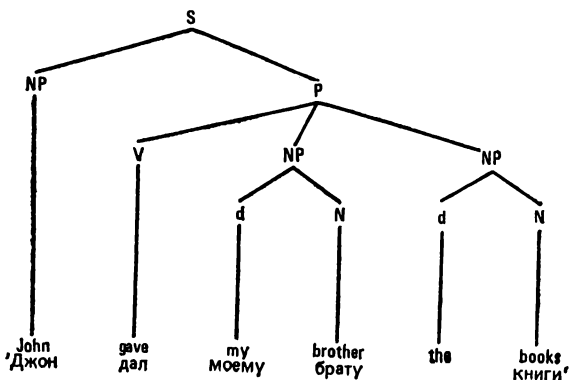


(63)



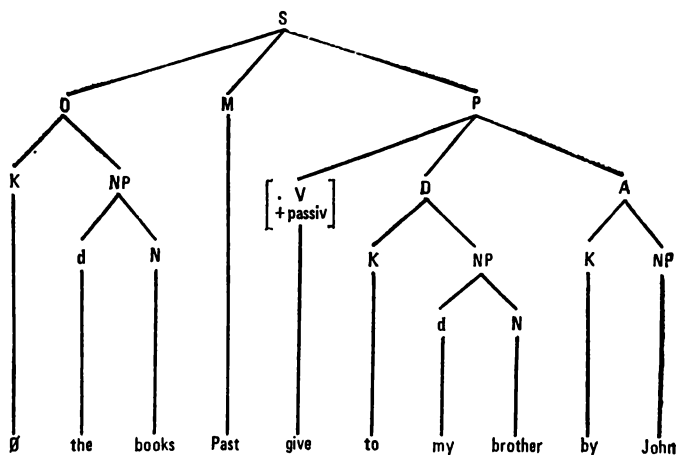
лам, которые, имея А в качестве подлежащего, допускают в качестве прямого дополнения либо О, либо D, то как альтернативный поверхностный вариант для глубинной структуры 59 может быть указана структура 64 (предполагается, что элиминация падежных меток происходит тогда, когда уже «элиминированы» нулевые К-элементы).

(64)



Как указывалось в обобщении 54 (пригодном для английского языка), при «нормальном» выборе подлежащего в предложениях, содержащих А, им оказывается А. Глагол *give* допускает также в качестве подлежащего либо О, либо D, но при том условии, чтобы этот «ненормальный» выбор был «зарегистрирован» в глаголе. Такая «регистрация» «ненормального» подлежащего осуществляется посредством приписывания глаголу признака [+passive] ([+пассивный]). Приписывание этого признака сопровождается следующими тремя эффектами: глагол теряет свойство элиминировать предлог при прямом дополнении, он теряет свою способность притягивать показатель времени (при том, что становится обязательным автоматическое включение вспомогательного глагола *be* в составляющую M), а позиция глагола должна быть заполнена теперь особой «пассивной» формой (то есть *given*). Последовательность структур 65—68 отражает последовательность шагов вывода

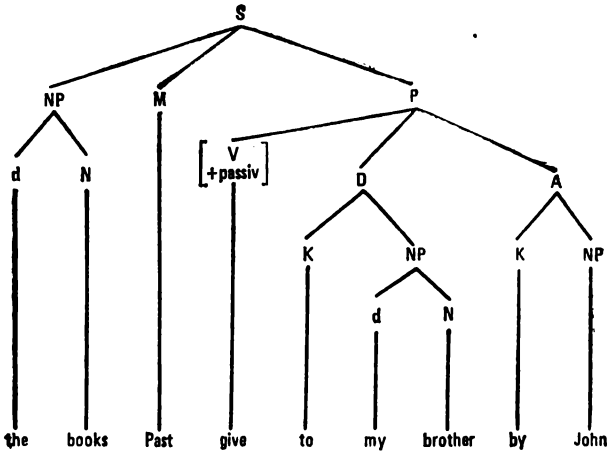
(65)



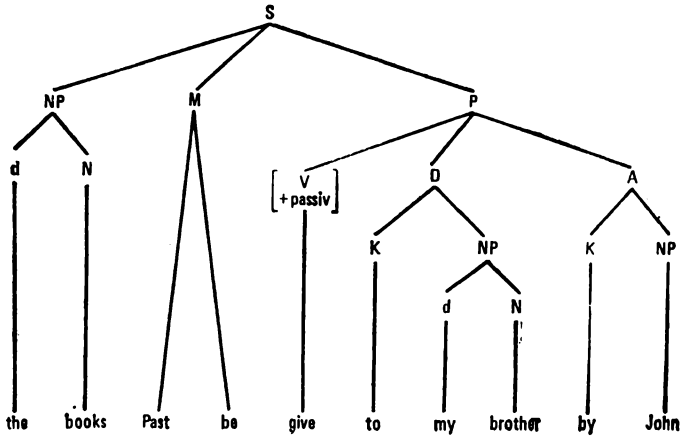
предложения в случае выбора падежа О в качестве подлежащего, а последовательность 69—73 показывает, что происходит, когда в качестве подлежащего выбран падеж D.

Мы видели, что в тех случаях, когда в предложении представлена только одна падежная категория, поверхно-

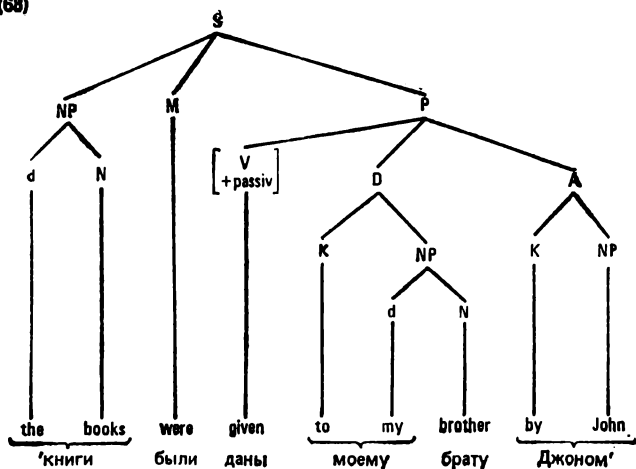
(66)



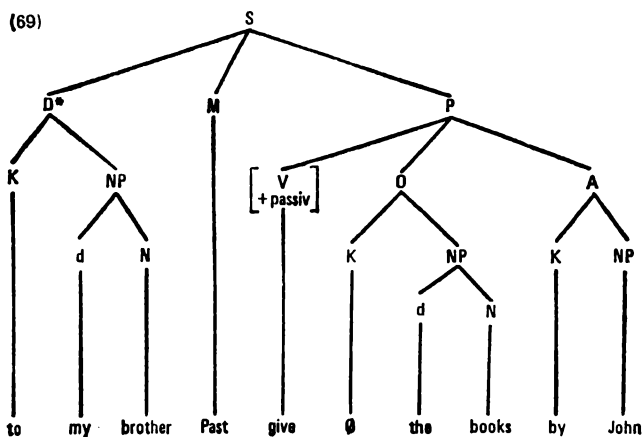
(67)



(68)

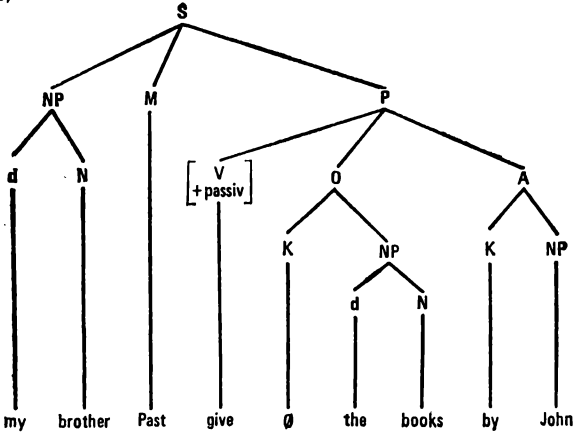


(69)

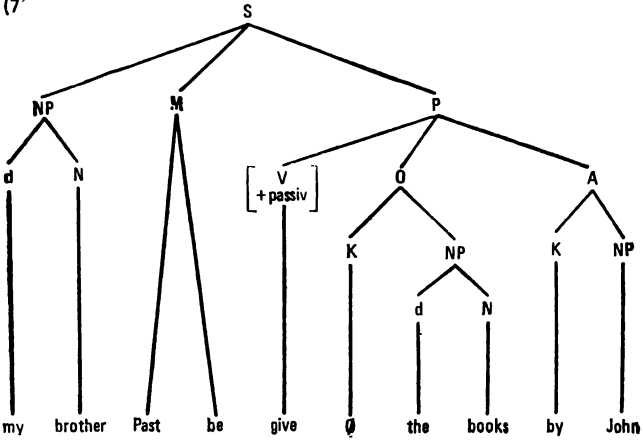


* В оригинале — NP; по-видимому, опечатка. — Прим. перев.

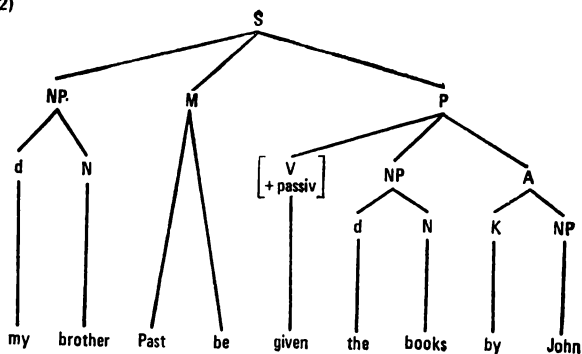
(70)



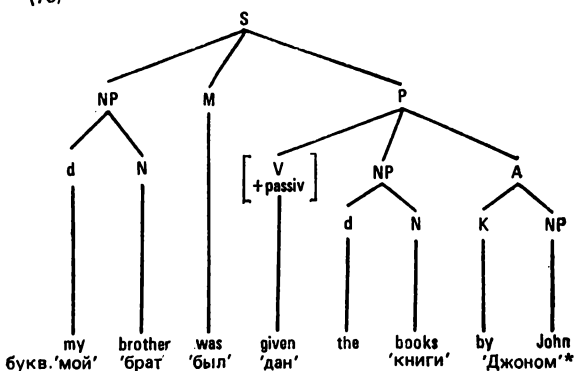
(71)



(72)



(73)



стным подлежащим должна становиться подчиненная ей NP. Примеры 59—73 показывают нам, как быть с предложениями, содержащими более одной падежной категории: в них либо один заранее predeterminedный падеж может представить кандидата на роль подлежащего, не вызывая при этом никаких изменений в глаголе, либо это же могут сделать другие падежи, при том условии, однако,

* В данном предложении реализуется специфическая английская конструкция с глаголом give 'давать', не имеющая эквивалентов в русском языке. По оформлению актантов наиболее близким к английскому тексту будет перевод 'Мой брат получил книги от Джона'.— Прим. перев.

что «памятка» об этом факте будет присоединена к глаголу.

Для большинства глаголов, «управляющих» более чем одной падежной категорией, та из них, которой предписывается быть подлежащим, задается самим глаголом. Из глаголов, которые могут выступать в рамке [___ O + D], глаголы *please* 'доставлять удовольствие', *belong* 'принадлежать', *interesting* '(быть) интересным' и другие «выбирают» в качестве подлежащего падеж O, а глаголы *like* 'любить', *want* 'хотеть', *think* 'думать' наряду с другими глаголами — падеж D ⁴⁴.

Иногда подлежащие создаются не путем передвижения одного из падежных элементов в позицию «подлежащего», а путем *копирования* некоторого элемента и помещения в эту позицию полученной копии. По-видимому, такая ситуация является следствием позиционного определения понятия «подлежащее» в английском языке и обусловлена использованием элементов, сугубо формально признаваемых подлежащими ⁴⁵.

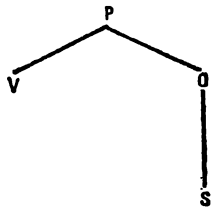
Копирование с последующей заменой на местоименное слово может быть проиллюстрировано на примере придаточ-

⁴⁴ Как отмечалось выше, мы считаем, что наблюдаемые здесь различия представляют собой всего лишь идиосинкретические синтаксические свойства этих глаголов, и поэтому мы рассматриваем исторические изменения у глаголов типа *like*, *want* и *think* от состояния с O-подлежащим к состоянию с D-подлежащим просто как частности, связанные с правилами выбора подлежащего в нашем языке. Иными словами, мы не обязаны соглашаться с Есперсеном, когда он описывает происшедший в истории английского языка переход от употребления выражений типа *him like oysters* 'ему нравятся устрицы' к употреблению выражений типа *he likes oysters* 'он любит устриц' как переход, отражающий изменение в «значении» глагола *like* от чего-то вроде 'быть приятным (кому-либо)' к чему-то вроде 'находить удовольствие (в чем-либо)' (Jesperesen, 1924, p. 160; русск. перев.: Есперсен, 1958, с. 182). Это изменение является, по-видимому, просто результатом взаимного влияния двух поверхностных процессов: выбора первого слова в качестве подлежащего и установления глагольного согласования.

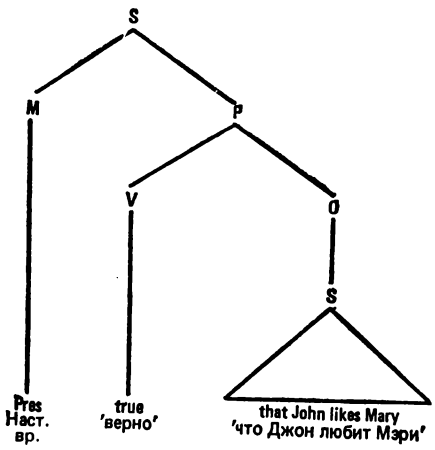
⁴⁵ Из того, что в простом предложении ни один падеж не встречается дважды, следует, что можно строить все подлежащие посредством трансформации копирования. Получающиеся предложения с двумя «экземплярами» одной и той же NP в одном и том же падеже подвергаются тогда одному из следующих преобразований: либо второй «экземпляр» элиминируется или заменяется местоименным словом, либо местоименным словом заменяется первый «экземпляр».

ных предложений с союзом that 'что'. «Глагол» true 'верно' выступает в падежной рамке [____S], то есть в синтаксической структуре со следующей конфигурацией:

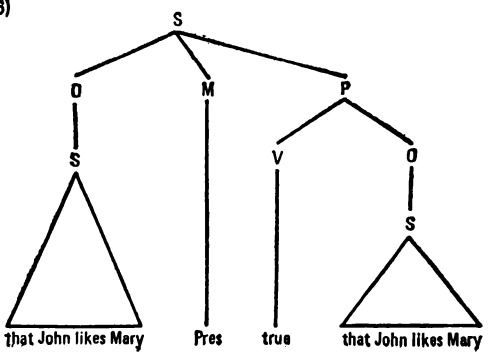
(74)



(75)



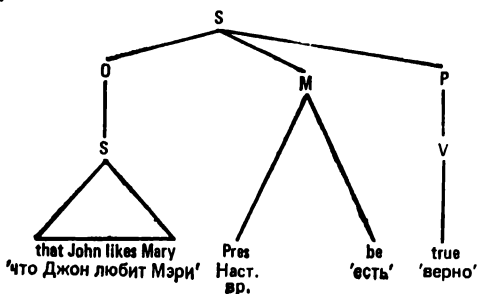
(76)



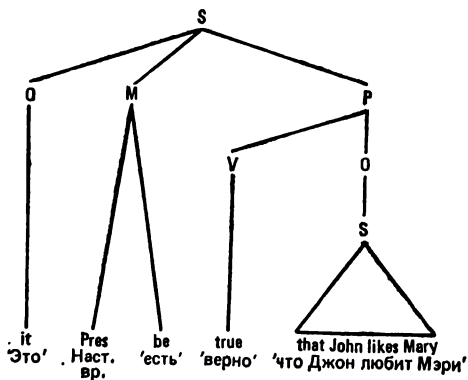
Поскольку здесь есть только один падежный элемент, подлежащим по необходимости становится именно он. В данном случае требуется также, чтобы для введения придаточного предложения наличествовал элемент *that*. При помощи трансформации образования подлежащего-копии из 75 выводится 76 (см. с. 431).

В структуре 76 производится либо элиминирование второго экземпляра придаточного предложения, что приводит к структуре 77, либо замещение местоимением первого экземпляра, что дает нам 78.

(77)

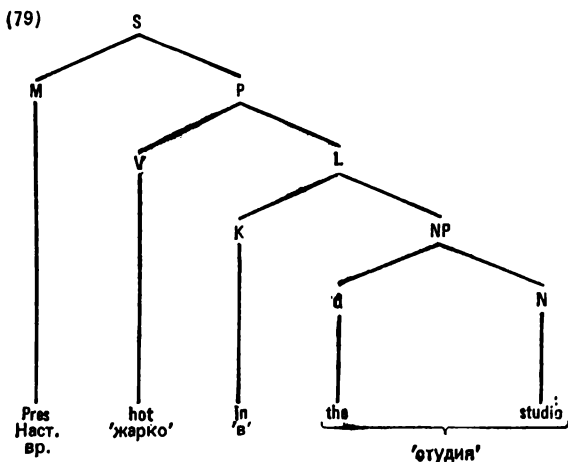


(78)



Глаголы, обозначающие метеорологические условия, имеют рамочный признак + [___L]. Взяв в качестве примера слово *hot* 'жарко', выступающее в такой рамке, мы можем построить предложение, глубинная структура кото-

рого представлена на схеме 79. Из 79 посредством образования подлежащего-копии получаем 80. В результате элиминации второго экземпляра падежного элемента L (и элиминации предлога при подлежащем) структура 80 преобразуется в структуру 81; в то же время, если первый экземпляр падежного элемента L заменяется соответствующим местоимением (в данном контексте — it), то в результате получается структура 82 ⁴⁶.

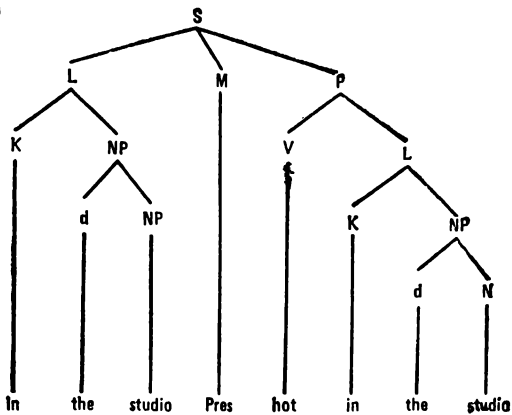


При определенных условиях первый экземпляр падежного элемента может быть замещен эксплетивным местоименным наречием *there*. Падежная рамка [____ O + L] может быть заполнена «пустым» глаголом (то есть нулевой лексемой). В таком случае (то есть в случае безглагольного предложения) может потребоваться введение элемента *be* 'быть'

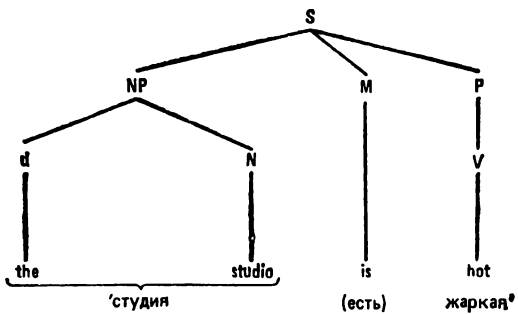
⁴⁶ Возможно, что правильный анализ копирования подлежащего должен быть несколько иным. Есть основания полагать, что при замене местоимением первого экземпляра падежного элемента второй экземпляр оказывается вне пропозиционной составляющей P, то есть он «вынесен» из нее <extraposed> в смысле Розенбаума. Если это действительно так, то тогда, поскольку вывод предложений с применением «вынесения» все равно происходит в два шага, можно считать, что подлежащее-придаточное предложение образуется не путем копирования, а обычным способом, а затем оно «выносится» из предложения, оставляя вместо себя «след» в виде эксплетивного местоимения *it*.

Примеры и анализ выражений с глаголами, обозначающими метеорологические явления, взяты из работы L a n g e n d o e n, 1966.

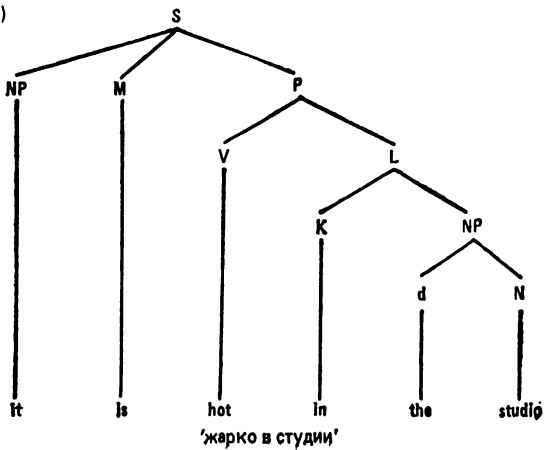
(80)



(81)

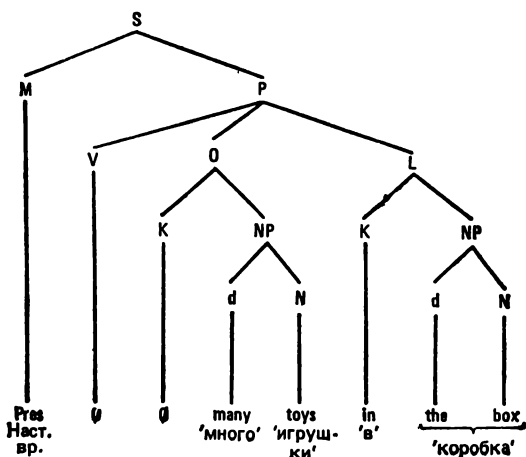


(82)

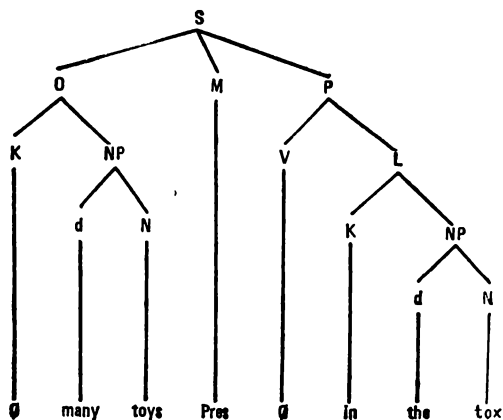


В составляющую M, что мы уже видели, во-первых, в случае глаголов, являющихся на самом деле прилагательными, а во-вторых, в случае глаголов, которые были модифицированы посредством добавления к ним признака [+ пассив]. Для безглагольных предложений типа [___O + L] в качестве «нормального» подлежащего обычно выбирается O. Тогда из структуры 83 мы получаем сначала структуру 84, а затем в конце концов структуру 85.

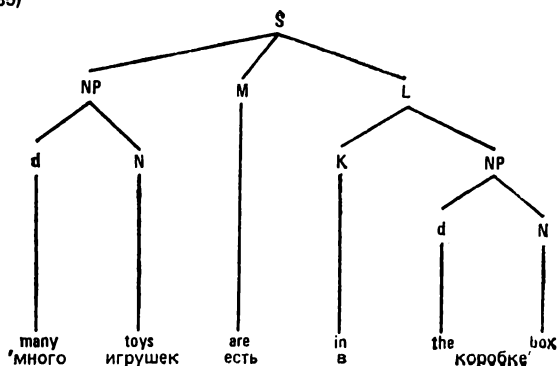
(83)



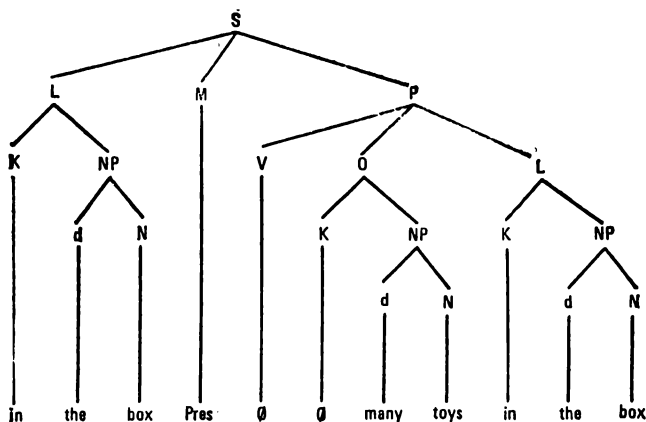
(84)



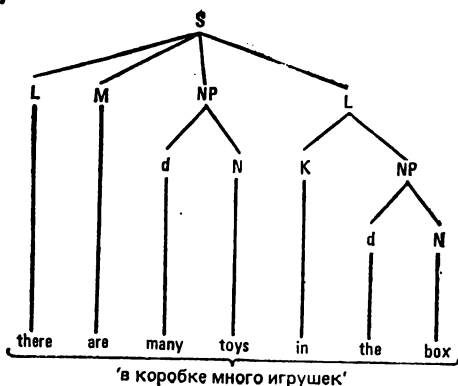
(85)



(86)



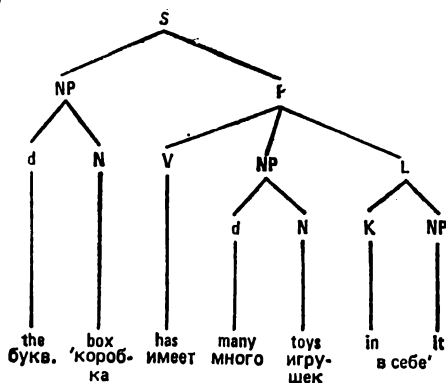
Другой альтернативой является выбор в качестве подлежащего второго экземпляра падежного элемента L. Тогда из структуры 83 можно получить структуру 86. В безглагольных предложениях местоимением-заместителем для падежа L является эксплетивное (безударное) местоименное наречие *there*. Посредством замещения этим местоименным элементом падежа L, стоящего в позиции подлежащего, из 86 получается 87; при этом в структуре 87 уже осуществлено то вынесение второго экземпляра падежа L, которое предлагалось в сноске 46.



Вместо замещения первого экземпляра падежного элемента L эксплетивным *there* можно сохранить эту первую NP, реализующую падеж L, в качестве подлежащего. При таком решении потребуется обычная прономинализация повторяющейся NP. Кроме того, при этом решении потребуется мена глагола: позиция глагола, до сих пор пустая, должна быть заполнена служебным глаголом *have* 'иметь'⁴⁷. Поскольку *have* — это ненулевой глагол, время может включиться в него, и тогда отпадает необходимость во введении вспомогательного элемента *be* в составляющую M. В результате выбора первого L в качестве подлежащего после применения трансформаций элиминирования предлога при подлежащем, вставления глагола *have*, элиминирования предлога при прямом дополнении, прономинализации повторяющейся NP и присоединения морфемы времени возникает структура 88.

Общая установка, которой я придерживаюсь по отношению к глаголу *have*, состоит в том, что в безглагольных предложениях (то есть в таких, где составляющая V есть, но она лексически пуста) вставление глагола *have* обязательно при условии, что подлежащим является такая NP, которая происходит не из падежа O. Наиболее наглядно такой слу-

⁴⁷ О новых доводах в пользу того, что глаголы *be* 'быть' и *have* 'иметь' во всех их значениях должны вводиться трансформациями, см. *Bach*, 1967. Для предложений со значением существования более тщательное описание можно найти в *Lee*, 1967.



чай представлен употреблением пустого глагола в рамке [____ O + D]; в этом контексте подлежащим в английском языке должен становиться падежный элемент D, что дает нам типичные предложения с глаголом *have*. В других языках, например во французском, встречаются контексты, где выбор подлежащего кажется произвольным — это ситуации, в которых выражение вида *X a Y* 'X имеет Y' является перифразой выражения вида '*Y est à X*' 'Y есть у X-а'. В третьих же языках, например в эстонском, вообще нет глаголов, эквивалентных английскому *have* ⁴⁸.

Некоторые языки используют процессы образования подлежащего, но, кроме того, как было показано на примере английского языка, в них имеют место, по-видимому, и аналогичные процессы образования прямого дополнения, и в результате в поверхностной структуре та или иная именная группа оказывается более тесно связанной с глаголом, чем другие.

Тот факт, что понятие прямого дополнения носит скорее формальный, чем чисто содержательный характер, был замечен еще Есперсеном. Его примеры (J e s p e r s e n, 1924,

⁴⁸ Еще одна ситуация, в которой требуется введение глагола *have*, чтобы описать соотношение между такими парами предложений, как (i) и (ii), рассматривается ниже, в разделе о неотчуждаемой принадлежности.

i. My knee is sore.
ii. I have a sore knee.

'Моя коленка содрана.'
буков. 'Я имею содранную коленку.'

р. 162) демонстрируют наличие перифрастических отношений между разными структурами (типа 89 и 90) внутри одного языка и различия в оформлении содержательно одинаковых конструкций (типа 91 и 92) в разных языках.

- (89) present something to a person
'подарить что-либо некоторому лицу'
- (90) present a person with something
'одарить некоторое лицо чем-либо'
- (91) furnish someone with something
'обеспечивать кого-либо чем-либо'
- (92) *fournir quelque chose à quelqu'un*
'обеспечивать что-либо кому-либо'.

Исследуя такие явления, Барбара Холл принимала одну из двух форм построения предложения за исходную, а другую считала производной от нее. В соответствии с ее анализом «производное подлежащее» возможно только в том случае, когда нет «глубинного подлежащего»; в то же время «производное прямое дополнение» обладает свойством вытеснять исходное прямое дополнение, если оно присутствует в глубинной структуре, с его места и добавлять к нему предлог *with*. В число примеров Барбары Холл входят и пары 93—94 и 95—96.

- (93) John smeared paint on the wall.
'Джон мазал краску на стену.'
- (94) John smeared the wall with paint.
'Джон мазал стену краской.'
- (95) John planted peas and corn in his garden.
'Джон посадил горох и кукурузу в своем саду.'
- (96) John planted his garden with peas and corn.
'Джон засадил свой сад горохом и кукурузой.'

Барбарой Холл были предложены и соответствующие правила, обеспечивающие перемещение элемента с локативным значением (*the wall* и *his garden* в предложениях 93 и 95 соответственно) в позицию прямого дополнения и приписывание бывшему прямому дополнению предлога *with*.

Встав на точку зрения, принятую в настоящей работе, будет столь же просто считать, что и у элемента *on the wall*, и у элемента *with paint* предлоги представлены в глубинной структуре с самого начала (как средства выражения падежных элементов L и I), а глагол *smeag* 'мазать' имеет такое синтаксическое свойство, что любой элемент, выбранный в качестве его «прямого дополнения», должен быть по-

мещен непосредственно после него и должен утратить свой предлог. (В других языках соответствующий процесс может быть представлен как превращение исходного значения падежа в «аккузатив»⁴⁹.)

Во всех случаях, где имеет место процесс образования подлежащего, этот процесс заканчивается тем, что глубин-

⁴⁹ Трансформационная трактовка подлежащих и дополнений наталкивается на некоторые семантические трудности того порядка, что выбор разных именных групп в качестве подлежащего или дополнения часто сопровождается семантическими различиями того или иного рода. Эти различия, будучи чрезвычайно тонкими, более, чем какие-либо другие, связаны с установлением «фокуса» и, скорее всего, все-таки не требуют фиксации «подлежащих» и «дополнений» еще на уровне глубинной структуры. Между двумя «фокусами» может быть крайне слабая разница, как, например, в парах i — ii и iii — iv, или же в нее может быть внесено несколько больше «познавательного содержания», как, например, в парах v — vi и vii — viii:

- i. Mary has the children with her.
букв. 'Мэри имеет (своих) детей с собой.'
- ii. The children are with Mary.
'Дети — (вместе) с Мэри.'
- iii. He blamed the accident on John.
'Он свалил-вину-за аварию на Джона.'
- iv. He blamed John for the accident.
'Он осудил Джона за аварию.'
- v. Bees are swarming in the garden.
'Пчелы кишат в саду.'
- vi. The garden is swarming with bees.
'Сад кишит пчелами.'
- vii. He sprayed paint on the wall.
'Он распылял краску на стену.'
- viii. He sprayed the wall with paint.
'Он опылил стену краской.'

В случае предложения vi, скорее всего, предполагается, что пчелами заполнен весь сад, тогда как для v это неверно; из предложения viii следует, что краской оказалась покрыта вся стена целиком, чего нельзя заключить из предложения vii.

Для других грамматик, пользующихся понятиями производного подлежащего и производного прямого дополнения (а для грамматик с противопоставлением подлежащего и дополнений это представляется единственно возможной альтернативой к тому, чтобы рассматривать глаголы типа *spray* 'распылять; опылить', *blame* 'осуждать, сваливать вину', *open* 'открывать(ся)', *break* 'ломаться' как запутанные и иначе необъяснимые случаи омонимии), указанные семантические сложности оказываются столь же серьезными, как и для падежной грамматики. Поскольку «семантический эффект» соответствующих трансформаций оказывается по своей сути слишком далеким от семантических ролей самих падежных отношений и поскольку падежные отношения этими процессами не затрагиваются, я склоняюсь к тому, чтобы снова считать допустимым присутствие в грамматической теории трансформаций, влияющих на семантику (в этих очень узких пределах).

ные падежные различия нейтрализуются, сводясь к одной и той же форме, обычно называемой «номинативом». Во всех случаях, где имеет место процесс образования прямого дополнения, он также вызывает нейтрализацию падежных различий, сводя их к одной и той же форме, которая традиционно именуется «аккузативом», при том условии, что она отлична от формы, придаваемой подлежащему. Третьим процессом, приводящим к стиранию падежных различий, имевших место в глубинной структуре, является номинализация предложений. В число падежных модификаций, возникающих при трансформациях номинализации, обычно входит то, что называется «генитивом».

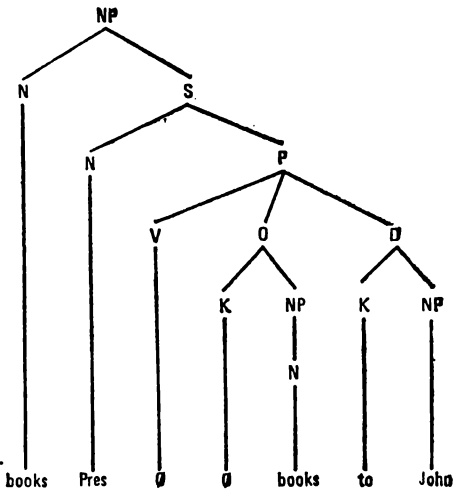
Коротко упомянув выше о таких ситуациях, когда имеется узел S, над которым доминирует падежный элемент O, я указывал тем самым один возможный способ описания в рамках падежной грамматики структуры таких предложений, в которых глагол или прилагательное выступает как грамматическое дополнение к некоторому слову *. Другой источник вывода придаточных предложений находится внутри самой NP. Правило развертывания NP может выглядеть следующим образом:

$$(97) NP \rightarrow N (S)$$

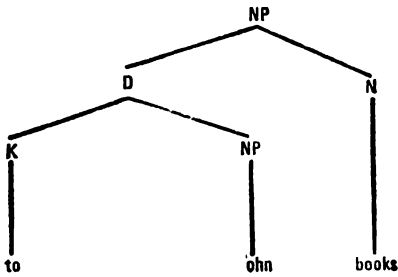
Если N — это обычная лексическая единица, а в примыкающем к ней S содержится кореферентная копия того же самого имени N, то результатом является именная группа, состоящая из имени существительного, которое имеет при себе определение в виде придаточного определительного предложения. Придаточные определительные, которые сами по себе принимали бы форму *X has Y* 'X имеет Y', как раз и представляются одним из наиболее очевидных источников генитива. Имя N в составе NP, к которой относится придаточное определительное, тождественно имени N, реализующему падеж D в придаточном предложении, а глагол V — пустой. Таким образом, из структуры 98 мы получаем 99 посредством элиминации повторяющегося имени, показателя времени и «пустого» глагола, а также возвращения падежа D к «главной» NP.

* Здесь имеется в виду такой глагол или прилагательное, который является главным словом придаточного предложения S, образующего собственно дополнение.— *Прим. перев.*

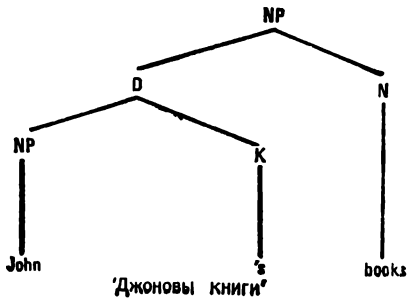
(98)



(99)



(100)



D, присоединяясь к NP, модифицирует свой падежный показатель — в данном случае в сибилантный суффикс. См. 100 на с. 442.

Источником «истинно посессивной» конструкции, выступающей в английском языке либо в форме *X's Y*, либо в форме *Y of X*, служит предложение, которое в самостоятельных употреблениях имело бы форму *X has Y* 'X имеет Y'. Тот факт, что в некоторых языках встречаются случаи примененного D, не превращаемого в «генитив» (*dem Vater sein Haus* 'дом отца', букв. 'отцу его дом' — «датель обладания»), подтверждает точку зрения, согласно которой превращение падежа D в «генитив» присуще поверхностной структуре.

Для отглагольных существительных мне представляется наиболее удовлетворительной следующая интерпретация: образование существительных от глаголов, за исключением вполне продуктивных случаев, — это факт истории языка, а не его синхронного состояния. Синхронное описание действительности состоит в констатации того, что данное существительное находится в некотором особом отношении с определенным глаголом (или множеством глаголов) и что одни из таких существительных могут, а другие должны выступать в составе именной группы в рамке [____S].

Иными словами, вместо того, чтобы иметь в грамматике синхронный процесс образования таких слов, как, например, лат. *amor* 'любовь', от соответствующего глагола, достаточно отнести такое слово к классу абстрактных существительных и указать, что оно состоит в некотором определенном отношении с глаголом *amo* 'любить'⁶⁰. Существительное, состоящее в подобном специальном отношении с тем или иным глаголом, может участвовать в таком процессе, при котором в именную группу включаются элементы, зависевшие в глубинной структуре от «исходного» глагола. Этот процесс часто приводит к тому, что форма зависевших от глагола NP превращается в генитив⁶¹. Так, на-

⁶⁰ Такой подход позволяет описывать аналогичным образом и существительные, не имеющие этимологической связи с соответствующими глаголами. Мы могли бы при желании усматривать связь такого же рода между словом *book* 'книга' и глаголом *write* 'писать', позволяющую объяснить неоднозначность словосочетания *your book* 'твоя книга', которое можно понять и как 'книга, которой ты владеешь' (обычное определение в виде придаточного предложения) и как 'книга, которую ты написал'.

⁶¹ Какие именно универсальные ограничения накладываются на элемент, обращаемый в генитив, и накладываются ли они вообще,

пример, существительное *amor* 'любовь' в том случае, когда оно имеет в качестве определения предложение вида *deus amat...* 'бог любит...', дает на поверхностном уровне словосочетание *amor dei* 'любовь бога', а когда оно определяется предложением вида *deum amat...* 'бога любит...', то результатом вновь оказывается словосочетание *amor dei* 'любовь к богу'. Другими словами, и D-формы и O-формы равным образом сводятся к генитиву; и тогда, если в соответствующем определительном придаточном предложении было только одно имя, в результате возникает потенциальная неоднозначность ⁵².

далеко не ясно. Чаще всего, если внутри данной NP есть только одно зависимое существительное, то оно и принимает форму генитива. Сравним неоднозначное предложение i с предложениями ii и iii.

- i. My instructions were impossible to carry out.
'Мои инструкции было невозможно выполнить.'
(a) so I quit.
'так что я и не стал делать этого'
(b) so he quit.
'так что он и не стал делать этого'
- ii. My instructions to you are to go there.
'Мои инструкции для вас — отправляться туда.'
- iii. *My your instructions are to go there.
'*Мои ваши инструкции — отправляться туда.'

Если в английском предложении, служащем источником номинализованной именной группы, есть две разных NP, удовлетворяющих условиям образования генитива с предлогом *of* и генитива на *'s*, то оказывается возможной конструкция с несколькими генитивами, вроде той, которую мы обнаруживаем в следующем примере Есперсена:

- iv. *Gainesborough's portrait of the duchess of Devonshire.*
'Портрет (работы) Гейнсборо герцогини Девоншир.'

В японском языке допускается обращение именных групп в генитив как в настоящих, так и в свернутых придаточных определительных предложениях. Предложение vi является перифразой предложения v; *no* — это послелог, который по своим функциям ближе всего к тому, что мы бы назвали генитивом:

- v. *Voku ga yonda zasshi.*
'Я + показатель подлежащего + читать — прош. вр. + журнал'
'Журналы, которые я читал.'
- vi. *Voku no yonda zasshi.*

⁵² Есперсен предложил считать, что неоднозначность словосочетания *amor dei* сосредоточена не столько в существительном, сколько в глаголе: существительное однозначно отождествляется с подлежащим, а глагол может неоднозначно трактоваться либо как активный, либо

4. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВ

На основе того, что было сказано, складывается примерно следующее представление об универсальной грамматике: в глубинной структуре предложения во всех языках имеется пропозиционное ядро, состоящее из глагола V и одной или более именных групп NP, каждая из которых находится в особом падежном отношении к ядру P (и, следовательно, к глаголу V). Именно на этом самом «глубинном» уровне следует искать наиболее явные черты сходства между глубинными структурами предложений в разных языках.

Правило лексического заполнения для глаголов чувствительно реагирует на наличие в ядре P определенного набора падежей. Поскольку в падежной грамматике нет необходимости различать «признаки синтаксических подклассов» <strict subcategorization features> и по крайней мере те «сочетаемостьные признаки» <selectional features>, которые обычно учитываются на самом высоком уровне НС-структуры (потому что существует избыточная информация об отношениях между падежами и некоторыми семантическими признаками лексем, а также потому, что в нашей грамматике нет «подлежащего» вне VP, для которого признаки должны были бы указываться отдельно), постольку правило лексического заполнения глубинной структуры для глаголов можно считать строго локальной трансформацией, при применении которой не учитывается ничего, кроме падежей, непосредственно входящих в одну составляющую с V (за исключением еще того, что, как отмечалось выше, должно быть известно, является ли элемент O именной группой, то есть NP, или предложением, то есть S).

Исходя из сказанного выше напрашиваются следующие критерии типологической классификации:

- I. Наличие или отсутствие таких специальных форм у NP, которые обусловлены соответствующими глубинно-падежными категориями

как пассивный. Это предположение следует понимать как гипотезу о том, что генитивным определением к отглагольному существительному может служить только та именная составляющая, которая может быть трансформирована в поверхностное подлежащее (при исходном глаголе). Вполне вероятно, что для английского языка эта гипотеза верна (см. Jespersen, 1924, p. 170; русск. перев.: Есперсен, 1958, с. 194).

- A. Природа таких форм (предлоги, аффиксы или что-либо другое)
 - B. Условия выбора конкретных падежных форм (в простейшем виде эти условия образуют то, что обычно подается в качестве «падежной системы» данного языка)
- II. Наличие или отсутствие модификаций согласования глагола
- A. Природа этого согласования (согласование по числу, инкорпорация в глагольную форму «следов» падежных элементов, изменение синтаксических признаков у глагола)
 - B. Отношение глагола к выбору подлежащего (выдвижение темы предложения)
- III. Природа анафорических процессов
- A. Тип процессов (замена на местоимение, элиминация, ослабление ударения, замена на безударный вариант или что-либо другое)
 - B. Условия применения
- IV. Процессы коммуникативного выделения <topicalization> (где «выбор подлежащего» при этом может рассматриваться как частный случай коммуникативного выделения)
- A. Формальная характеристика процессов (вынос составляющих в начальную позицию <fronting>, изменение падежных форм или что-либо другое)
 - B. Разнообразии способов коммуникативного выделения в одном и том же языке
- V. Возможности выбора порядка слов
- A. Факторы, определяющие «нейтральный» порядок слов (природа падежных категорий, «ранжирование» именных классов, выбор темы или что-либо другое)
 - B. Условия, определяющие или ограничивающие стилистические изменения порядка слов

Важно понимать, что все эти типологические критерии основаны на учете поверхностных процессов, и нет особенных оснований а priori рассчитывать на то, что группировка языков мира на основании различных критериев окажется в значительной степени сходной.

4.1. Основания для определения падежных форм

Форма именных групп в составе Р определяется на основе множества факторов, одним из которых является падежная категория именной группы. Так, именная группа, над которой в НС-структуре доминирует категориальный символ падежа I (то есть имя-инструмент), получает ту или иную конкретную форму, целиком или частично зависящую от того, что над данной группой доминирует именно падеж I.

Система падежных форм именных групп особенно развита у личных местоимений. Изучение систем местоимений с «падежной» точки зрения раскрывает многие тонкости, касающиеся многообразия тех отношений, которые могут наблюдаться между глубинными и поверхностными падежами.

Типологические различительные признаки, введенные Сепиром (Sapir, 1917) для местоименных систем языков американских индейцев, в терминах падежной грамматики могут быть выражены очень просто. Если не принимать во внимание всякие сложности, которые могут иметь место в «пассивных» конструкциях, и если пренебречь всеми глубинными падежами, за исключением А и О, то можно представить себе следующие три типа предложений (заданные глубиной формой их пропозиционного компонента):

- (а) $V + A$ предложения с активным «субъектом» при непереходном глаголе;
- (б) $V + O + A$ предложения с переходным глаголом и с выраженным при нем агенсом;
- (в) $V + O$ предложения с неактивным «субъектом» при непереходном глаголе.

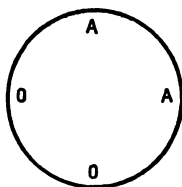
Поскольку элемент V одинаково присутствует во всех этих формулах, мы можем представить эти три типа предложений, записав их падежные рамки в три строки, следующим образом:

(101)

	A	
O		A
	O	

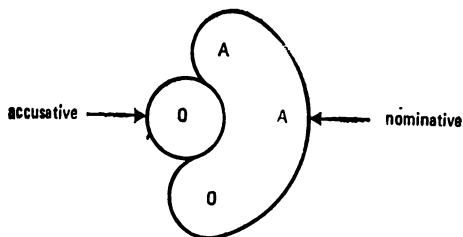
Тогда, по Сепиру, получается, что есть языки, в которых, как в языке яна <Yana>, существует ровно одна форма для местоимений, выступающих во всех этих четырех позициях:

(102)



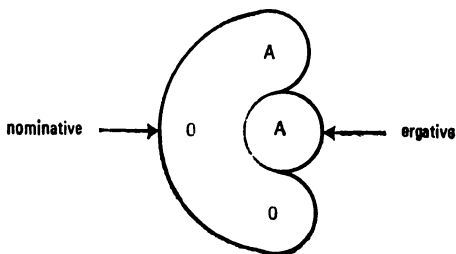
Есть языки типа языка пайют <Paiute>, в которых присутствует отдельная форма для элемента О в предложении с переходным глаголом, в то время как все прочие формы совпадают. Такие две формы традиционно называются «номинативом» и «аккузативом».

(103)



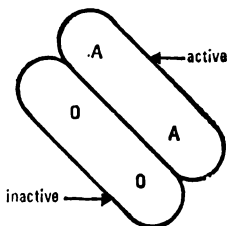
Есть языки типа языка чинук <Chinook>, в которых одна форма приписывается элементу А в предложении с переходным глаголом, а другая форма — всем прочим падежам. При таком противопоставлении эти две формы часто называют «эргативом» и «номинативом».

(104)



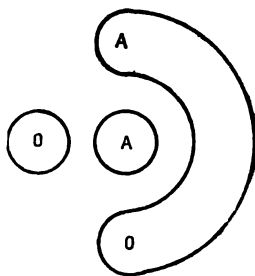
Есть языки типа языка дакота <Dakota>, в которых существуют отдельные формы для элемента А и для элемента О; в таких случаях обычно говорят об «активном» и «неактивном» падеже.

(105)



И наконец, может иметь место ситуация, наблюдаемая в языке такелма <Takelma>, когда существует одна форма для местоименной NP в предложениях с непереходным глаголом и две отдельные формы для А и О в предложениях с переходным глаголом. Таким образом:

(106)



Эти наблюдения приведены здесь мною всего лишь в расчете на то, что, если я правильно понимаю проведенный Сепиром анализ местоименных систем в этих языках, то рассмотренные мною падежные элементы в совокупности с понятием типов элементарных предложений, которые определяют различные их наборы, могут с успехом служить категориальной и конфигурационной информацией для определения поверхностных различий, обнаруживаемых в данных языках.

4.2. Глагольное согласование

Всеми этими различными способами — наряду со многими другими — падежи и падежные окружения влияют на определение падежных форм именных составляющих, входящих в Р. Дополнительным фактором в языках, в которых наблюдаются процессы образования подлежащего, является выбор данной NP в качестве подлежащего. Выбор подлежащего, или темы (topic), связан также еще с одним аспектом поверхностной структуры предложений, а именно — с глагольным согласованием.

В английском языке выбор подлежащего всегда сопровождается согласованием по числу (у тех глагольных и вспомогательных элементов, которые способны выражать согласование по числу). Помимо согласования по числу выбор подлежащего может сказываться на глаголе таким образом, что глагол переводится в пассив или же в предложение вводится глагол *have* 'иметь'.

Информация, «регистрируемая» в глаголе, может быть связана только с выбором одного подлежащего, как в английском, или может носить более сложный характер. Язык, в котором в глагол «инкорпорируются» местоименные аффиксы, допускает подобные явления одновременно для более чем одной NP; иногда же в глагольное выражение могут инкорпорироваться сами корни существительных, реализующих определенные падежи⁵³.

Обсуждавшиеся выше правила выбора подлежащего в английском языке можно сравнить с процессами выбора темы (топикализацией), засвидетельствованными в филиппинских языках. Ситуация, имеющая место в языке маранао, недавно была описана Мак-Кауганом. В каждом предложении одна из NP выбирается в качестве темы, и этот выбор отражается следующим образом: предлог, выражавший исконный падеж этой NP, замещается показателем *so*, а в глагол вводится аффикс, показывающий исходную падежную категорию выбранной NP. В выборе темы, по-видимому, существует достаточная свобода. Так, например, для глагола, обозначающего 'забивать, разделывать' (/sombaliʔ/), мы наблюдаем следующее: если темой является существи-

⁵³ Грамматические средства, позволяющие описывать согласование этого типа, были разработаны для языка могавок Полом М. Посталом (Postal, 1963).

тельное, которое исходно выступало в падеже I, то глагол принимает префикс /i-/, что видно в предложении 108, а если темой становится прежний падеж B, то к глаголу прибавляется суффикс /-an/, как видно из 109.

- (107) *somombali*' so mama' sa karabao.
'Разделявает человек карабао *.'
(то есть 'Человек разделявает карабао.')
- (108) *isombali*' o mama' so gelat ko karabao.
'Разделявает человек ножом карабао.'
(Это ножом человек разделявает карабао.)
- (109) *sombali*' an o mama' so major sa karabao.
'Разделявает человек для майора карабао.'
(то есть 'Это для майора человек разделявает карабао.')
- ⁵⁴
- .

Выбором в качестве подлежащего, или в качестве «темы», предложения некоторой именной составляющей, реализующей определенный падеж, по-видимому, лучше всего объясняется многообразие залоговых модификаций глагола, таких, например, как те, что фигурируют под названиями среднего, псевдовозвратного залогов и т. п. в описаниях индоевропейских языков.

4.3. Анафорические процессы

Наилучшее понимание анафорических процессов достигается с позиций расширенного представления о сочинении предложений, а именно: во всяком языке существуют средства упрощения предложений, соединенных сочинительными или подчинительными союзами, и те процессы, которые имеют место в этих условиях, являются, по-видимому, точно такими же, как и в случае предложений, связанных между собой в пределах текста. Таким образом, задача лингвиста состоит в том, чтобы описать, как происходят эти процессы в предложениях, понимаемых независимо друг от друга, а затем предположить, что высказывания в связных текстах или диалогах могут быть поняты наилучшим обра-

* Карабао — вид буйвола (так называемый «водяной буйвол»), разводимый на Филиппинских островах.— *Прим. перев.*

⁵⁴ См. Mc K a u g h a n, 1962. Примеры и описание отношений взяты из этой работы, однако моя интерпретация во многом основывается на догадках.

вом исходя из того, что и говорящий, и слушающий обладают некоторыми общими знаниями об анафорических процессах, имеющих место в данном языке⁵⁵. Поэтому тот факт, что в английском языке в подобных анафорических или сокращенных формах происходит замена в тех условиях, в которых в других языках требовалась бы элиминация, может рассматриваться как одно из поверхностных различий между двумя языками.

Это довольно важный момент (мы уже упоминали о нем выше в связи с «плохими» аргументами против универсальности противопоставления «подлежащее — сказуемое» внутри предложения), постольку поскольку отсутствие подлежащего в окончательной поверхностной форме предложений в некоторых языках многим ученым представляется крайне существенным с типологической точки зрения. Факкультативное отсутствие именных составляющих в языках с инкорпорацией личных показателей в глагол (например, в языке чинук) привело ученых к утверждению о том, что в таких языках отсутствуют нексусные отношения, которые обычно трактуются европейцами как «подлежащее» и «прямое дополнение», а вместо этого имеется нечто описываемое как «аппозиционные» отношения между NP и V (см. S o m m e r f e l t, 1937). Среди языков, в которых нет инкорпорации местоимений в глагол, некоторые ученые различают языки с истинным противопоставлением «подле-

⁵⁵ Другими словами, лингвист будет описывать процесс, в результате которого предложение i превращается в предложение ii следующим образом: он должен указать условия, при которых повторяющиеся элементы в сочиненных предложениях могут подвергаться элиминации или замене на местоимения и при которых к сочиненным предложениям могут прибавляться слова типа too 'также' или either 'тоже (не)'.
i. Mary didn't want any candy and Mary didn't take any candy.
'Мэри не хотела никакой конфеты, и Мэри не взяла никакой конфеты.'
ii. Mary didn't want any candy and she didn't take any either.
'Мэри не хотела никакой конфеты, и она не взяла никакой.'

Если в некотором контексте информация, содержащаяся в первом из сочиненных членов, уже известна говорящему (например, он сам только что сказал это), то носитель английского языка чувствует себя вправе употребить сокращенную форму iii:

- iii. She didn't take any either.
'Она и не взяла никакой.'

Как мне кажется, нет оснований ожидать, что предложения типа iii будут порождаться грамматикой непосредственно.

жащего» и «сказуемого» и языки, в которых так называемое «подлежащее» на самом деле так же «дополняет» глагол, как и прямое дополнение или любой из различных обстоятельственных элементов. По мнению Мартине, подлежащее отличается от дополнения только тогда, когда оно является «конституирующим элементом минимального высказывания» (Martinet, 1962a, p. 61—62), то есть если его присутствие обязательно как в полных, так и в анафорически сокращенных высказываниях. В японском языке подлежащее в «минимальном высказывании» отсутствует, и, следовательно, по логике вещей получается, что в японском предложении отсутствует та структура «подлежащее/сказуемое», которая имеется в более знакомых нам языках. Для ученика Мартине Сен-Жака этот типологический «факт» японского языка представляется необыкновенно важным. Для понимания истинной природы японского языка необходимо освободиться от привычных способов думать о языке, а европеец может достигнуть этого лишь ценой значительных умственных усилий, во всяком случае, так уверяет нас Сен-Жак (Saint-Jacques, 1966, p. 36). Мне же кажется, что лингвистическая типология и без того представляет немало моментов, достойных искреннего удивления и восхищения, так что мы вполне можем обойтись без этого. Те интеллектуальные достижения, о которых говорит мсье Сен-Жак, состоят всего лишь в осознании того, что, когда приходится иметь дело с «подразумеваемой» NP, одни люди заменяют ее местоимением, а другие просто избавляются от нее.

4.4. Коммуникативное выделение

Четвертый критерий имеет отношение к процессам коммуникативного выделения (топикализации), то есть к средствам вычленения некоторой составляющей предложения в качестве «темы» или представления ее в позиции своего рода «фокуса». Там, где коммуникативное выделение не связано с процессами «подчеркивания» (эмфазы) некоторой составляющей, мы имеем дело в значительной степени с тем же самым, что выше было названо мною «процессом образования подлежащего», а теперь будет называться «первичным коммуникативным выделением». Первичное коммуникативное выделение в английском предусматривает соответствующую

щий порядок слов и согласование по числу; стилистические же изменения, включающие логическое ударение, изменения порядка слов и, возможно, конструкции с «расщеплением предложения»*, попадают под то понятие, которое можно было бы назвать «вторичным коммуникативным выделением». Насколько я понимаю описание Мак-Каугана (MacCaughan, 1962, p. 47), первичное коммуникативное выделение в языке марао предусматривает замену исходного предлога при существительном на *so* и включение соответствующего падежного индикатора в глагол, тогда как вторичное коммуникативное выделение производится за счет перенесения той NP, к которой было прибавлено *so*, в начало предложения. В качестве образца исследования вторичного коммуникативного выделения можно привести работу Эртеля по абсолютному употреблению <disjunct use> падежей в текстах брахман⁵⁶. Я легко могу себе представить, что какие-то средства для осуществления вторичного коммуникативного выделения есть во всех языках, но вполне может быть, что процессы первичного коммуникативного выделения (образования подлежащего) в некоторых языках отсутствуют⁵⁷.

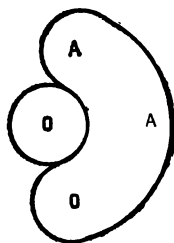
* Конструкции с «расщеплением предложения» — это так называемые *cleft constructions*, то есть характерные для английского языка конструкции с формально выделенной ремой высказывания типа *It is to John that I spoke* или *It is Italian that she speaks best*. В русском языке их аналогами могут служить конструкции типа *С кем я люблю говорить — так это с дедом*, или разговорные конструкции типа *Это с дедом я люблю говорить больше всего*. — Прим. перев.

⁵⁶ Oertel, 1936. В этой работе различаются «независимое» <dependent> употребление абсолютного падежа, когда вынесенная «тема» стоит в номинативе, даже если ее исходной ролью в предложении не была роль подлежащего (как я полагаю, это можно сравнить с употреблением местоимения *he* 'он' в предложении *he, I like him* 'Он — так его я люблю'), и «пролептическое» <proleptic> употребление, когда вынесенная тема сохраняет исходную падежную форму, ставится в начале предложения и может повторяться или не повторяться (в виде указательного местоимения) в заключительной части предложения (это можно сравнить с употреблением местоимения *him* 'его' в предложении *him, I like him*) 'Это *ero* — (*ero*) я люблю'.

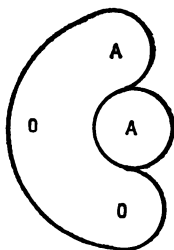
⁵⁷ В своем недавнем исследовании коммуникативного выделения в детской речи Джеффри Грубер (Gruher, 1967) предполагает, что онтогенетически мотивированное (в моих терминах — вторичное) коммуникативное выделение в английском предшествует использованию формальных подлежащих. Вероятно, в тех случаях, когда одно из средств коммуникативного выделения становится «привычным», оно застывает, превращаясь в формальное требование языка, и тогда уже

Понятие «образование подлежащего» оказывается полезным только в тех случаях, когда в языке есть предложения, которые допускают выбор разных подлежащих. В языках, которые описываются как не имеющие пассивов или допускающие для предложений с переходным глаголом только пассивное построение, нет, по-видимому, и грамматического оформления для первичного коммуникативного выделения.

Этот вопрос естественным образом приводит нас к проблеме так называемых «эргативных» языков. Напоминаю, что для местоименных систем с аккузативом схема выглядит следующим образом:



а для систем с эргативом — так:

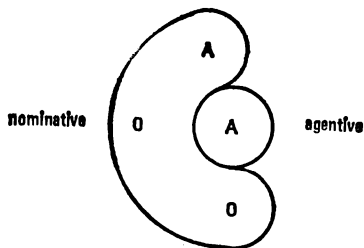


Вместе с тем, когда в языке с аккузативом выступает пассивный вариант предложения, пропозиционная форма которого [V O A], падежными формами элементов в таком пас-

в языке возникает необходимость развивать другие средства для выражения мотивированного коммуникативного выделения.

Кеннет Хейл (Hale; частная переписка, 1967) сообщил мне, что в вальбири <Walbiri> — «эргативном» языке австралийских аборигенов — процессы образования подлежащего, по-видимому, отсутствуют, однако любая составляющая предложения может быть повторена после него еще раз, а первое ее вхождение в предложение заменено на соответствующее местоимение.

сивном варианте обычно являются «номинатив» для падежа О и «агентив» (реализуемый в виде аблатива, инструменталиса или чего-либо еще в зависимости от языка) для падежа А. Если ввести пассивные предложения в нашу трехстрочную схему, а соответствующие им активные варианты убрать, то мы получим следующую модель:



что в точности совпадает с обычным способом приписывания падежей в эргативных языках. Этот факт плюс употребление термина «номинатив» для субъекта-при-непереходном-глаголе-и-для-объекта-при-переходном-глаголе привели многих ученых к мысли о том, что эргативный падеж в эргативных языках можно отождествить с агентивной падежной формой, выступающей в пассивных предложениях языков с аккузативом, и, исходя из этого, заключить, что на самом деле эргативные языки являются языками «пассивными», то есть языками, в которых предложения с переходным глаголом могут быть построены только пассивно⁸⁸. В языках обеих систем падеж, который был назван номинативом, часто описывается как подлежащее в конструкции «подлежащее/сказуемое», а «эргативный» элемент в одной системе и «аккузативный» элемент в другой системе трактуются как приглагольные дополнения (см. Т r u b e t z k o y, 1939). Трудности определения «подлежащего» в эргативных языках были описаны у Мартине (M a r t i n e t, 1962b, p. 78 и сл.). Одни ученые считают подлежащим то слово, которое было бы подлежащим

⁸⁸ Заметим, что, даже если в падежных рамках [_____О] и [_____О + А] выступают разные глагольные формы, это еще не свидетельствует о «пассивности». Как упоминалось ранее, и в неэргативных языках от одного и того же глагольного корня все равно могут регулярно образовываться разные формы в зависимости от того, употребляется данный глагол переходно или непереходно.

в переводе предложения с эргативного языка на французский, то есть номинатив в предложениях с непереходным глаголом и эргатив в предложениях с переходным глаголом. Другие принимают номинатив в качестве подлежащего всех предложений, интерпретируя тем самым предложения с переходным глаголом как пассивные. Лафон же (Lafon) вообще отказывается от характеристики предложений с переходным глаголом; он пользуется термином «подлежащее» только для предложений с непереходным глаголом, говоря, что в предложениях с переходным глаголом просто нет подлежащего.

С другой стороны, Вайан выделяет в северных кавказских языках три типа глаголов: (а) истинно непереходные, с подлежащим в «номинативе»; (б) «оперативные псевдопереходные», с «псевдоподлежащим» в «эргативе» и (в) «аффективные псевдопереходные», с «псевдоподлежащим» в «дative» (V a i l l a n t, 1936, p. 93). Представляется вполне очевидным, что то, с чем он имеет дело,— это предложения, у которых компонент Р относится к одному из следующих трех типов: [V O], [V O A] и [V O D], а поверхностными надеждами для выражения элементов O, A и D являются «номинатив», «эргатив» и «дative» соответственно. Похоже, что сказать здесь больше нечего. Со своей стороны я бы предпочел скорее говорить относительно эргативных языков, что в них отсутствуют процессы образования подлежащего, чем утверждать, что все предложения с переходным глаголом подвергаются обязательной пассивизации, либо что только некоторые предложения в этих языках имеют настоящее подлежащее, тогда как в других предложениях его нет.

Частые заявления о том, что эргативные языки будто бы более примитивны, чем языки с аккузативом (см. T e s p i è g e, 1959, p. 112), наряду с предположением о том, что эргативная конструкция в действительности является пассивной конструкцией, привели к тому, что некоторые ученые, такие, как Курилович, Шухардт и Уленбек, стали предполагать, что для предложений с переходным глаголом пассивная конструкция представляет собой более примитивную стадию в процессе эволюции языка, чем активная конструкция. К числу свидетельств, говорящих в пользу этой точки зрения, можно отнести и то, что индоевропейский праязык якобы был языком эргативного строя, а также тот факт, что некоторые языки «изобрели» для себя гла-

голы, подобные глаголу *have* 'иметь', в сравнительно недавнее время. Введение в обиход глаголов типа *have* сделало возможным выражение в языке с помощью активной конструкции некоторых временных или видовых форм глагола, которые до того оставались незатронутыми общим переходом от пассивного способа выражения к активному (это видно на примере происшедшего около третьего века сдвига от употребления выражений типа *inimicus mihi occisus est* букв. 'враг мне (то есть 'мною') убит есть' и *mihi illud factum est* букв. 'мне (то есть 'мною') это сделано есть' к употреблению переходных конструкций с глаголом *habeo*: *inimicum occisum habeo* букв. 'врага убитого имею' и *habeo illud factum* букв. 'имею это сделанное' (см. van Ginneken e n, 1939, p. 86)).

Мне кажется весьма маловероятным, что те синтаксические изменения, о которых нам известно при нынешнем состоянии наших знаний, действительно способны свидетельствовать об интеллектуальной эволюции такого типа, какой мог бы быть признан хоть в какой-то степени таким же потенциально значимым, каким можно представлять себе переход от принципиально пассивного к принципиально активному взгляду на мир. Утверждение Ван-Гиннекена о связи между эргативностью и «женским» характером культур у народов, пользующихся эргативными языками, — это еще одно утверждение, в котором можно было бы усомниться⁶⁹.

⁶⁹ Следующая цитата заслуживает, как мне кажется, того, чтобы привести ее полностью (van Ginneken e n, 1939, p. 91 и сл.):

«Все мы люди и у всех у нас есть два таланта: более активные способности — иметь желания и волю и более пассивные способности — иметь чувства и восприятия; очевидно, однако, что между представителями двух полов в человеческом обществе в этом отношении обнаруживается ощутимая разница.

Современная этнография, которая решительно отвергла доктрину единообразного развития всех культур как несостоятельную, учит нас в то же время, что почти во все времена прогресс человечества колебался между более женскими и более мужскими культурами, именуемыми культурами матриархальными и патриархальными; именно у резко выраженных матриархальных культур типа баскской переходный глагол всегда носит пассивный характер, так что объект, на который направлено действие, выражается при нем прямым падежом, а агент действия — косвенным падежом; у патриархальных же культур типа индоевропейской переходный глагол носит активный анимистический, магический характер, с подлежащим в прямом падеже и дополнением в косвенном падеже. Таким образом, у всякого народа представлен тот глагол, какого он заслуживает».

4.5. Различия в порядке слов

Пятый критерий, предложенный для типологии языков,— это критерий порядка слов. Похоже, что переменные, обуславливающие или ограничивающие свободу слово-расположения в языках мира, во многих важных отношениях связаны с падежной структурой предложений; но это уже относится к той области, которой я совсем не занимался.

5. ГРАММАТИКА НЕОТЧУЖДАЕМОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В предыдущих разделах было предложено неформальное описание некоторой синтаксической модели языка и приведено несколько примеров того, как действует эта модель в рамках так называемой «переформулировочной лингвистики». В настоящем разделе я попытаюсь показать, как некоторая конкретная содержательная модификация правил позволяет единообразно описывать интересную серию грамматических фактов, связанных с тем, что называют «неотчуждаемой принадлежностью».

Во всяком языке наверняка можно найти существительные, выражающие такие понятия, которые в основе своей являются отношениями. Примерами таких имен-отношений в английском служат слова *side* 'сторона', *daughter* 'дочь' и *face* 'лицо'. Обычно не говорят просто о стороне, а говорят о стороне чего-нибудь; не говорят о ком-то, что это просто дочь, а говорят, что это чья-то дочь; и если в общем-то говорящий может сказать, что он видел просто лицо, более типичным будет все-таки употребить это слово, говоря о «его лице», или о «твоем лице», или о чем-то подобном. Наиболее часто в лингвистической литературе встречаются как раз обсуждения названий частей тела и терминов родства. Мои рассуждения будут сосредоточены вокруг частей тела.

5.1. Языковые данные

5.1.1. Во всех индоевропейских языках существуют важные синтаксические соотношения между дативом и генитивом, и, если верить Хаверсу (H a v e r s, 1911, S. 317), во всех этих языках, за исключением армянского, падежные

формы датива и генитива фигурируют в описаниях таких перифрастических отношений, которые вполне сопоставимы друг с другом в разных языках. Эти соотношения наблюдаются только в том случае, если существительное, вокруг которого строятся перифразы, относится к определенному типу. На примере предложений современного немецкого языка, приводимых Хаверсом, мы видим, что, в частности, предложения 111 и 112 являются перифразами друг друга, равно как и предложения 113 и 114, а предложение 116 в качестве перифразы предложения 115 оказывается грамматически неправильным.

- (111) Die Kugel durchbohrte dem Feind das Herz.
'Пуля пробила врагу сердце.'
(112) Die Kugel durchbohrte das Herz des Feindes.
'Пуля пробила сердце врага.'
(113) Er hat mir die Hand verwundet.
'Он ранил мне руку.'
(114) Er hat meine Hand verwundet.
'Он ранил мою руку.'
(115) Der Vater baute seinem Sohn ein Haus.
'Отец построил своему сыну дом.'
(116) *Der Vater baute ein Haus seines Sohnes.
'Отец построил дом своего сына.'

Следует заметить, что слова Herz 'сердце' и Hand 'рука' являются названиями частей тела, тогда как слово Haus 'дом' таковым не является.

5.1.2. Существуют случаи, подобные рассмотренным выше, когда в самом языке обнаруживаются интересующие нас перифрастические отношения, но существуют также и другие случаи, когда оказывается, что в одном языке выбирается выражение с дативом, а в другом — с генитивом. Для примера приведем здесь следующие предложения, тоже взятые из H a v e r s, 1911, S. 1:

- (117) My heart aches.— Mir blutet das Herz.
'Мое сердце болит.'— 'У меня (букв. 'мне') болит сердце.'
(118) Tom's cheeks burned.— Tom brannten die Wangen.
'Щеки Тома горели.'— 'У Тома (букв. 'Тому') горели щеки.'
(119) She fell on her mother's neck.— Sie fiel ihrer Mutter um den Hals.

‘Она кинулась на шею своей матери.’— ‘Она кинулась своей матери на шею.’

5.1.3. Существуют приименные (притяжательные) употреблений дати́ва; в частности, это происходит, когда одновременно с притяжательным местоимением используется название, обладаемого. Примеры на это явление можно легче всего обнаружить среди конструкций с терминами родства (H a v e r s, 1911, S. 283):

- (120) Dem Kerl seine Mutter.
букв. ‘этому парню его мать’ (то есть что-то вроде: ‘у этого парня его мать’).
- (121) Sa mère à lui.
букв. ‘его мать ему’ или ‘его мать у него’.

5.1.4. Во многих языках существуют особые притяжательные аффиксы для существительных, которые обозначают предмет, обязательно принадлежащий кому-либо (неотчуждаемая принадлежность), и свои аффиксы — для существительных, обозначающих предмет, который не обязательно принадлежит кому-либо (отчуждаемая принадлежность). В языке фиджи эта разница выражается, судя по всему, тем, что для обозначения отчуждаемой принадлежности притяжательная морфема ставится перед существительным, а для обозначения неотчуждаемой принадлежности — после него. Поскольку категория «неотчуждаемости» является скорее грамматической категорией, чем свойством объектов действительности (поскольку, иначе говоря, некоторые предметы, классифицируемые с точки зрения грамматики как неотчуждаемые, на самом деле вполне могут быть отделены от их «обладателей»), постольку это различие может наиболее отчетливо проявиться в том случае, если в сочетании с некоторым именным корнем окажутся возможными оба способа выражения. Леви-Брюль приводит убедительный пример такой ситуации (L é v y - B r u h l, 1916, p. 99): фиджийское слово *ulu* обозначает голову, которая сейчас крепко сидит у меня на плечах, тогда как *kequ ulu*, также переводимое как ‘моя голова’, будет относиться скорее к голове, которую я, скажем, собираюсь съесть.

В языках могут быть свои особые морфемы для указания на отчуждаемую и неотчуждаемую принадлежность, а среди этих морфем могут быть, помимо того, дополнительные противопоставления, в зависимости от типа неотчуждае-

мой принадлежности (так, в языке нутка к существительным, обозначающим физически неотделимые сущности — например, части тела, — прибавляется суффикс -ʔat, а для терминов родства используются другие морфологические средства); или же в языке может быть класс существительных, неспособных употребляться в виде свободных форм, то есть класс именных корней, обязательно требующих прибавления показателей принадлежности⁶⁰.

Признаки, которые проявляются во всех таких случаях, оказываются, как правило, в большей степени «грамматическими», чем чисто «понятийными». В работах на тему о неотчуждаемой принадлежности почти всегда содержатся списки существительных, относящихся к совершенно другому грамматическому классу, чем тот, который мы могли бы ожидать, исходя из их значения. Леви-Брюль (L é v u - B r u h l, 1916, p. 96) упоминает случай, когда слово со значением 'левая рука' грамматически функционирует как название части тела, но слово со значением просто 'рука' не имеет такого грамматического функционирования. Зато в языке арапахо как неотчуждаемая принадлежность классифицируется слово 'вошь' (или 'блоха') (S a l z m a n n, 1965, с. 139) — ситуация, располагающая к тому, чтобы те, кто любит рассуждать о таких вещах, могли построить то или иное предположение о восприятии самих себя носителями языка арапахо.

5.1.5. В недавних работах Милки Ивич проведено исследование разных типов того, что она называет «неопускаемыми определениями» (I v i ć, 1962; 1964). Среди приводимых ею примеров встречается много таких, в которых представлены существительные, часто относимые к категории неотчуждаемой принадлежности. Так, например, в сербохорватском выражении 122 прилагательное не может быть опущено, поскольку иначе получится грамматически неправильное выражение 123 (I v i ć, 1964, с. 477):

- (122) devojka crnih očiju
'девушка с черными глазами'
(123) *devojka očiju
*'девушка с глазами'

⁶⁰ Относительно последней ситуации иногда говорится, что имена «изменяются по лицам». (См. M a p e s s y, 1964, p. 468.)

Представительный перечень многообразных возможностей выражения неотчуждаемой принадлежности в различных языках американских индейцев приводится в S a r i g, 1917a.

Мне кажется, что в этой работе решение автора приписывать «категорию неопускаемости» прилагательным вводит читателя в заблуждение. Это равносильно тому, как если бы мы захотели сказать применительно к английскому предложению 124, что слово *missing* 'недостающий, отсутствующий' обладает какими-то важными грамматическими свойствами, поскольку, если его опустить, то получится предложение 125, несколько отличающееся по типу от исходного предложения; иными словами, в предложении 124 говорится не то же самое, что в предложении 126. Что действительно важно относительно предложения 124, так это возможность перифразировать его в виде 127 (или 128), а также тот факт, что конструкция, представленная в 124, допустима только с некоторыми видами существительных. Заметим, что предложение 129 уже не является грамматически правильным.

(124) I have a missing tooth.

букв. 'Я имею (один) отсутствующий зуб.'
[т. е. 'У меня недостает (одного) зуба.']

(125) I have a tooth.

букв. 'Я имею (один) зуб.' [т. е. 'У меня есть (один) зуб.']

(126) I have a tooth and it is missing.

букв. 'Я имею зуб, и он отсутствует.'

(127) My tooth is missing.

букв. 'Мой зуб отсутствует.' [т. е. 'У меня недостает зуба.']

(128) One of my teeth is missing.

'Один из моих зубов отсутствует.'

(129) *I have a missing five-dollar bill.

букв. 'Я имею (одну) отсутствующую пятидолларовую банкноту'.

5.1.6. Отметим, что в предложениях 124 и 127 имеют место три вещи: (а) некий обладатель (в традиционных терминах — «заинтересованное лицо»), (б) некая часть тела и (в) некий атрибут, то есть (а) I 'я', (б) *tooth* 'зуб' и (в) *missing* 'отсутствующий', и что в этих предложениях представлены альтернативные способы присоединения атрибута к названию части тела обладателя. Существует два различных поверхностных способа выражения этого отношения между тремя указанными понятиями.

Используя для указанных выше понятий (а), (б) и (в) обозначения Р, В и А, мы можем представить выражения

того типа, который имеет место в 124, в виде 130, а выражения того типа, который выступает в 127,— в виде 131.

(130) $P^{ном} have [A \rightarrow V^{акк}]$
'иметь'

(131) $[P^{ген} \rightarrow V] be A$
'быть'

Другими словами, тот же самый элемент, который в некоторых из приведенных выше перифраз выступал либо в форме датива, либо в форме генитива, здесь выступает как подлежащее глагола *have* 'иметь'. Балли, кстати, говорит об избречении глагола *have* с такой функцией, которая состоит как раз в том, чтобы дать возможность для *personne intéressée* «заинтересованного лица», которое иначе должно было бы выступать либо в форме датива, либо в форме генитива, стать в предложении подлежащим. Приводимые у Балли примеры всех трех поверхностных реализаций конструкций с местоимением первого лица в роли обладателя (*Ballu*, 1926, p. 75) даны ниже как предложения 132—134. Предложения 133 и 134 соответствуют типам выражения 130 и 131; тип выражения, представленный в предложении 132, дается в виде формулы 135.

(132) *Mihi sunt capilli nigri.*

'У меня (букв. 'мне') волосы — черные.'

(133) *J'ai les cheveux noirs.*

букв. 'Я имею черные волосы.'

(134) *Mes cheveux sont noirs.*

'Мои волосы — черные.'

(135) $P^{дат} [V^{ном} be A]$

'быть'

5.1.7. Анри Фрей в своей работе также рассматривает все это множество поверхностных представлений «одного и того же» предложения и добавляет к ним еще четвертый тип, промежуточный между типами, выраженными формулами 135 и 130. В качестве примера он приводит предложение 136 (оно же послужило названием для его статьи); это предложение воплощает в себе тип выражения, который мы бы записали в виде формулы 137.

(136) *Sylvie est jolie des yeux.*

букв. 'Сильвия красива глазами.'

(137) $P^{ном} be [A V^{косв}]$

'быть'

Фрей подчеркивает, что конструкция, которую мы видим в предложении 136, имеет отношение к категории неотчуждаемой принадлежности, поскольку предложения 138 и 139 допустимы, а 140 и 141 — нет.

- (138) Elle est fine de doigts.
букв. 'Она тонка [своими] пальцами.' [т. е. 'У нее тонкие пальцы.']
- (139) Elle est bien faite des jambes.
букв. 'Она хорошо сложена [своими] ногами.' [т. е. 'У нее красивые ноги.']
- (140) *Elle est fine d'étoffe.
букв. '*Она тонка [своей] тканью.'
- (141) *Elle est bien faite des vêtements.⁶¹
букв. 'Она хорошо сложена [своей] одеждой.'

5.1.8. Поскольку Фрей видит в этом противопоставлении результат попытки «сжать» в одно предложение два суждения, а именно: суждения, что *P имеет B* и что *B есть A* (в наших обозначениях), то он соотносит рассматриваемые конструкции с неоднократно обсуждавшимися конструкциями с «двойным подлежащим» в японском. В одном типе таких конструкций перед глаголом или прилагательным ставятся два существительных, причем первое из них сопровождается частицей *wa* (показывающей то, что я назвал «вторичным коммуникативным выделением»), а второе — частицей *ga* (частицей «первичного коммуникативного выделения»). (Возможные изменения в порядке и выборе частиц не меняют статуса конструкции в целом; описанная выше форма является

⁶¹ F r e i, 1939, p. 188. Круг существительных, с которыми допустимы такие выражения, ограничен словами, заведомо обозначающими отношения, а не только названиями частей тела. Фрей обращает внимание на существование таких выражений, как *des couloirs spacieux et bas de plafond* букв. 'просторные и низкие *потолком* коридоры' и *libre de tous droits* букв. 'свободный [своими] правами'. Он прекрасно показывает своеобразие предложений с неотчуждаемой принадлежностью по сравнению с внешне похожими, но имеющими другую грамматическую структуру предложениями на примере противопоставления таких предложений, как (i) и (ii) (F r e i, 1939, p. 186)

- i. La salle est pleine de visages.
'Комната полна лиц.'
- ii. La femme est pleine de visage.
'Женщина полна лицом.'

одной из стилистически наиболее нейтральных.) Второе из таких существительных относится к классу существительных типа неотчуждаемой принадлежности; первое же указывает на тот объект, по отношению к которому объект, называемый вторым существительным, является «неотчуждаемым». Избитым примером конструкции с двойным подлежащим является предложение 142, которое с некоторой натяжкой может стать перифразой 143. В предложении 143 по — это частица, которая по своим функциям наиболее близка к тому, что мы, скорее всего, назвали бы «генитивом».

(142) Zoo wa hana ga pagai.

‘Слон wa нос ga длинный.’

['Что касается слона, то нос (у него) длинный.']

(143) Zoo no hana ga pagai.

‘Слона нос длинный.’

5.1.9. Выражения, содержащие такие сущности, которые можно считать тесно связанными с понятием «заинтересованного лица», имеют уникальные грамматические свойства, что наблюдается при рассмотрении некоторых семантически не мотивированных употреблений «возвратных местоимений», а также параллелей, обнаруживаемых между такими выражениями и различными употреблениями «среднего залога». Связь с формами датива находит свое отражение в том, что в некоторых языках в особых ситуациях употребляется своего рода «датов возвратного местоимения». Ср. примеры 144 и 145.

(144) Se laver les mains.

букв. ‘Помыть себе руки.’

(145) Ich wasche mir die Hände.

‘Я мою себе руки.’

Связь между подобным употреблением «возвратного местоимения» и категорией неотчуждаемой принадлежности отмечалась еще у Балли, который указывал, что в примере 146 слово *jambe* ‘нога’ — это неотчуждаемая сущность, тогда как в примере 147 слово *jambe* может быть понято только (или, судя по ответам моих информантов, — также и) как некоторый независимо обладаемый предмет, такой, как, например, ножка стола.

(146) Je me suis cassé la jambe.

‘Я сломал себе ногу.’

- (147) J'ai cassé ma jambe.
букв. 'Я сломал свою ногу / ножку.'

Заметим, что именно слово *jambe*, при котором нет притяжательного местоимения, грамматически характеризуется как «обязательно обладаемое» (В а l l у, 1926, р. 68)!

5.2. Приименные дативы

Выше уже отмечался способ введения притяжательного определения: к NP подсоединяется придаточное предложение, которое само по себе имеет форму «*X имеет Y*». Поскольку желательно, чтобы придаточное предложение имело семантическую интерпретацию, способную войти составной частью в семантическую интерпретацию всего предложения, постольку представляется необходимым обращение к придаточному предложению как источнику посессивности для адекватного описания отчуждаемой принадлежности. Другими словами, можно довольствоваться тем, чтобы считать значение предложения 148 частью значения словосочетания 149, хотя для пары 150 и 151 это соотношение мы, вероятно, отвергли бы.

- (148) I have a dog.
букв. 'Я имею собаку.'
(149) my dog
'моя собака'
(150) I have a head.
букв. 'Я имею голову.'
(151) my head
букв. 'моя голова'

Для введения притяжательного элемента в случае неотчуждаемой принадлежности нужен такой способ, который отражал бы тот факт, что отношение между двумя существительными, одно из которых «неотчуждаемо принадлежит» другому, не может (согласно Фрею) соотноситься с содержанием целого предложения.

Для тех типов неотчуждаемой принадлежности, которые рассматривались до сих пор (в которых нечто принадлежало некоей одушевленной или «личной» сущности), требуемым решением было бы утверждение, что при некоторых существительных обязательно должно быть дативное дополнение

(D-дополнение). Это можно осуществить, добавив к грамматике еще одно правило развертывания именной группы, а именно правило 152.

(152) NP → N(D)

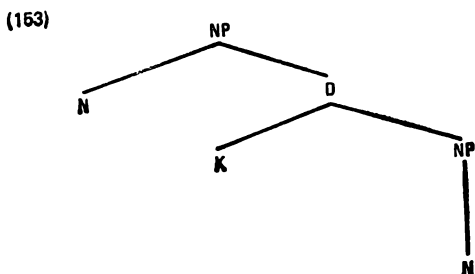
Точно так же, как рамочные признаки для V соотносились с окружениями у V, получающимися в результате развертывания составляющей P, рамочные признаки для N соотносятся с окружениями элемента N, получающимися при развертывании составляющей NP. Выше было предложено, чтобы тем N, которые обязательно имеют при себе в виде дополнения придаточное предложение S, приписывался признак +[____S]. Теперь вдобавок к этому можно приписывать признак +[____D] существительным, обязательно имеющим при себе D-дополнения; это и будут существительные, обозначающие неотчуждаемую принадлежность. Эта помета задает разбиение всех существительных на такие классы, в один из которых входят существительные, требующие наличия при себе D-дополнения (такие, как son 'сын', child 'ребенок' (в значении 'потомок'), нем. Mann в значении 'муж'), а в другой — существительные, при которых запрещается наличие D-дополнения (такие, как person 'лицо', child 'ребенок' (в значении 'лицо очень юного возраста'), нем. Mann (в значении 'человек, мужчина').

Теперь у нас в грамматике допускается два источника для порождения сочетаний существительного с определением, называющим обладателя (приименное D и приименное S определенного типа), благодаря чему обеспечивается различие глубинных структур, соответствующее поверхностным различиям между двумя типами притяжательных конструкций в языках, где существует явно выраженное противопоставление такого рода. В тех языках, где проводятся дополнительные различия (например, между частями тела и терминами родства), соответствующая информация, на которой должны основываться эти различия, может быть подана при самих существительных в виде их семантических признаков.

Итак, для NP, содержащей элемент D, предлагается общая конфигурация, показанная на схеме 153 (см. с. 469).

В одних случаях приименное D-дополнение остается в NP и фактически сохраняет поверхностные признаки, свя-

занные с элементом D, как в примере 154; однако более типичным для элемента D, находящегося внутри NP, является переход его в форму генитива, как в 155.



(154) secretary to the president
'секретарь при президенте' (или 'секретарь у президента')

(155) the president's secretary
'секретарь президента'

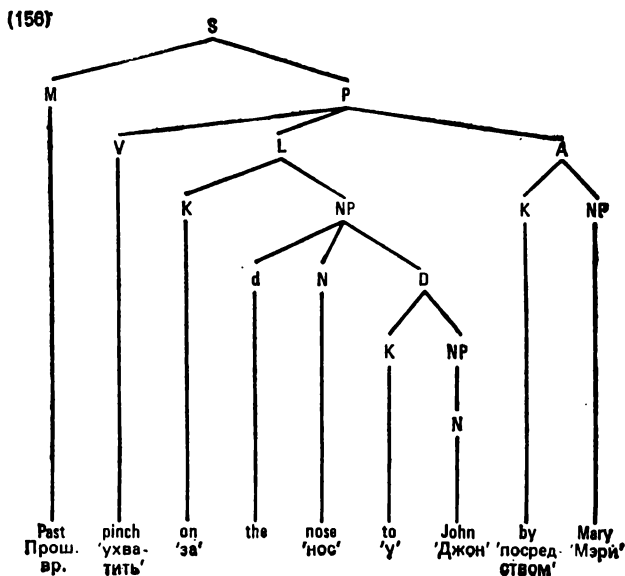
Если детерминативы универсальны ⁶², то тогда правила развертывания NP должны предусматривать их появление; если же детерминативы не универсальны, то тогда для языков, в которых они имеются, понадобятся правила «сегментализации» типа тех, которые были описаны Посталом (Postall, 1966). Во всяком случае, детерминативы (обозначаемые мною символом «d») наверняка будут фигурировать в формулировке различных вещей, которые могут происходить с примененным D-дополнением. Так, иногда, если D остается внутри NP, не превращаясь при этом в генитив, некоторые из признаков этого D копируются и переносятся на детерминатив, так что последний при определенных условиях может принимать форму соответствующего «притяжательного прилагательного». По-видимому, это может служить для объяснения таких выражений, как сочетания притяжательного датива с терминами родства, имеющие место в некоторых немецких диалектах (вспомним пример 120) или в осетинском языке (см. Абаев, 1964, с. 18).

⁶² А я склонен думать, что это так. (См. Fillmore, 1967.)

5.3. Некоторые иллюстрации

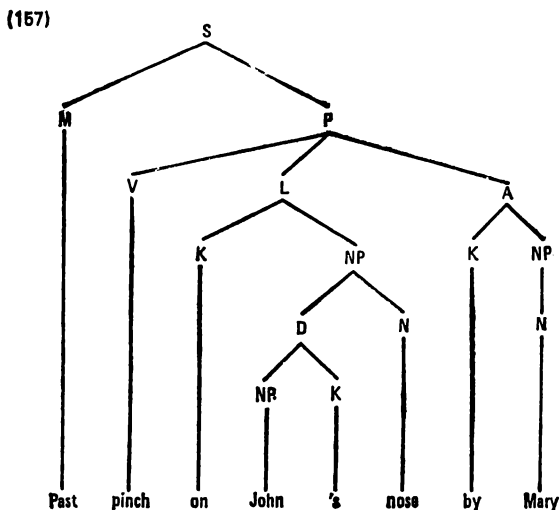
Часто составляющая D не обязательно должна в конце концов оставаться внутри NP: при некоторых условиях она может быть, так сказать, «выдвинута» из статуса определения существительного (каковым она является в глубинной структуре) в статус главной составляющей на следующем, более высоком уровне синтаксической структуры. Это наблюдается в предложениях с базовой конфигурацией [V + L + A]: в том случае, если N (существительное), реализующее падеж L, обозначает часть тела, элемент D, который в глубинной структуре входил в составляющую L, «выдвигается», чтобы стать непосредственной составляющей P, что в результате дает предложение с поверхностной структурой [V + D + L + A].

Глагол pinch ‘схватить, ущипнуть, прищемить’ вкладывается в падежную рамку [____ L + A], за исключением тех случаев, когда он принимает признак [+passiv]; это глагол, который требует элиминации предлога, стоящего перед непосредственно следующей за ним составляющей. Рассмотрим предложения, выводимые из глубинной структуры, представленной на схеме 156.



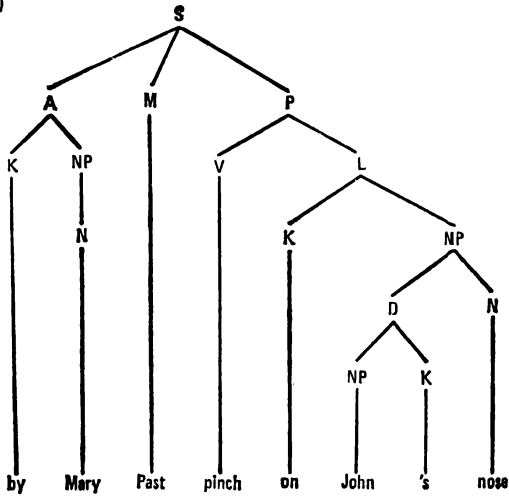
Посмотрим, что происходит с этим предложением при выполнении одного из следующих четырех условий: 1) если D остается внутри составляющей L, а A становится подлежащим; 2) если D остается внутри L и L становится подлежащим; 3) если D выдвигается из L, а A становится подлежащим; 4) если D выдвигается из L и это же D становится подлежащим.

Во всех тех случаях, когда D остается внутри NP (в данном предложении), оно ставится впереди определяемого им N и принимает форму генитива, замещая собою детерминатив исходной структуры. Поскольку это D является существительным, обозначающим лицо, элемент K при нем приобретает форму генитивного суффикса. Другими словами, если D не выдвигается из L, то 156 может быть преобразовано в 157.

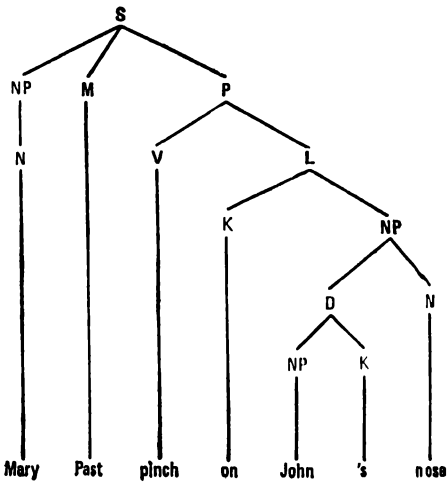


Схемы 158 — 161 показывают ход дальнейших преобразований структуры 157, если в качестве подлежащего берется A: предлог при подлежащем элиминируется, а затем стирается и показатель падежной категории подлежащего; предлог, стоящий за глаголом *pinch*, также элиминируется, и вслед за этим стирается показатель падежной категории L; и, наконец, показатель времени сливается с V.

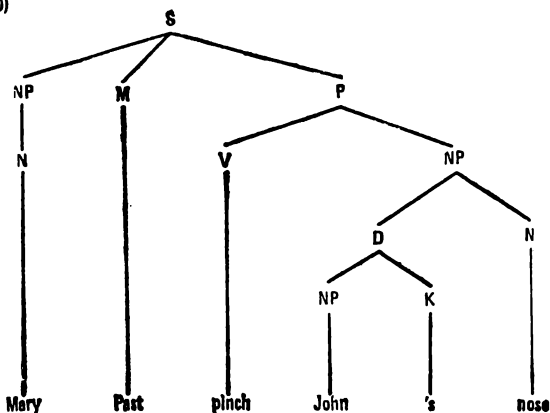
(158)



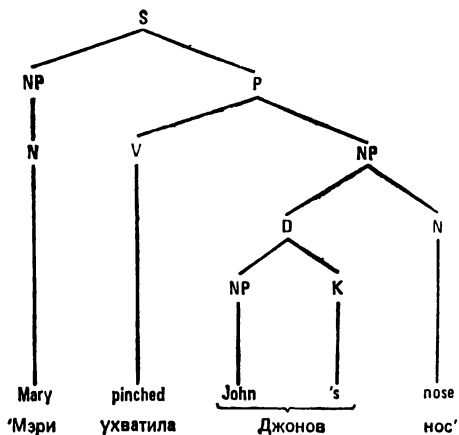
(159)



(160)



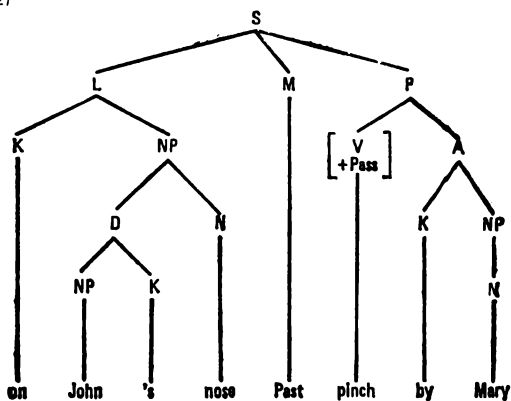
(161)



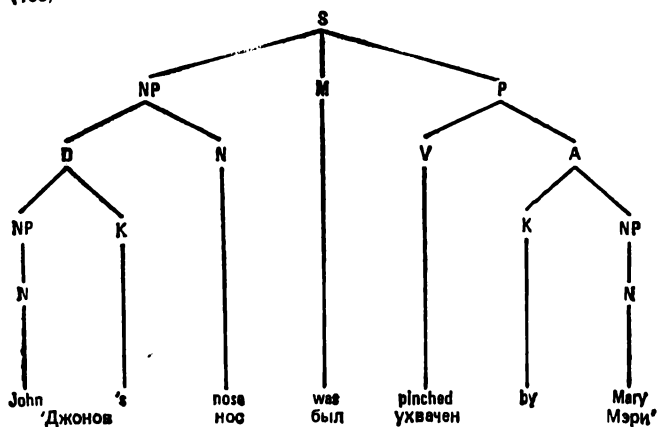
Если в структуре 157 выбрать в качестве подлежащего вместо А элемент L, то получится структура 162. При таком выборе подлежащего требуется, чтобы глаголу V был приписан признак [+passiv], получив который этот V теряет как свою способность элиминировать стоящий за ним предлог, так

и свою способность сливаться с показателем времени. Поверхностная структура, которая может в конце концов получиться из 162, представлена на схеме 163.

(162)

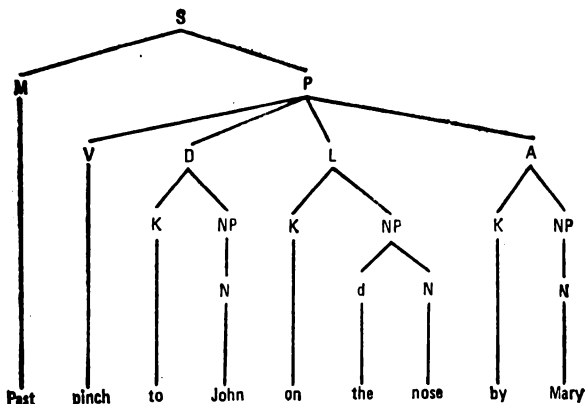


(163)



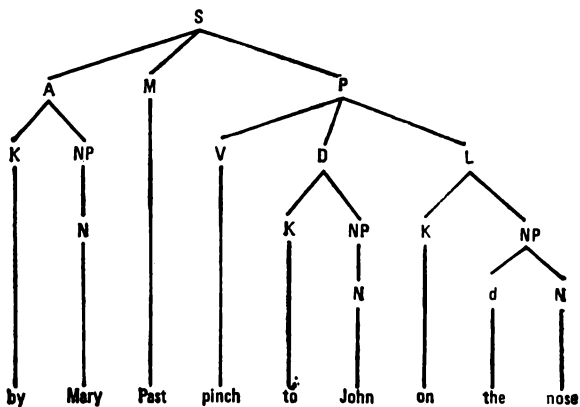
Возвращаясь к структуре 156, мы можем теперь посмотреть, к каким последствиям приводит «выдвижение» приименного D. Если D переносится из составляющей L и становится самой левой падежной составляющей, то в результате получается структура 164:

(164)



Возможные подлежащие для 164 — это либо A, либо только что выдвинутое D. Если подлежащим становится A, то мы получаем структуру 165, которая после применения всех уже известных нам правил превращается в итоге в 166.

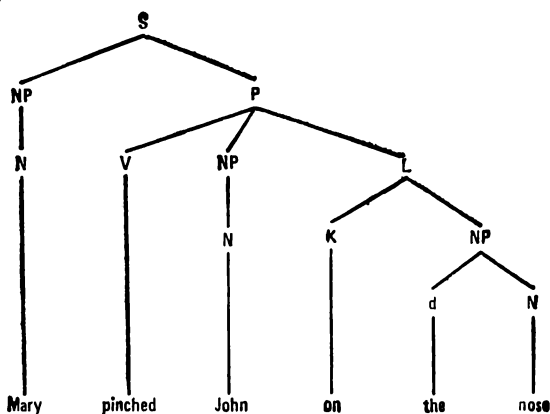
(165)



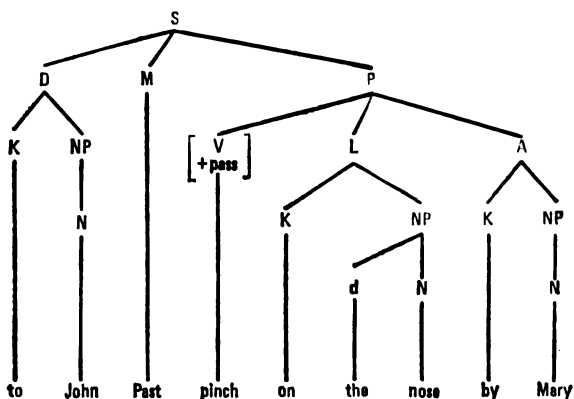
С другой стороны, если сделать подлежащим элемент D, то мы получим 167; после применения всех нужных правил к V, имеющему признак [+ passiv], мы получим 168.

Теперь мы можем обратиться к проблеме, которая занимала Балли и Фрея, и исследовать роль примененного D в та-

(166)

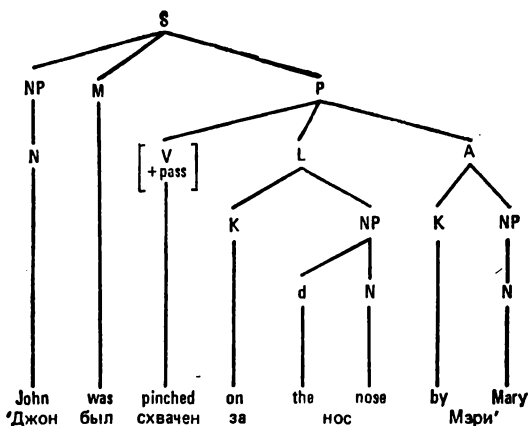


(167)



ких предложениях, в которых при назывании неотчуждаемой принадлежности указывается некоторый ее атрибут. Базовую структуру таких предложений иллюстрирует схема 169.

В тех языках, которые допускают, чтобы D оставалось внутри NP, этот элемент D превращается в форму генитива. В английском в результате получается структура 170. Поскольку 170 состоит всего лишь из [V + O], в качестве под-



лежащего неизбежно выбирается это O, и в конце концов для английского мы получаем структуру 171.

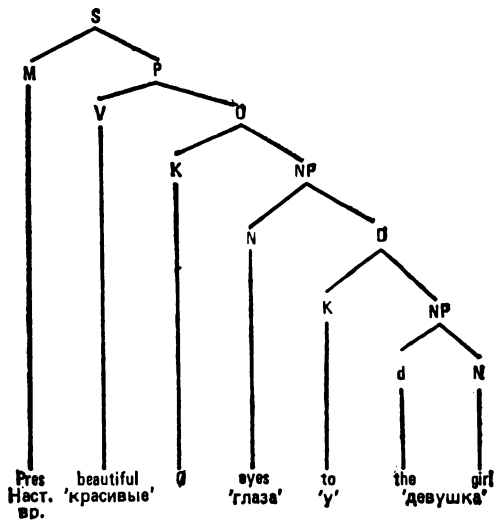
Заметим, что, поскольку V в данном случае представляет собой прилагательное, оно не может включать показатель времени⁶³, и по этой причине в составляющую M требуется введение вспомогательного глагола be. Пример 171 получается из 170, где V предцируется относительно элемента O, а D подчинено этому O. Тем самым это предложение оказывается аналогичным приводившимся ранее предложениям 127 и 134 и относится к типу, характеризуемому схемой 131.

Предположим теперь, что элемент D в структуре 170 «выдвигается» из составляющей O. Результатом такого введения элемента D, а именно вхождения в пропозиционную составляющую P уже в качестве ее непосредственной составляющей, является структура 172 (см. с. 479).

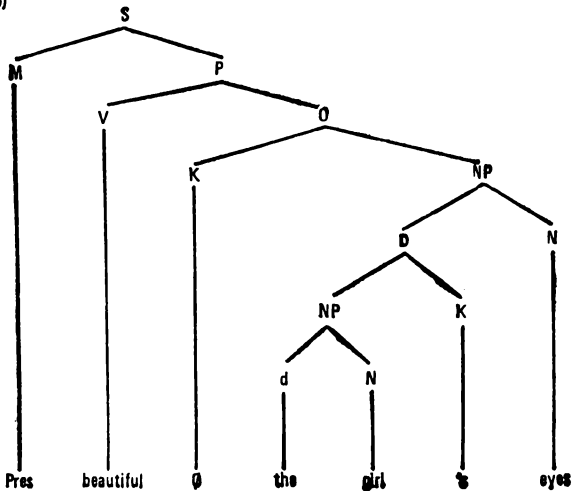
В некоторых языках элемент O в конфигурации 172 становится подлежащим, а элемент D остается при этом в той поверхностной форме, какая и ожидается обычно для элемента D, что имеет место, например, в предложении 132. В других языках элемент может подвергнуться вторичному коммуникативному выделению, и это даже тогда, когда в качестве подлежащего уже выбран элемент O. В таких случаях по-

⁶³ Говоря более точно, те V, которые представляют собой прилагательное, а также пассивные или активные причастия, не могут сливаться с самым правым аффиксом из модальной составляющей M.

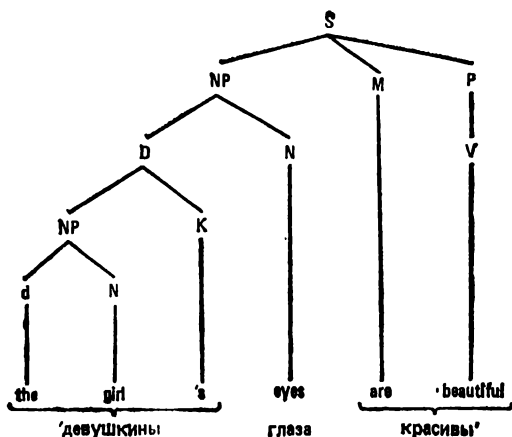
(169)



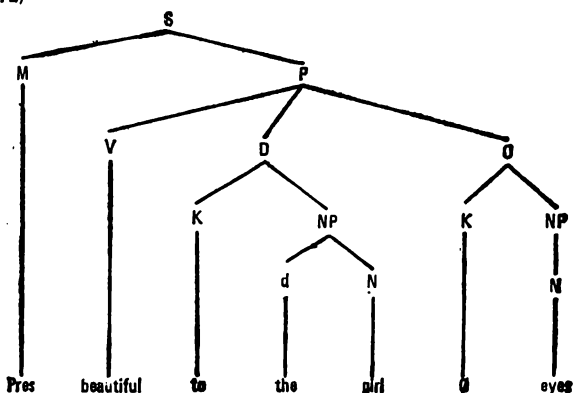
(170)



(171)



(172)

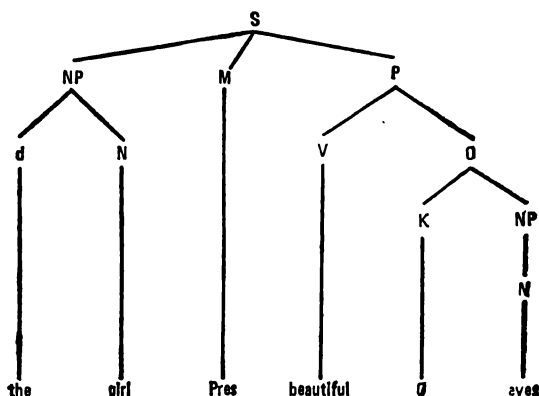


лучается, например, один из видов японской конструкции с «двойным подлежащим» (вспомним пример 142). Общий тип выражения, соответствующего тем предложениям, которые получаются из структуры 172, если подлежащим становится O, представлен в приведенной выше формуле 135.

Во многих языках подлежащим становится D. Если это имеет место и притом не сопровождается какими-либо другими структурными изменениями, то O выступает в форме того или иного косвенного падежа. Это происходит оттого,

что, поскольку beautiful 'красивый' — это не глагол в узком смысле слова, постольку слово-название части тела не может быть превращено в «прямое дополнение». Исходная структура представлена на схеме 173; она не типична для английского языка, хотя, может быть, именно ее следует усматривать в выражениях типа 174 и, возможно, ее следует считать промежуточным этапом в выводе выражений типа 175.

(173)



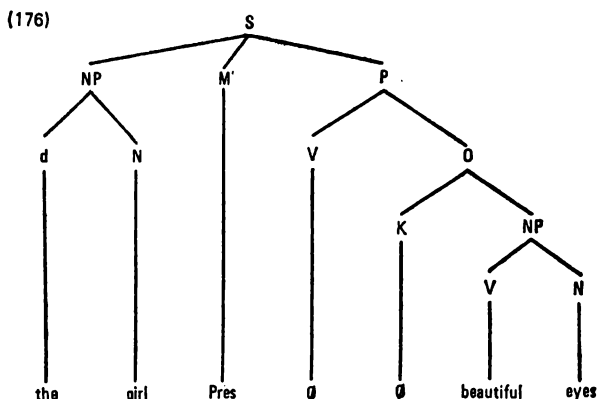
- (174) tall of stature, blue in the face
 'высокий ростом', 'посиневший с лица'
 (175) broad-chested, fat-legged
 'широкочечий', 'толстоногий'

По-видимому, это и есть по своей форме исходная структура, лежащая в основе 136, тип построения которой дан в формуле 137. Эта конструкция, очевидно, является довольно редкой во французском языке; Фрей считает ее «укороченной» версией предложений с глаголом 'иметь'.

Другая возможность построения предложений, в которых в качестве подлежащего выбрано D, состоит в присоединении прилагательного к NP, обозначающей часть тела. Предлагаемый мною способ сделать это (носящий, к сожалению, довольно сильный характер ad hoc) сводится к тому, чтобы не лишать присоединяемое к NP прилагательное его глубинного обозначения V. Я полагаю, что есть некоторые аргументы в пользу того, чтобы по крайней мере абстрактное V сохранялось внутри P на всех стадиях вывода.

Может быть, это ограничение окажется более серьезно мотивированным, чем это кажется сейчас, благодаря тому, что построенная в соответствии с ним структура будет отражать то, что представляется необходимым в тех языках, которые ввели в свой обиход глагол типа 'иметь'.

На схеме 176 показано, какую именно структуру я имею в виду.



Так как у V, входящего в составляющую P, лексическое заполнение отсутствует, то для тех языков, в которых структуры такого типа могут быть прямо воплощены в предложения, в модальную составляющую M должен быть добавлен глагол 'быть'. Заметим, что в этой конструкции ту или иную падежную форму получает уже вся NP, служащая названием части тела, вместе с присоединенным к ней определением. Формулу для этого типа выражений мы еще не привели; ее приблизительный вид указывается в 177.

(177) P *be* [A → V]^{косв}
'быть'

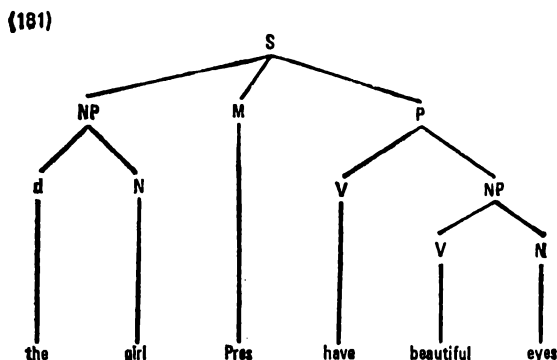
По всей видимости, эта структура лежит в основе таких предикатов, которые приведены в 178; разница между предикатами в выражениях типа 137 и в выражениях типа 177 видна на примере латинских перифраз 179 и 180 соответственно.

(178) *of tall stature*; *di bello aspetto*
'высокого роста'; 'красного вида'

(179) *aequus animo*
'спокойный духом'

(180) *aequo animo*
 'со спокойным духом, невозмутимо'.

Наконец, последняя возможность построения интересующих нас конструкций состоит в том, чтобы поставить в пустующую позицию под категориальным символом V служебное слово *have* 'иметь' — глагол, к которому существительное-название части тела вместе со своим определением присоединяется в качестве «прямого дополнения». В английском, как мы уже видели, это влечет за собой элиминацию предлога. Результат такого преобразования для структуры 176 представлен в структуре 181:



Короче говоря, оказывается, что значительное многообразие поверхностных реализаций предложений, в которых речь идет о приписывании некоторого свойства существительному, обозначающему неотчуждаемый предмет, может быть описано с помощью постулирования в универсальной грамматике набора рекурсивных трансформаций в духе Баха (Баха, 1965), которые в каждом языке используются по-своему. К предложению с общей структурной формулой 182

(182) $P[V^0 [D + N]]^*$,

где V — это прилагательное, а N — существительное-название части тела, могут быть применены или не применены трансформации (а) — (г) (см. далее):

* Левый верхний индекс у квадратных скобок обозначает тип, или категорию, составляющей, заключенной в этих скобках. — Прим. перев.

- (а) выдвинуть D;
- (б) выбрать D в качестве подлежащего;
- (в) перенести прилагательное внутрь NP, соответствующей названию части тела;
- (г) ввести глагол have 'иметь' в пустующую глагольную позицию.

Если не применена трансформация (а), то D становится генитивным определением к N, называемому часть тела, а подлежащим оказывается все O в целом. Если не применена трансформация (б), то подлежащим становится O. Если не применена трансформация (в), то в результате получаются «укороченные» предложения Фрея. Правило (г) имеет силу только для тех языков, в которых «введено в обиход» употребление глагола 'иметь'.

5.4. Дополнительные замечания о неотчуждаемой принадлежности

Если считать признак неотчуждаемости универсальным свойством всех языков, то тогда либо окажется, что словарные единицы, являющиеся переводами друг друга, в отношении отчуждаемости / неотчуждаемости будут охарактеризованы одинаково, либо то, каким образом в разных языках по-разному классифицируются «одни и те же» вещи, сможет, вероятно, отразить психический склад носителей разных языков. Многие ученые полагали, что факты, связанные с неотчуждаемостью, дают возможность науке о языке пролить свет на первобытный образ мышления и на существующий диапазон человеческих представлений о «себе». Поскольку с течением времени становится все более очевидным, что эти различия относятся к уровню поверхностных структур, постольку, может быть, стоит немного подождать с окончательными выводами по данному вопросу⁶⁴.

Использование приименных D наверняка потребует не только для описания конструкций с названиями частей тела и терминами родства. Указатели направления типа

⁶⁴ Характерные высказывания о социологической значимости изучения неотчуждаемой принадлежности см. в Lévy-Bruhl, 1916, p. 103; Vally, 1926, p. 68 и сл.; Frel, 1939, p. 192, и в a p G i n p e k e n, 1939, p. 90. Список классификаций существительных на основе различий в их грамматическом поведении, связанных с отчуждаемостью/неотчуждаемостью, приведен в R o s é p, 1959, p. 268 и сл.

right 'правый' и left 'левый', вероятно, тоже относятся к именам этого типа *. Причина, в связи с которой эти слова выступают в английском и во многих других языках без всякого упоминания о каком-либо лице, состоит в том, что с их помощью чаще всего характеризуется положение или направление относительно говорящего или слушающего данное высказывание, и это попросту одна из многих ситуаций, в которых можно обойтись без применного D, если оно обозначает говорящего или слушающего.

Кроме того, встречается немало имен — названий отношений, которые не относятся конкретно ни к какому лицу. Так, мы могли бы счесть целесообразным говорить, что некоторые имена, показывающие местоположение предметов, имеют при себе применное L. Иногда такие имена называют части предметов, как в примерах 183, а иногда они характеризуют местоположение или направление относительно предмета, не являясь при этом названием его части, как в примерах 184. «Имена» второго типа на поверхностном уровне реализуются в английском языке в виде предлогов.

- (183) corner of the table, edge of the cliff, top of the box
 'угол стола', 'край скалы', 'верхушка коробки'.
 (184) behind the house, ahead of the car, next to the tower
 'позади дома', 'впереди машины', 'рядом с башней'.

6. ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

В грамматическом описании языковых явлений обычно остается значительное количество нерешенных проблем, и я с разочарованием, хотя и без удивления, вижу, как велико количество таких проблем, остающихся все равно нерешенными при той формулировке грамматики, которая была мною здесь предложена. Прежде всего приходят на ум такие явления, как сочинительная связь, именные сказуемые и однокорневые дополнения.

* По-английски эти слова могут употребляться и как прилагательные, и как существительные, аналогичные тем русским существительным, из которых исторически образовались наречия *на-лево*, *с-лева*. — *Прим. перев.*

6.1. Сочинительная связь

Возможно, что имеется некоторая взаимосвязь между теми способами, посредством которых в языках образуются «комитативные» конструкции, и явлением сочинения именных групп. Применяя падежную терминологию, наверное, можно сказать, что существует взаимосвязь между сочинением именных групп и тем, что хотелось бы назвать комитативным падежом. Есперсеном были отмечены параллели между предлогом *with* 'с' (имеющим комитативную функцию) и сочинительным союзом *and* 'и', как, например, в таких парах предложений, как 185 и 186 (Jesperesen, 1924, p. 90; русск. перев.: Есперсен, 1958, с. 99):

- (185) He and his wife are coming.
'Приходят он и его жена.'
(186) He is coming with his wife.
'Он приходит со своей женой.'

Японский язык обладает разными средствами для сочинения предложений и для сочинения именных групп, и при этом послелог для сочинения именных групп тождествен комитативному послелогу. В цепочке сочиненных NP все NP, кроме последней, имеют послелог *to*. Последняя же NP имеет тот послелог, который нужен для всех однородных NP в соответствии с их падежной ролью. Сравним 187 и 188.

- (187) Tanaka-san to Hashimoto-san ga kimashita.
'Г-н Танака и г-н Хашимото пришли.'
(188) Hashimoto-san ga Tanaka-san to hanashimashita.
'Г-н Хашимото говорил с г-ном Танакой.'

Редден (Redden) указывает, что в языке валапаи в предложении может быть только одно существительное в «номинативе». Объединение существительных в однородную группу достигается добавлением «аблативного» суффикса (суффикса с комитативной функцией) ко всем существительным в однородной группе, кроме одного. Так, в примере 189 /-č/ — это показатель номинатива, /-m/ — показатель аблатива:

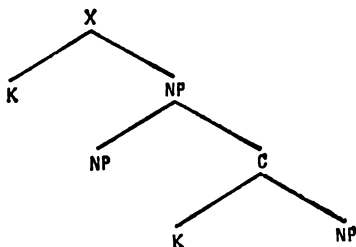
- (189) /hàtθáùaç hmárm/
'собака и мальчик' (букв. 'собака с мальчиком')

Возможно, для развертывания NP в числе прочих требуется правило 190:

$$(190) \text{ NP} \rightarrow \text{NP} + \text{C}^* .$$

Это правило должно порождать структуры вида 191 (в этой схеме X используется как переменная для обозначения произвольной падежной категории).

(191)



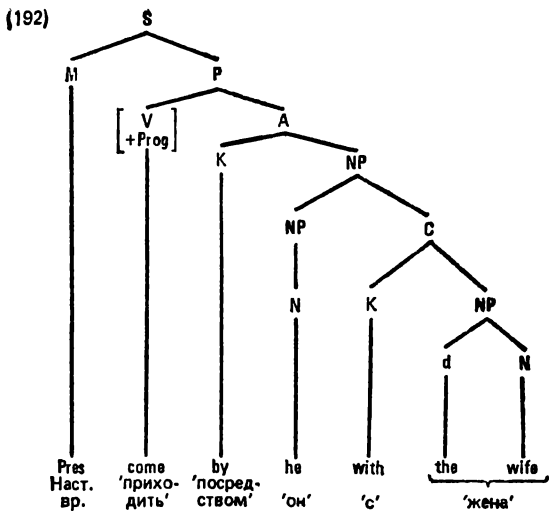
Падежная категория С имеет совсем особый статус, так как сочетаемостные ограничения у существительных, над которыми доминирует символ С,— те же самые, что и у существительных, которые сами доминируют над этим символом С. Иными словами, необходимо правило, которое распространяло бы на всякое N, подчиненное категории С, те же избыточные семантические признаки, которые связаны с доминирующим над этими N и С некомитативным падежом.

Составляющая С, включенная в бóльшую составляющую NP, при некоторых условиях должна оставаться внутри нее. В тех языках, где отсутствует обобщенный сочинительный элемент, в качестве падежного показателя остается показатель, соответствующий падежу С (послелог *to* в японском, суффикс *-m* в валапай); в тех же языках, где обобщенный сочинительный элемент присутствует, он замещает показатель падежа С точно так, как при определенных условиях союз 'и' замещает предлог 'с'.

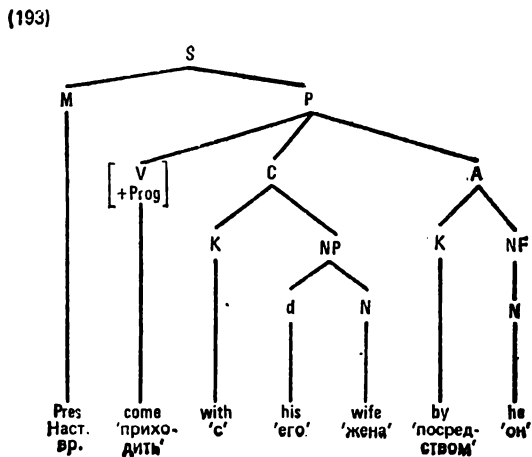
Итак, структурой, лежащей в основе 185 и 186, может служить нечто вроде структуры 192; при этом игнорируется роль *his* 'ego'***.

* С — символ комитативного падежа (comitative).— *Прим. перев.*

** Признак [+Prog], приписанный глаголу в структурах 192, 193, обозначает длительный вид глагола.— *Прим. перев.*



Если составляющая С остается внутри своей NP, то в качестве подлежащего берется вся составляющая А, что дает нам предложение 185; если же С подвергается выдвиганию, как в структуре 193, то тогда при превращении в подлежащее составляющей А составляющая С остается «позади»



[то есть в функции обстоятельства.— *Прим. перев.*] и в результате получается предложение 186.

Кажется достаточно маловероятным, чтобы этот подход позволял в ощутимой мере облегчить решение многочисленных проблем, связанных с сочинением именных групп, однако тот факт, что существует некоторая связь между сочинением и употреблением NP в комитативных конструкциях, не подлежит никакому сомнению. Правда, недавно Лакофф и Петерс представляли вполне убедительные аргументы в пользу того, что «направление» этого отношения прямо противоположно тому, которое предложено мной (см. Lakoff and Peters, 1966); иными словами, скорее комитативные группы должны выводиться из конструкций с сочиненными NP, чем наоборот.

6.2. Именные сказуемые

Ничто из того, что говорилось до сих пор, не дает возможности определить, как следовало бы описывать в грамматике предложения типа N be N 'N есть N'. Ясно, что они представляют принципиально отличный тип предложения по сравнению со всеми теми типами, в которых проявляются рассмотренные выше падежные отношения; вместе с тем в них также можно зафиксировать, по-видимому, более чем одно падежное отношение. (Здесь приходят на ум термины «эссив» и «транслатив».)

Некоторые существительные, выступающие в составе именного сказуемого, могут употребляться далеко не всегда (то есть не в любой другой позиции). По-видимому, эти существительные можно трактовать на некотором уровне как глаголы, употребление которых ограничено формой [____A]. Примерами служат слова типа idiot 'идиот', bastard 'ублюдок' и fool 'дурак'. В их окружение должен входить падеж A, поскольку подлежащее при них всегда одушевленное, а кроме того, эти конструкции обнаруживают те же сочетаемостные и трансформационные свойства, какие характерны для глаголов, в синтаксическое окружение которых входит A. Примеры употребления таких слов — предложения 194 и 195:

- (194) Don't be a fool.
'Не будь дураком.'

- (195) He's being a bastard again.
'Он опять ведет себя, как ублюдок.'

Мне кажется, что такая трактовка позволяет объяснить, почему слово *idiot* 'идиот' можно употребить в предложении 196, однако с тем же самым «оценочным» смыслом его нельзя употребить в предложении 197.

- (196) John is an idiot.
'Джон — идиот.'
An idiot hit the first homerun.
'Первую «длинную» подачу сделал какой-то идиот.'*

Еще одно свидетельство того, что для этого слова адекватна глагольная интерпретация, состоит в том, что в качестве определений при таких существительных выступают слова, подобные тем, которые даны в примере 198.

- (198) John is quite an idiot.
'Джон совершенный идиот.'**

Серьезную проблему составляет (а) употребление слов типа *idiot*, *fool* и т. д. в других контекстах, таких, как, например, 199, и (б) употребление в предложениях с составным именным сказуемым неоценочных существительных, как в 200:

- (199) That rat swiped my lunch.
'Эта крыса утянула мой завтрак.'
(200) That boy is my nephew.
'Тот мальчик — мой племянник.'

Конечно, для этого случая можно было бы ввести одну-две новых падежных категории, однако такая вещь, как отражение в грамматике того требования, что подлежащее и сказуемое в составе *NP* должны согласовываться в числе, как всегда, остается серьезной задачей. Возможно, какое-то решение этой задачи может быть получено, если строить описание с учетом предложений Баха, излагаемых в работе (B a s h, 1968).

* «to hit a homerun» — бейсбольный термин.— *Прим. перев.*

** Русский перевод не передает специфики английского примера, в котором употреблено наречие *quite*.— *Прим. перев.*

6.3. Однокорневые дополнения

Трудность иного рода представлена конструкциями с так называемыми «однокорневыми дополнениями». Это конструкции, в которых, мягко говоря, имеются чрезвычайно строгие ограничения на сочетаемость определенного глагола с зависящим от него существительным-дополнением и в которых сочетание $V + N$ в одном языке вполне может соответствовать только одному глаголу в другом.

Внося некоторые поправки в описание таких случаев, представленное Сандрой Бэбкок (B a b c o s k, 1966), я бы предложил считать, что существуют контексты, в которых падежная категория F (фактитив) может оставляться без лексического заполнения, а некоторые слова, относимые к глаголам, могут вставляться как раз в такие падежные рамки, содержащие подобные «пустые» F. Для этих слов могут быть заданы особые, соответствующие им N-представители (существительные-представители, например bath 'купание') и особые V-заместители (глаголы-заместители, например take *). К предложениям с «пустым» F применимы следующие трансформационные правила:

- (а) Поставь в позицию, над которой доминирует символ падежа F, копию глагола V в виде N-представителя этого V.
- (б) Заменяй V на нужный V-заместитель.

Условия обязательности применения этих правил могут указываться отдельно при разных V. Так, глагол dream 'видеть сон', имеющий дополнение одного с ним корня, обычно выступает как самостоятельный, полноценный глагол, однако он может выступать и в предложении с «пустым» F. На этот случай у него есть N-представитель dream 'сон' и V-заместитель have букв. 'иметь'; кроме того, относительно этого глагола указывается, что он управляет предлогами about или of для выражения падежа O и что он не обязательно требует применения правила (б).

Когда в позицию падежа F ставится «копия» глагола dream в виде его N-представителя, то получается предложение 201; а когда вместо самого глагола выступает соответствующий V-заместитель, получается предложение 202:

* Глагол take упоминается здесь не в своем основном значении, а во вторичном фразеологически связанном значении, в котором он выступает в сочетании take a bath 'выкупаться'. — Прим. перев.

(201) John dreamed a dream about Mary.

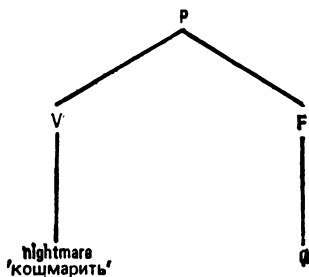
‘Джону снился сон про Мэри.’

(202) John had a dream about Mary.

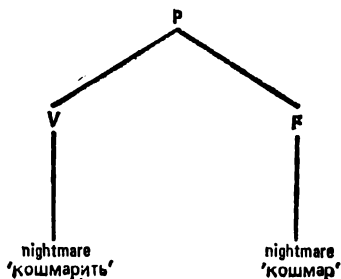
‘Джон видел [букв. ‘имел’] сон про Мэри.’

Пользуясь этими средствами, мы можем фактически расширить интерпретацию конструкций с однокорневыми дополнениями следующим образом. Некоторые слова можно трактовать как глаголы, имеющие однокорневое дополнение, несмотря на то, что правило замены их на V-заместитель является для них обязательным. Например, можно принять, что есть глагол nightmare ‘*кошмарить’; его N-представителем служит nightmare ‘кошмар’, а V-заместителем — have ‘иметь’. Тогда после применения правила (а) структура 203 превратится в промежуточную структуру 204, а после применения правила (б) из нее получится структура 205. Аналогичное использование этого механизма могло бы, вероятно, объяснить соотношение между suggest ‘предлагать’ и make a suggestion ‘внести предложение’, shove someone

(203)

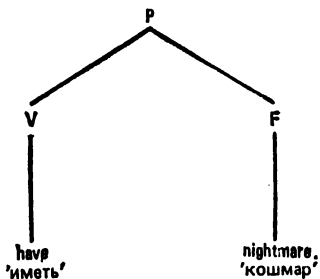


(204)



‘пнуть кого-нибудь’ и give someone a shove ‘дать кому-нибудь пинка’ и т. д., однако остаются нерешенными все же многие серьезные проблемы. В частности, не вполне очевидно, как в соответствии с тем, что было предложено, можно было бы трактовать примеры типа 206 и 207.

(206)



(206) She made several ridiculous suggestions.

‘Она внесла несколько смешных предложений.’

(207) I had a terrible nightmare last night.

‘Я видел [букв. ‘имел’] жуткий кошмар сегодня ночью.’

6.4. Другие проблемы

Существует немало вопросов, на которые я даже не могу попытаться найти хоть какие-нибудь ответы. Несомненная связь между поверхностными падежами и «партитивными» функциями; требование «определенности», предъявляемое в некоторых языках к NP, выступающих в тех или иных конкретных поверхностных падежных отношениях (как правило, в функции прямого дополнения); чрезвычайное разнообразие поверхностных реализаций одного и того же значения (получаемых из одной и той же глубинной структуры?), которое Есперсен демонстрирует в связи с явлением, называемым у него «сдвигом по рангу» (Jesperesen, 1924, p. 91; русск. перев.: Есперсен, 1958, с. 101),— вот лишь немногие из таких проблем.

Все упоминавшиеся до сих пор трудности являются эмпирическими по своей природе, однако наряду с этим существует также много формальных проблем. Одна из них состоит в том, что неясно, следует ли порождать все наборы падежей, которые могут входить в пропозиционную составляющую

щую Р, посредством НС-правил. Ведь одной из важнейших функций НС-правил всегда считалось задание грамматических отношений между составляющими, то есть описание таких явлений, которые здесь частично описывались с помощью категорий, а не через синтаксические конфигурации. С этой проблемой связана также взаимозависимость, которая, по-видимому, существует *между падежами*. Так, например, оказывается, что наличие в предложении падежа В (бенефактива) обусловлено не столько какими-то независимыми специфическими свойствами глагола, сколько тем, что в данном предложении содержится также падеж А. Исследователь поэтому вынужден строить описание таким образом, чтобы отражением этих фактов служил порождающий процесс, при котором сначала выбирается глагол, затем падежи, которых требует этот глагол, а уже затем другие падежи, совместимые с теми, которые были выбраны вначале. Проблема состоит не в том, могут ли допустимые последовательности единиц порождаться НС-правилами или не могут (нет сомнения, что могут), а в том, нет ли другого, более эффективного, способа описания встречающихся сочетаний единиц или отношений зависимости. (Видоизменения трансформационных грамматик вроде тех, которые были показаны в работе Хомского (см. Chomsky, 1965), позволяют не пользоваться НС-правилами для указания в НС-структуре достаточно дробной классификации лексических категорий или для выбора лексических единиц с целью заполнения НС-структуры. Если можно обеспечить указание синтаксических отношений определенных типов с помощью какого-либо другого средства, чем НС-правила, то существует некоторая вероятность, что и от употребления вышеупомянутых правил можно будет полностью отказаться.)

Должны ли падежи представляться в НС-структуре как категории, доминирующие над именной группой (NP), или каким-либо иным образом — это одна из тех проблем, решение которых, по моему мнению, пока также далеко не ясно. Одно из преимуществ категориальной трактовки состоит в том, что об NP, которые превращаются в подлежащие или в прямые дополнения, можно говорить, что они утратили свое «исходное» падежное отношение в предложении (в результате действия правила, которое «стирает» падежную категорию во всех тех случаях, когда оказывается элиминированным падежный показатель К, то есть в резуль-

тате действия одного из правил «исключения узлов»), и такая утрата исходного падежного отношения приводит к тому, что форма подлежащего и прямого дополнения оказывается обусловленной только их «чисто относительным» статусом [то есть чисто синтаксическим статусом члена предложения.— *Прим. перев.*]. Таким образом, становится ясным, что поверхностное различие помеченных и конфигурационно определяемых отношений между NP и предложением, возможно, соответствует традиционному противопоставлению «конкретных» и «грамматических» падежей. (Впрочем, при любой интерпретации остается неясным, куда в плане этого противопоставления относить генитив.)

Мне неоднократно указывали на то, что глубинные представления в падежной грамматике очевидным образом переводимы в такие вещи, которые похожи на деревья зависимостей или на тагемные формулы. Если элемент К считать входящим в именную группу, то тогда *символ* падежной категории будет доминировать в НС-структуре над *единственным узлом* — символом именной группы. Тем самым падежные категории оказываются эквивалентными *поятам на ветвях, соединяющих символ Р с разными NP, прямо относящимися к этому Р*. Если единственная функция элемента Р состоит в том, чтобы представлять собой составляющую, через посредство которой именные группы соотносятся с глаголом, то проще было бы указывать эти отношения непосредственно, заменив узел Р узлом V. То, что получится в результате такой замены, уже не будет деревом составляющих, поскольку лексические элементы заполняют в нем и «доминирующие» узлы; однако возможно, что требуемая синтаксическая организация составляющих, входящих в предложение, с наименьшей наглядностью представляется как раз древовидной структурой типа тех, какие используются у Теньера или у Хейса, чем структурой в виде дерева НС.

Простым преобразованием достигается также превращение глубинных представлений падежной грамматики в «тагемные» формулы, если исходить при этом опять-таки из того, что узел NP всегда является *единственным* узлом, над которым доминирует падежная категория. Или, в сущности говоря, глубинная структура падежной грамматики может быть попросту прочитана как тагемная формула, если исходить из того, что определенные символы употребляются как индикаторы функций. Мы вполне можем говорить об

НР, «заполняющей позицию типа А», пользуясь этим выражением наряду с другими. Принципиальная разница между предложенной мною модификацией трансформационной грамматики и типичным исследованием в русле тагменной теории состоит в том, что в своей работе я делаю особый упор на выявление «глубинных структур» самого глубокого уровня.

7. НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одно из предъявленных мне критических замечаний в адрес падежной грамматики сводится к тому, что падежная грамматика слишком сильно мотивирована семантическими соображениями. Многие из приведенных здесь анализов имеют своим следствием (как я надеюсь) открытие определенных семантических противопоставлений и межъязыковых общностей, отражаемых достаточно прямым образом в глубинных структурах падежной грамматики; в критических замечаниях, однако, утверждалось, что анализ с точки зрения синтаксиса должен опираться только на синтаксические факты, и притом в каждом конкретном случае на факты только одного языка.

Возникает вопрос: существует ли вообще такой «уровень» синтаксического описания, который мог бы быть выявлен лишь в пределах одного языка на основе чисто синтаксических критериев. Если возможно построить семантически обоснованную универсальную синтаксическую теорию, как это было предложено мною выше, если можно с помощью правил (начиная, может быть, с тех, которые приписывают линейный порядок заранее не упорядоченным элементам глубинных представлений) превратить эти «семантические глубинные структуры» в поверхностные формы предложений, то тогда очень вероятно, что такие синтаксические глубинные структуры (которые стали известными из работ Хомского и его последователей) должны будут разделить судьбу фонемы. Они оказываются не чем иным, как искусственным промежуточным уровнем между эмпирически выявляемой «семантической глубинной структурой» и открытой непосредственному наблюдению поверхностной структурой, то есть уровнем, свойства которого скорее имеют отношение к методологическим рассуждениям грамматистов, чем к природе человеческого языка.

ЛИТЕРАТУРА

A b a e v, 1974 — A b a e v V.I. A grammatical sketch of Ossetic. Indiana University Research Center in Anthropology, Folklore, and Linguistics, Publications 35 (identical with International Journal of American Linguistics, XXX, No. 4, Part II). Bloomington, Indiana, 1964.

B a b c o c k, 1966 — B a b c o c k Sandra S. Syntactic dissimilation. Unpublished. Ohio State University, 1966.

B a c h, 1965 — B a c h E. On some recurrent types of transformations.—Georgetown University linguistic monograph, v. 18. Georgetown, 1965, p. 3—18.

B a c h, 1967 — B a c h E. Have and be in English syntax.—«Language», 1967, v. 43, p. 462—485.

B a c h, 1968 — B a c h E. Nouns and noun phrases.—In: B a c h — H a r m s (eds), 1968, p. 91—122.

B a c h — H a r m s (eds), 1968—B a c h E., H a r m s R.T. (eds). Universals in linguistic theory. N.Y. et al., 1968.

B a l l y, 1926—B a l l y Ch. L'expression des idées de sphère personnelle et de solidarité dans les langues indoeuropéennes.—In: «Festschrift Louis Gauchat». Aarau, 1926, p. 68—78.

B a z e l l, 1949 — B a z e l l Ch.E. Syntactic relations and linguistic typology.—In: «Cahiers Ferdinand de Saussure», v. 8, 1949, p. 5—20.

B e n n e t t, 1914 — B e n n e t t Ch. Syntax of Early Latin, II: the cases. Boston, 1914.

B e n v e n i s t e, 1962 — B e n v e n i s t e E. Pour l'analyse des fonctions casuelles: le génitif latin.—«Lingua», 1962, v. 11, p. 10—18. Русск. перевод — в кн.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 156—164.

B l a k e, 1930 — B l a k e F. A semantic analysis of case.—In: «Curme volume of linguistic studies» (identical with «Language Monograph No. 7»). Baltimore, 1930, p. 34—49.

C a s s i d y, 1937 — C a s s i d y F.G. 'Case' in modern English.—«Language», 1937, v. 13, p. 240—245.

C h o m s k y, 1965 — C h o m s k y N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.). 1965. Русск. перевод: Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.

D i v e r, 1964 — D i v e r W. The system of agency of the Latin noun.—«Word», 1964, v. 20, p. 178—196.

F i l l m o r e, 1966 — F i l l m o r e Ch.J. Toward a modern theory of case. — The Ohio State University project on linguistic analysis. Report No. 13, 1966, p. 1—24.

F i l l m o r e, 1967 — F i l l m o r e Ch.J. The syntax of English preverbs. — «Glossa», 1967, No. 1, p. 91—125.

F r e i, 1939 — F r e i H. Sylvie est jolie des yeux.—«Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally». Geneva, 1939, p. 185—192.

Frei, 1954 — Frei H. Cas est dèses en français. — «Cahiers Ferdinand de Saussure», 1954, v. 12, p. 29—47.

van Ginneken, 1939 — van Ginneken J. Avoir et être du point de vue de la linguistique générale. — In: «Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally». Geneva, 1939, p. 83—92.

Gleitman, 1965 — Gleitman Lila. Coordinating conjunctions in English.—«Language», 1965, v. 41, p. 260—293.

Gonda, 1962 — Gonda J. The unity of the Vedic dative. — «Lingua», 1962, v. 11, p. 141—150.

Greenberg (ed.), 1963 — Greenberg, J.H. (ed.). Universals of language. Cambridge (Mass.), 1963. Материалы конференции по языковым универсалиям, изданные ротационным способом; переизданы типографски в 1966 г.: «Universals of language». Cambridge (Mass.), 1966. Русск. перевод части статей этого сборника — в сб. «Новое в лингвистике», вып. 5. М.: Прогресс, 1970.

Greenberg, 1966 — Greenberg J.H. Language universals. — In: Sebeok Th.A. (ed.). Current trends in linguistics, III. The Hague, 1966, p. 61—112.

Grimes, 1964 — Grimes J.E. Huichol syntax. The Hague, 1964.

de Groot, 1956 — de Groot A.W. Classification of uses of a case illustrated on the genitive in Latin.—«Lingua», 1956, No. 6, p. 8—66.

Gruber, 1967 — Gruber J. Topicalization in child language. — «Foundations of language», 1967, No. 3, p. 37—65.

Hall, 1965 — Hall [Partee] Barbara. Subject and object in English. Cambridge (Mass.), 1965 [Диссертация, защищенная в MIT].

Halliday, 1966 — Halliday M.A.K. Some notes on «deep» grammar. — «Journal of Linguistics», 1966, No. 2, p. 55—67.

Harris, 1957 — Harris Z. Cooccurrence and transformation in linguistic structure. — «Language», 1957, v. 33, p. 283—340. Перепечатано в кн.: Fodor—Katz (eds), 1964.

Hashimoto, 1966 — Hashimoto M.J. The internal structure of basic strings and a generative treatment of transitive and intransitive verbs. — Paper read before the 1966 Tokyo International Seminar in Linguistic Theory.

Havers, 1911 — Havers W. Untersuchungen zur Kasussyntax der Indogermanischen Sprachen. Straßbourg, 1917.

Heger, 1966 — Heger K. Valenz, Diathese und Kasus. — «Zeitschrift für romanische Philologie», 1966, v. 82, S. 138—170.

Hjelmslev, 1935 — Hjelmslev L. La categorie des cas.—«Acta Jutlandica», 1935, VII, No. 1; 1937, IX, No. 2.

Ivić, 1962 — Ivić Milka. The grammatical categorie of non-omissible determiners.—«Lingua», 1962, v. 11, p. 199—204.

Ivić, 1964 — Ivić Milka. Non-omissible determiners in Slavic languages. — Proceedings of the Ninth International Congress of Linguistics. The Hague, 1964, p. 476—479.

Jakobson, 1936 — Jakobson R. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. — «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1936, v. 6, p. 240—287.

Jakobson, 1958 — Jakobson R. Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics. — Proceedings of the VIII-th International Congress of Linguistics. Oslo, 1958, p. 17—25.

Jespersen, 1924 — Jespersen O. Philosophy of grammar. N.Y., 1924. Русск. перевод: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958.

Kuipers, 1962 — Kuipers H. The Circassian nominal paradigm: a contribution to case theory.—«Lingua», 1962, v. 11, p. 231—248.

Kuryłowicz, 1960—Kuryłowicz J. Le problème du classement des cas. — In: Kuryłowicz J. Esquisses linguistiques. Wrocław—Kraków, 1960, p. 131—150.

Kuryłowicz, 1964 — Kuryłowicz J. The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.

Lakoff, 1966 — Lakoff G. Stative adjectives and verbs in English. — «Mathematical linguistics and automatic translation», report No. NSF-17, 1966 (The Computation Laboratory of Harvard University).

Lakoff, 1967 — Lakoff G. Instrumental adverbs and the concept of deep structure. Duplicated. Cambridge, Mass.

Lakoff — Peters, 1966 — Lakoff G., Peters P.S. Phrasal conjunction and symmetric predicates. — «Mathematical linguistics and automatic translation», report No. NSF-17, 1966, p. VI/1—VI/49. (The Computation Laboratory of Harvard University.) См. также: Reibel D., Schane S. (eds). Modern studies in English. Readings in transformational grammar. Englewood Cliffs (N.J.), 1969, p. 113—142.

Lane, 1951 — Lane G.S. Review of Y.M. Biese «Some notes on the origin of the Indo-European nominative singular». — «Language», 1951, v. 27, p. 372—374.

Langendoen, 1966 — Langendoen D.T. Some problems concerning the English expletive 'it'.—The Ohio State University Research Foundation Project on Linguistic Analysis. Report No. 13, 1966, p. 104—134.

Lee, 1967 — Lee P. Gregory. Some properties of *be* sentences. 1967.

Lehmann, 1958 — Lehmann W.P. On earlier stages of the Indo-European nominal inflection. — «Language», 1958, v. 34, p. 179—202.

Lévy-Bruhl, 1916 — Lévy-Bruhl L. L'expression de la possession dans les langues mélanésiennes. — «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», 1916, v. 19, p. 96—104.

Lyons, 1963 — Lyons J. Structural semantics (Publications of the Philological Society, 20). Oxford, 1963.

Lyons, 1966 — Lyons J. Towards a 'notional' theory of the 'parts of speech'. — «Journal of Linguistics», 1966, No. 2, p. 209—236.

Manessy, 1964 — Manessy G. La relation génitive dans quelques langues mandé. — In: Lunt H.G. (ed.). «Proceedings of the Ninth international congress of linguistics. Cambridge (Mass.), 1962». The Hague, 1964, p. 467—475.

Martinet, 1962a — Martinet A. A functional view of language. Oxford, 1962.

Martinet, 1962b — Martinet A. Le sujet comme fonction linguistique et l'analyse syntaxique du Basque. Bulletin de la société de linguistique de Paris. 1962, 57, p. 72—83.

McKaughan, 1962 — McKaughan H. Overt relation markers in Maranao. — «Language», 1962, v. 38, p. 47—51.

Meinhof, 1938 — Meinhof C. Der Ausdruck der Kasusbeziehungen in afrikanischen Sprachen. — In: «Scritti in onore di Alfredo Trombetti» (Ed. Ulrico Hoepli), Milan, 1938, S. 71—85.

Müller, 1908 — Müller, C.F.W. Syntax des Nominativs und Akkusativs im Lateinischen. Leipzig, 1908.

Newmark, 1962 — Newmark L. An Albanian case system. — «Lingua», 1962, v. 11, p. 312—332.

Nilsen, 1972 — Nilsen D.L.F. Toward a semantic specification of deep case. The Hague, 1972.

Oertel, 1936 — Oertel H. The syntax of cases in the narrative and descriptive prose of the Brahmanas. Heidelberg, 1936.

Pike, 1966 — Pike K.L. Tagmemic and matrix linguistics applied to selected African languages. — Final Report, Contract No. OE-5-14-065, U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education, Bureau of Research. Washington, D.C., 1966.

Postal, 1963 — Postal P.M. Mohawk prefix generation. — In: «Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists». The Hague, 1963, p. 346—355.

Postal, 1966 — Postal P.M. On so-called pronouns in English. «Report of the Seventeenth Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Studies» (identical with «Georgetown University Monograph Series on Languages and Linguistics», 19). Washington, D.C., 1966, p. 177—206. См. также: Jacobs R.A., Rosenbaum P.S. (eds). Readings in English transformational grammar. Boston, 1970, p. 56—82.

Robins, 1961 — Robins R.H. Syntactic analysis. — «Archivum Linguisticum», 1961, v. 13, p. 78—89. Перепечатано в Hamp, a.o., (eds), 1966, p. 386—395.

Rosén, 1959 — Rosén H. Die Ausdrucksform für 'veräusserlichen' und 'unveräusserlichen' Besitz im Frühgriechischen. — «Lingua», 1959, 8, p. 264—293.

Saint-Jacques, 1966 — Saint-Jacques B. Analyse structurale de la syntax du japonais moderne. Paris, 1966.

Salzmann, 1965 — Salzmann Z. Arapaho IV: Noun. — «International Journal of American Linguistics», 1965, v. 31, p. 136—151.

Sapir, 1917a — Sapir E. Review of C.C. Uhlenbeck: «Het identificerend karakter der possessieve flexie in talen van Noord-Amerika». — «International Journal of American Linguistics», 1917, v. 1, p. 86—90.

Sommerfelt, 1937 — Sommerfelt A. Sur la notion du sujet en géorgien. — «Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jacques van Ginneken». Paris, 1937, p. 183—185.

Tesnière, 1959 — Tesnière L. Éléments de syntaxe structurale. Paris, 1959. Русск. перевод: Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М.: Прогресс, 1988.

Trubetzkoy, 1939 — Trubetzkoy N.S. Le rapport entre le déterminé, le déterminant et le défini. — «Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally». Geneva, 1931, p. 75—82.

Uhlenbeck, 1901 — Uhlenbeck C.C. Agens und Patiens im Kasussystem der indogermanischen Sprachen. — «Indogermanische Forschungen», 1901, v. 12, S. 170—171.

Vaillant, 1936 — Vaillant A. L'ergatif indo-européen. — «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», 1936, v. 27, p. 93—108.

Velten, 1962 — Velten H.V. On the functions of French *de* and *à*. — «Lingua», 1962, v. 11, p. 449—452.

Whorf, 1965 — Whorf B.L. A linguistic consideration of thinking in primitive communities. — In: Whorf B.L. «Language, thought and reality» (ed. Carrol J.B.). Cambridge (Mass.), 1965, p. 65—86.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ КАК МОДЕЛИ ПАМЯТИ

ВВЕДЕНИЕ

В статьях Чарняка и Уилкса показано, что в процессе понимания языка возникает потребность в знаниях о мире. Значит, должен применяться какой-то способ представления этих знаний. Проблемы разработки структур для представления знаний мы называем проблемами *памяти*. Однако, обсуждая вопрос о том, как информацию записывать, необходимо рассмотреть и вопрос о том, как ее искать: нельзя отрывать структуру от функции. Мы называем эти два аспекта соответственно пассивным и активным аспектами памяти, и в ходе нашего обсуждения они будут переплетаться.

Понятие "памяти" используется представителями смежных дисциплин нередко в ином смысле, чем в настоящей работе. Что мы имеем в виду, когда говорим о памяти, станет понятно, если мы сначала исключим некоторые ее трактовки, далекие от нашей задачи. Разумеется, мы не говорим здесь об обычном для вычислительной техники определении памяти как места, где хранится информация в вычислительной машине. Мы не говорим также об определении, характерном для "человека с улицы", для которого память эквивалентна способности помнить. В ином плане, с точки зрения психологии, мы не будем обсуждать различные гипотетически постулируемые виды "памяти", а будем употреблять термин "память" в ограниченном смысле, применительно к представлениям, хранящимся в долговременной памяти, включая в данное понятие и процессы (нижнего уровня), которые обеспечивают доступ к информации, записанной в этих представлениях. Наконец, укажем, что нет необходимости начинать с обсуждения того, как ин-

Greg Scragg. Semantic Nets as Memory Models. — In: E. Charniak and Y. Wilks (eds.). Computational Semantics. Amsterdam etc., 1978, p. 101—128.

© North-Holland Publishing Company (1976).

формация реально попадает в память для последующего хранения, поэтому вопросы обучения тоже останутся за пределами нашего рассмотрения.

В данной статье речь идет преимущественно о представлении "памяти", а не "языка". Тем не менее автор полагает, что между таким представлением и представлением языка (на самом глубинном уровне) разница невелика (если она есть вообще). Конечно, существует ряд явлений, информация о которых должна храниться в памяти, но которые трудно (если вообще возможно) выразить на естественном языке, например, такие, как запах розы или умение ездить на велосипеде. Но, по предположению, все явления, поддающиеся описанию с помощью языка, должны быть представимы в памяти. Поэтому мы без колебаний включаем в эту статью результаты некоторых разработок, нацеленных на представление языка, но в равной степени применимых и к представлению памяти.

Первый вопрос, который мы рассмотрим, это вопрос о том, что такое "*структура нижнего уровня*". Другими словами, как вообще мы можем представлять информацию? Как мы можем представить какой-либо простой факт? В первой статье Чарняка было показано, в общих чертах, как для представления знаний может использоваться исчисление предикатов. Оно дает как способ представления (формулы исчисления предикатов первого порядка — формулы ИППП), так и метод выведения новых фактов из старых (доказательство теорем). Кроме того, оно обладает тем преимуществом, что это способ записи, с которым уже, видимо, знакомо большинство специалистов по вычислительной технике и смежным дисциплинам и для которого уже разработана обширная метатеория. Однако существует и другой формат представления, который оказался в последние годы даже более популярным среди исследователей в области искусственного интеллекта. Это — "*семантическая сеть*". В дальнейшем мы будем использовать семантическую сеть в качестве главной модели памяти, обращаясь к другим формам представления лишь в тех случаях, когда нужно будет изложить положения, не применимые к семантическим сетям.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ

Разработка понятия семантической сети обычно приписывается Куиллиану (Quillian, 1968) (хотя структура,

использованная в системе SIR Рафаэла (1964), как показано в первой части статьи Ю. Чарняка, имеет во многом такой же вид, и мы будем говорить о ней как о семантической сети). В своей наипростейшей форме семантическая сеть есть совокупность точек, называемых узлами; каждая из них может мыслиться как представление некоторого понятия (точное определение понятия здесь для нас несущественно; достаточно представлять его себе как некоторую сущность, о которой хранится информация). Каждый узел может иметь имя, например: boy 'мальчик' или gift 'подарок'. Узлы без имен в общем случае соотносятся с понятиями, которые не представимы с помощью простого имени в английском языке, например: the cute little girl with the long blond curls who lives around the corner 'миловидная маленькая девочка с длинными белокурыми выющимися волосами, которая живет за углом'. Точка может связываться посредством направленной дуги (или, если угодно, стрелки), которая называется отношением, с любой другой точкой сети. Это отношение получает некоторое обозначение (помету). Графически это может выглядеть так:

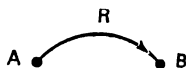


Схема читается следующим образом: R связывает A с B.

Принятая интерпретация этой структуры сводится к тому, что отношение R имеет место между A и B, или A находится в отношении R к B. Заметим, что B не обязательно находится в отношении R к A. Именно поэтому дуга должна быть направленной и представляться в виде стрелки. Например, если A — это Анна, B — это Билл, а R — это LIKES 'любит', мы имеем:



Вполне возможно, что Анна ни в малейшей степени не интересуется Биллом, поэтому мы не можем заключить следующее:



Любой узел может быть связан с произвольным числом

других узлов, каждый из них — с любым числом других узлов и т. д. Если добавлять все большее и большее число узлов и дуг, графическое представление становится похожим на сеть из линий, поэтому оно получило название семантической сети (семантической, поскольку исторически такие сети были использованы прежде всего для представления значений выражений на естественном языке).

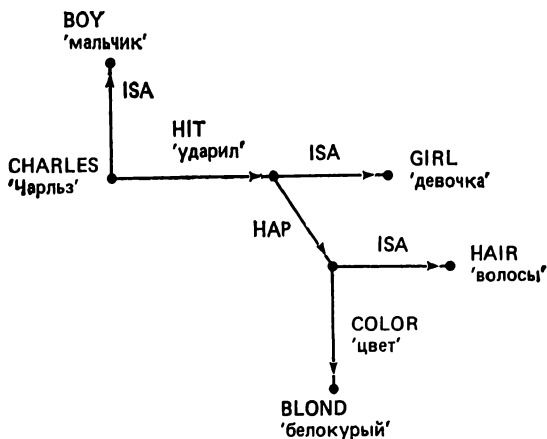
Сеть может строиться для представления очень сложных взаимоотношений, например, в:



Charles представляет некоторого конкретного члена множества всех мальчиков (ISA означает is a 'есть некоторый', boy — 'мальчик').

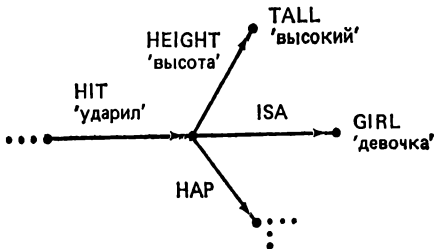
Charles hit the blond haired girl.

'Чарльз ударил девочку с белокурыми волосами.' может быть представлено как:



где HAP означает has-as-part 'имеет в качестве части'. Заметим, что здесь имеются непоименованные узлы, представляющие конкретную девочку и ее волосы. (Таким непоименованным узлом иногда приписываются произвольные символы типа C1, C2 и т. д. для внутренних ссылок.) Если добавить дополнительную информацию о том, что девочка

была высокая, узел, репрезентирующий девочку, будет расширен:



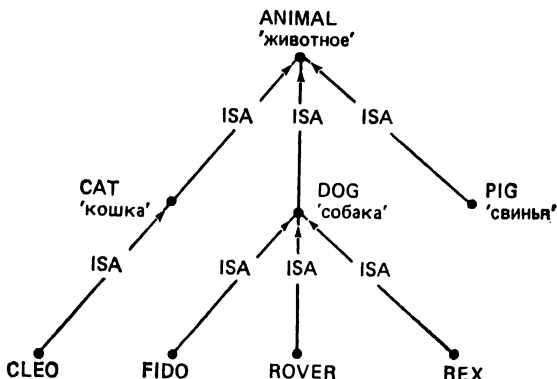
Минимальной единицей информации в семантической сети является тройка ARB. Но базисная единица — это узел, или понятие. Понятие обладает информационным содержанием лишь в силу того, что оно связано с другими узлами. Можно считать, что информация существует в отношениях. Понятие, не участвующее ни в каких отношениях, лишено содержания, и мы считаем, что доступ к нему закрыт. Это понятие, о котором ничего не известно (действительно, это весьма странное понятие).

Слово "понятие" (concept) обычно используется для обозначения как общих, так и конкретных понятий. Конкретное понятие, подобное этому листу бумаги или конкретному мальчику, который ударил белокурую девочку, в нашем последнем примере, мы будем называть "элементом" ("token"). Неконкретные понятия будут называться "типами" ("types"). Часто неконкретные понятия являются типами-классами, например GIRL и HAIR. В других случаях они могли бы, вероятно, тоже интерпретироваться как классы (TALL = класс высоких вещей?), но мы находим такие интерпретации натянутыми и не будем настаивать на том, что все "типы" являются классами. (Читатель, знакомый со статьей Куиллиана, может заметить, что принятое нами употребление терминов "тип" и "элемент" несколько отличается от того, которое мы находим у Куиллиана.) Мы видели в нашей последней схеме, как элемент (the blond girl) был связан с соответствующим типом (girl) посредством отношения ISA (для выражения этого отношения используются также обозначения IS-A и ELEMENT). В этих случаях мы можем сказать, что узел-элемент (blond girl) "является элементом" соответствующего узла-типа (girl). Типы (girl), которые являются подтипами других типов (human 'чело-

веческий'), могут связываться со своим более крупным типом посредством отношения SUPERSET 'надмножество' (S. S. или другие эквивалентные обозначения).

Важно подчеркнуть разграничение между типом и элементом. Системы, в которых оно игнорируется, обычно сталкиваются с трудностями, связанными с тем, что в них невозможно провести различие между сущностью (элементом) и множеством (типом), которое не имеет членов. Чтобы пояснить это, предположим, что у нас имеется (неправильная) структура (1) следующего вида:

(1)



Это подструктура некоторой базы данных. Если бы системе, использующей эту базу данных, был задан вопрос:

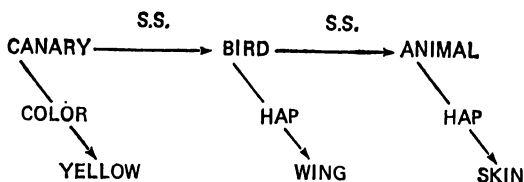
How many animals do you know about?

'О скольких животных Вы знаете?'

она могла бы ответить 'о трех', подсчитав непосредственные подмножества узла ANIMAL. Или она могла бы ответить 'о пяти', пройдя по всем цепочкам с отношениями ISA до их концов (CLEO, FIDO, ROVER, REX и PIG). Но распознать, что в действительности имеется четыре конкретных животных (их клички Cleo, Fido, Rover, Rex), невозможно, если только не пометить каким-нибудь способом типы и элементы, например используя два различных отношения — ISA и SUPERSET. Альтернативный путь может состоять в том, чтобы пометить каждый узел особым обозначением, указывающим, является ли он классом или элементом.

Обсуждая последние примеры, мы впервые конкретно коснулись активного аспекта памяти. В этом примере, для того чтобы обосновать форму, которую должна иметь сеть (необходимость разграничения "тип — элемент"), мы долж-

ны были обратиться к проблеме поиска информации (выяснения того, о скольких животных имеются сведения в системе). Действительно, популярность сетей вначале была во многом обязана их способности существенно облегчать определенные виды поиска и вывода. В частности, они могут великолепно справляться с выводами типа "Сократ — чело-



век, все люди смертны". Здесь мы рассмотрим пример "канарейка — птица, все птицы имеют крылья".

Если эту схему рассматривать как часть сети, то цвет канарейки можно найти простым прохождением стрелки COLOR от CANARY 'канарейка' к YELLOW 'желтый'. Чтобы определить, имеет ли канарейка крылья (заметим, что HAP не связывает здесь CANARY и WING 'крыло'), необходимо только заметить, что BIRD HAP WING и CANARY S. S. BIRD, следовательно, канарейки должны тоже иметь крылья. Аналогично, повторив еще раз силлогическое рассуждение, можно установить, что канарейки имеют кожу (skin). Таким образом, для некоторых ситуаций семантические сети обеспечивают естественный метод вывода.

Можно назвать еще два свойства семантических сетей, которые способствовали росту их популярности. Во-первых, семантические сети подсказывают некоторые способы сокращения объема информации, подлежащей хранению. Нет необходимости специально отмечать, что канарейки имеют крылья, и вороны имеют крылья, и малиновки имеют крылья, и утки имеют крылья. Нужно только, чтобы каждое такое свойство было связано с самым общим типовым узлом, который обладает этим типичным свойством (в нашем случае этот узел — BIRD 'птица'). Привлекательность такого представления заключается еще в том, что оно эксплицитно показывает, каковы общие черты большинства птиц. Вторым фактом, который послужил толчком для распространения идеи семантической сети, был ряд результатов психологических экспериментов, из которых следовало, что хранение информации в мозгу человека осуществляет-

ся, вероятно, тоже в виде сетей (Collins and Quillian, 1968); правда, позднее были получены и иные выводы (Vishof, 1978). Было замечено, что время ответной реакции человека устойчиво возрастает по мере того, как вопросы затрагивают свойства все более и более общего характера (например, канарейки желтые, имеют крылья, имеют кожу и т. д.). Именно это и предсказывают семантические сети, так как более общие свойства находятся дальше от конкретных элементов и, чтобы найти их, нужно просмотреть больше узлов.

ОБОБЩЕНИЯ СЕТЕЙ

Первоначально казалось, что семантические сети дают нечто ценное для всех и являются настоящей панацеей для психологов и специалистов по вычислительной технике. Однако более поздние психологические результаты показали, что сами по себе сети не являются хорошими психологическими моделями, а специалисты по вычислительной технике скоро столкнулись с формальными трудностями, вытекающими из того, что по мере рассмотрения более сложных данных сети, применявшиеся в ранних системах, скоро оказались в ряде отношений недостаточными: чтобы они и дальше могли быть жизнеспособными моделями, требовались ограничения или дополнения в базисной структуре.

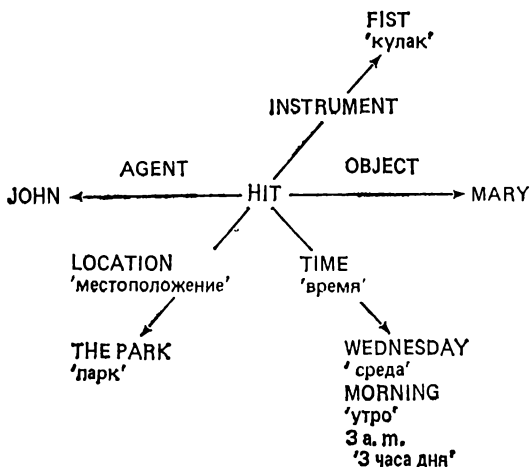
Некоторые из этих формальных проблем решаются в модели памяти, развиваемой Норманом, Линсеем и Румельхартом (см. Norman & Rumelhart, 1975) и составляющей ядро предполагаемой комплексной психологической модели. Память в их понимании предусматривает некоторые усовершенствования и расширения по сравнению с исходным понятием семантической сети.

Одна из проблем, связанных с описанным выше представлением сети, возникает при моделировании фактов типа John hit Mary 'Джон ударил Мэри', которые мы представляем следующим образом:



Возникающая здесь трудность заключается в том, что у нас нет возможности добавить дополнительную информацию об этом событии, информацию о том, когда он ударил ее, где (как в смысле локализации удара на теле, так и в смыс-

ле места, где произошло действие в целом), была ли использована палка и т. д. Эта трудность может быть устранена посредством введения концептуальных узлов не только для объектов, но и для событий. Тогда мы получим:

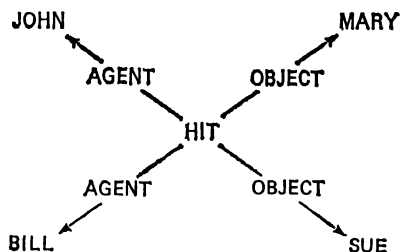


Заметим, что если раньше мы различали, кто ударил кого, помещая одно понятие в конце стрелки, обозначающей отношение, а другое — в начале, то теперь так сделать нельзя, поскольку теперь John и Mary каждый имеют свою собственную стрелку. Вместо этого мы проводим данное разграничение посредством эксплицитного называния одного элемента агенсом, а другого — объектом, придавая представлению вид, напоминающий падежную структуру.

Но и это представление не разрешает всех проблем. Рассмотрим представление для следующего предложения:

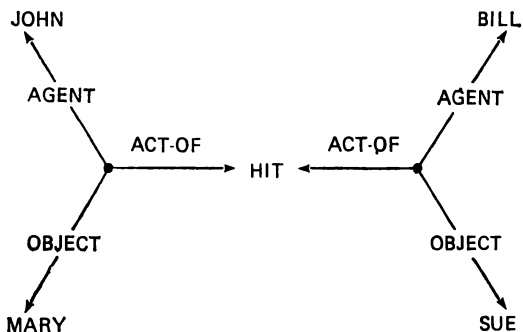
John hit Mary and Bill hit Sue.

'Джон ударил Мэри, а Билл ударил Сью.'



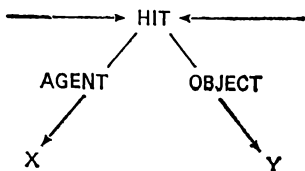
Теперь уже неясно, кто ударил кого и сколько таких действий произошло в действительности. (Не годится здесь и такое решение, чтобы было два узла, помеченных HIT, поскольку, при наличии одинаковых помет, не будет возможности различить их при поиске.) Чтобы обойти эту трудность, мы должны разграничивать конкретные действия типа "ударить" и понятие "ударять вообще". Тогда получаем:

(2)



Узел HIT в центре представляет понятие 'ударять'. Два конкретных происшествия, когда кого-то ударили, связаны с общим понятием HIT посредством отношения ACT-OF 'действие типа'. Отношение ACT-OF между понятиями, отражающими действие, аналогично отношению ISA между понятиями, отражающими предметы.

Узел HIT в (2) мог бы быть расширен:



Эта информация, как показывает ее местоположение в схеме, относится к общему понятию 'ударять'. Она означает, что без указания отношений AGENT и OBJECT данное понятие является неполным (или даже невообразимым). Следовательно, каждое отдельное действие типа HIT (связанное отношением ACT-OF) должно иметь и стрелку AGENT, и стрелку OBJECT. Такие обязательные атрибуты

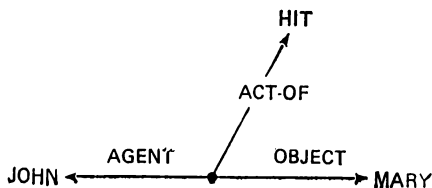
могут мыслиться как аналоги глубинных падежных отношений *, за исключением того, что здесь они выступают как требования к памяти, а не к самой языковой структуре. Заметим, что представление в виде семантической сети вполне определенно предполагает использование именно падежной структуры, а не позиционной структуры, как в представлении типа исчисления предикатов. Таким образом, в то время как раньше предикаты типа *hit* выступали как связи между узлами (или, более формально, как *отношения* между узлами), теперь они сами выступают в роли узлов. Так как первоначально в нашем представлении все предикаты были отношениями, мы могли употреблять эти термины во многом как синонимы. А теперь этого делать нельзя. Поэтому мы будем и дальше употреблять термин *отношение* для обозначения связей между узлами, тогда как термин *предикат* будет теперь обозначать общие понятийные узлы типа НІТ. Более того, мы будем называть структуры типа (2) "*предикатными структурами*", чтобы подчеркнуть тот факт, что здесь НІТ является узлом (предикатом), а не связью.

Этот переход в статусе от связи к узлу будет иметь целый ряд важных последствий для использования семантических сетей, что станет ясно в процессе изложения. Сейчас же заметим, что отношения типа AGENT будут фигурировать в сети очень часто. Каждый отдельный случай осуществления практически каждого действия будет иметь отношение AGENT (или АСТАНТ, или какое-то другое в том же роде — употребляемые здесь термины не означают, что мы пользуемся какой-либо конкретной системой глубинных падежей).

Один из результатов введения предикатных структур состоит в том, что в семантической сети теперь может быть представлен эквивалент любого N-арного предиката, задаваемого посредством ИППП (см. часть 1-ю статьи Чарняка). До этого дополнения в семантической сети имелись эквиваленты (в виде дуги отношения) только для двухместных предикатов. Эти новые преимущества приводят, правда, к увеличению объема базы данных и, вероятно, к увеличению времени поиска. Впрочем, мы должны предупре-

* О глубинных падежах см.: Ф и л л о р, Ч. Дело о падеже.— В сб.: "Новое в зарубежной лингвистике", вып. X. М., 1981; о н ж е. Дело о падеже открывается вновь.— Там же.— *Прим. перев.*

дить читателя, что, несмотря на тот факт, что все современные семантические сети используют средства, аналогичные описанным предикатным структурам, авторы таких систем продолжают проводить свои рассуждения так, как будто бы этого не было, и продолжают использовать старую нотацию в качестве сокращения для новой. Мы будем поступать так же. Однако, когда будет проводиться дуга, в действительности представляющая некоторый узел, мы будем помечать ее символом узла в виде кружка в центре дуги. Так:



становится:



Иногда возникает необходимость представлять в базе данных суждения, про которые неизвестно, истинны ли они, или даже известно, что они ложны. Например, чтобы представить:

Peter said that he went to the store

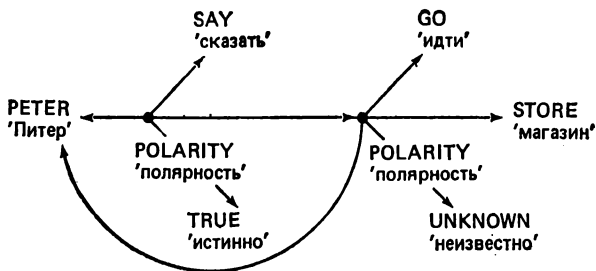
‘Питер сказал, что он пошел в магазин’

требуется, чтобы

He went to the store

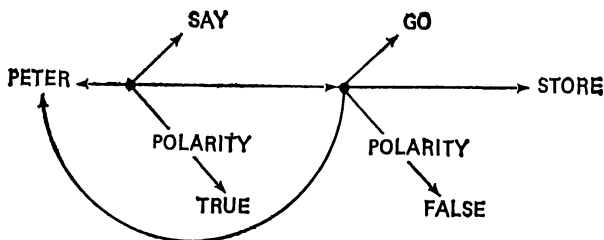
‘Он пошел в магазин’

было представлено каким-либо образом в нашей сети, даже если известно, что оно л о ж н о. Один из способов сделать это — пометить каждый предикатный узел значением истинности TRUE ‘истинно’, FALSE ‘ложно’ или UNKNOWN ‘неизвестно’. Так, Peter said that he went to the store могло бы быть представлено в следующем виде:



Здесь мы знаем, что Питер сказал это, но не знаем, действительно ли он пошел. Однако это обозначение не является достаточным для адекватного представления всех случаев. Рассмотрим схему:

(3)



Эта запись может пониматься двояко:

Peter said that he went to the store, but he really didn't
 'Питер сказал, что он пошел в магазин, но в самом деле он не пошел'

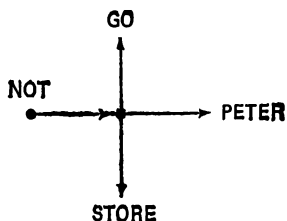
и:

Peter said that he didn't go to the store
 'Питер сказал, что он не идет в магазин'

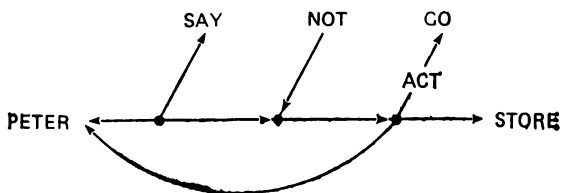
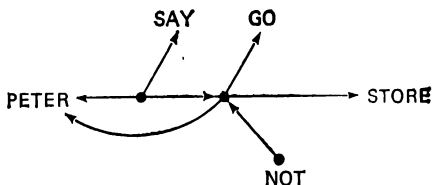
Один из способов записи, позволяющий преодолеть эту трудность, был разработан Шубертом (Schubert, 1975). Он использует логический оператор NOT 'не' в качестве предиката. Так:

Peter didn't go to the store
 'Питер не пошел в магазин'

представляется в виде:



Он вводит дополнительное соглашение о том, что некоторый узел в базе данных соотносится с действительным утверждением (которое объявляется истинным) тогда и только тогда, когда на схеме не существует входящей в него стрелки. Так, на последней схеме отрицание утверждает (is asserted), а утвердительное высказывание — нет. Опираясь на это соглашение, можно по разному представить два значения, которые "скрыты" в схеме (3):



РЕАЛИЗАЦИЯ

Следует остановиться на преобразовании семантических сетей в машинные представления. До сих пор мы пытались обсуждать проблематику семантических сетей, не рассматривая проблем их реального представления в вычислительной машине. Но существует по крайней мере один важный вопрос, который не встает при рассмотрении семантических сетей как графов, но который мы будем вы-

нуждены решать, если действительно попытаемся реализовать систему, основанную на семантической сети. Поскольку в цифровой вычислительной машине нельзя хранить линии и узлы как таковые, то мы должны выбрать некоторую альтернативную схему представления. Имеется две основных возможности:

Перечислить для каждого узла все отношения, в которые он вступает (вместе с именами узлов, на которые указывают отношения), то есть:

JOHN	'Джон'
HIT BILL	'ударил Билла'
LOVES MARY	'любит Мэри'

Перечислить для каждого понятия-отношения все пары узлов, которые связаны этим отношением.

LOVE	'Любитель'
JOHN, MARY	'Джон', 'Мэри'
JOAN, FRANK	'Джоан', 'Фрэнк'

(Можно было бы, конечно, идя на значительную избыточность, использовать оба эти способа, или, может быть, некоторую их комбинацию.) Второй вариант, если применить его отдельно, работать, по существу, не будет, поскольку в результате мы получим массив, где все случаи применения каждого данного отношения сгруппированы вместе. Это было бы не так уж плохо, если бы наши отношения были того типа, который описан ранее (и использован выше), то есть типа LOVE и HIT. Для того чтобы выяснить, любит ли Джон кого-нибудь, мы могли бы просто просмотреть записи, хранящиеся под рубрикой отношения LOVE, где был бы список всех пар (A, B), таких, что A LOVES B истинно. Если JOHN появляется в левой части какой-либо пары в этом списке, то мы считаем, что он любит кого-то (а именно лицо, приписанное ему в данном списке). Однако вспомним, что LOVE представляется сейчас посредством предикатной структуры, а отношения теперь носят характер понятий типа AGENT и OBJECT. Поскольку большинство (или все) предикаты имеют AGENT, поиск в списке пар для отношения AGENT был бы эквивалентен просмотру каждого предиката в базе данных, чтобы опре-

делить, встречается ли Джон в статусе агенса с последующей проверкой того, является ли найденный предикат ACT-OF LOVE. Даже после этого исчерпывающего поиска мы не знали бы, кто был ОБЪЕКТОМ его ЛЮБВИ.

С другой стороны, если бы все индексировались по узлам и мы хотели бы получить ответ на поставленный выше вопрос, мы просмотрели бы записи под рубрикой, соответствующей узлу JOHN, и увидели бы, является ли он агентом какого-либо предиката:

JOHN	LOVE 7
AGENT	ACT-OF LOVE
:	HAS-AGENT JOHN
:	HAS-OBJECT JILL
JILL	
OBJECT	LOVE 7

Если такой предикат есть и если это ACT-OF LOVE, то мы заключаем, что Джон любит кого-то. Заметим, что LOVE 7 (отдельный случай реализации LOVE) тоже является узлом, поэтому в базе данных должен быть указатель отношений, в которые он вступает. Чтобы выяснить, кого именно Джон любит, надо просто просмотреть отношение HAS-OBJECT в списке для LOVE 7. Итак, важно, чтобы данные хранились (по крайней мере) в узловом формате.

Заметим, что в приведенном примере индексирования у нас фактически хранилась избыточная информация. Чтобы выразить тот факт, что Джон любит Джилл, мы использовали пять записей, хотя теоретически могли бы обойтись и тремя, скажем, теми, которые перечислены под LOVE 7. Однако на практике этот путь малопригоден, поскольку при такой схеме каждый раз, когда мы хотели бы узнать, любит ли кого-либо Джон, система должна была бы просматривать каждый узел и определять, обладает ли он свойствами, приписанными выше узлу LOVE 7. Очевидно, в такой ситуации экономия на сокращении избыточных записей в указателях отношений только ради того, чтобы быть втянутыми в подобный поиск, была бы ложной экономией. Но в других случаях ситуация не столь ясна. Рассмотрим отношение SUBSET 'подмножество'. При полном индексировании хранилась бы не только информация при A о том,

что оно есть SUBSET относительно В, но также и при В — информация о том, что В есть SUPERSET относительно А. И снова мы имеем дело с избыточной информацией, но, как мы уже видели, поиск конкретного факта значительно ускоряется, если обратное отношение хранится в эксплицитном виде. Если же мы только укажем при А, что А SUBSET В, то будет очень трудно найти все подмножества узла, и наоборот. С другой стороны, представляется маловероятным, что человек всегда хранит в памяти как SUBSET, так и SUPERSET. Заметим, что на вопрос:

Dachshunds are _____?

‘Таксы являются _____?’

легко ответить “dogs” ‘собаками’, поэтому можно считать, что при DACHSHUND в памяти хранится соотношение (DACHSHUND SUBSET DOG) или какой-то его эквивалент. Но:

Name ten kinds of dogs

‘Назовите десять пород собак’

— гораздо более трудный случай. (Вы, может быть, и знаете десять пород, но если только Вы не являетесь знатоком собак, задание потребует от Вас определенного времени.) Это может служить свидетельством в пользу того, что при понятии DOG в памяти не хранится список всех его подмножеств. Но в целом вопрос о том, в каких же именно случаях должны храниться и прямые отношения, и обратные, остается нерешенным.

БЕГЛОЕ СРАВНЕНИЕ СЕТЕЙ И ИСЧИСЛЕНИЙ

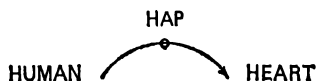
Очевидное преимущество представления в форме исчисления предикатов заключается в том, что мы получаем в свое распоряжение всю мощь ИППП и можем осуществлять логический вывод на основе базы данных без дополнительных усилий. ИППП дает средства для представления кванторов и других понятий, выразить которые в семантических сетях совсем не просто. Попробуйте представить в форме сети хотя бы такое выражение:

СУЩЕСТВУЕТ (X) (P(X) И Q(X) ИМПЛИЦИРУЕТ R(X)) Один из недостатков ИППП как способа представления данных состоит в отсутствии хорошей организации фактов

(см. часть I статьи Чарняка). Любой, кто пытался проводить доказательство в ИППП, знает, что не всегда легко выбрать формулы и правила вывода для вычисления некоторого конкретного факта. Методики, используемые в настоящее время в программах по доказательству теорем, являются даже менее эффективными, чем действия людей (в том, что касается выбора наиболее подходящего материала). В принципе, конечно, не существует причин, которые препятствовали бы принесению в ИППП многих структурных свойств семантической сети (многие из них действительно использовались в ИППП), но тем не менее, мы должны признать, что ИППП не оказалось такой же удобной основой для развития методов организации фактов, как семантические сети.

Хотя мы описывали семантические сети так, как будто это существенно отличный от ИППП метод представления памяти (и в самом деле, мы полагаем, что они действительно различны по цели), тем не менее можно показать, что они, в принципе, эквивалентны по выразительной силе, хотя из этого не следует эквивалентность по удобству пользования.

Чтобы убедиться в этом на интуитивном уровне, достаточно обратить внимание на сходство между списком двухаргументных предикатов ИППП и машинным представлением семантической сети, описанным в предыдущем разделе (то есть списком троек типа понятие — отношение — понятие). Однако не так легко показать, что они эквивалентны в точном смысле. Главные трудности концентрируются при этом вокруг проблемы квантификации. Каким образом выражаются в семантической сети кванторные свойства отношений? Многие сторонники семантических сетей, описывая смысл вводимых отношений в терминах квантификации, делают это весьма неопределенно, а иногда даже и непоследовательно. Например, если представление



является подструктурой базы данных, то обычная его интерпретация состоит в том, что *все* люди (HUMAN) имеют сердце (HEART). Но если в базе данных имеется представление



то нам говорят, что это означает, что мужчины иногда играют в футбол. (Или, более точно, мы считаем, что в то время как каждый человек имеет сердце, если специально не утверждается обратное, то в футбол играют лишь *некоторые* мужчины.) При ближайшем рассмотрении оказывается невозможным приписать отношениям некую простую интерпретацию, которая покрывала бы все возможные квантификации этого отношения. Чтобы убедиться в этом, заметим, что у двухместного предиката в исчислении предикатов может быть шесть разных квантификаций:

- (4) а) ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (ДЛЯ ЛЮБОГО (Y) (RX, Y))
- б) ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (СУЩЕСТВУЕТ (Y) (RX, Y))
- в) ДЛЯ ЛЮБОГО (Y) (СУЩЕСТВУЕТ (X) (RX, Y))
- г) СУЩЕСТВУЕТ (X) (ДЛЯ ЛЮБОГО (Y) (RX, Y))
- д) СУЩЕСТВУЕТ (Y) (ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (RX, Y))
- е) СУЩЕСТВУЕТ (X) (СУЩЕСТВУЕТ (Y) (RX, Y))

Однако в семантической сети можно отразить только четыре разных квантификации, получаемых посредством присоединения кванторов к каждому концу дуги отношения:





Если семантическая сеть должна иметь в плане квантификации ту же выразительную силу, что и ИППП, тогда должны быть найдены некоторые дополнительные (более сложные) структурные правила.

Шуберт (Schubert, 1975) указал один способ перевода большинства структур, имеющих в ИППП, в семантическую сеть. Для этого высказывание, представленное в форме исчисления предикатов, он прежде всего переписывает в форме Сколема (см. первую статью Чарняка), — в форме, которая не имеет кванторов существования, а все кванторы общности находятся за пределами основной части выражения. В его графе узлы, которым приписан квантор общности, специально помечены (он использовал пунктирный кружок). Любой узел, обозначающий некоторую функцию Сколема и зависящий от узла, соотносящегося с квантором общности, соединяется (посредством пунктирной дуги) с этим узлом-хозяином, например:

(5) Every man loves a woman.

'Каждый мужчина любит женщину.'

имеет две интерпретации, представляемые в ИППП как:

FOR-ALL (X) (EXISTS (Y) (MAN (X) IMPLIES (WOMAN (Y) AND LOVE (X, Y))))

'ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (СУЩЕСТВУЕТ (Y) (МУЖЧИНА (X) ИМПЛИЦИРУЕТ (ЖЕНЩИНА (Y) И ЛЮБИТ (X, Y))))' и

EXISTS (Y) (FOR-ALL (X) (WOMAN (Y) AND (MAN (X) IMPLIES LOVE (X, Y))))

'СУЩЕСТВУЕТ (Y) (ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (ЖЕНЩИНА (Y) И МУЖЧИНА (X) ИМПЛИЦИРУЕТ ЛЮБИТ (X, Y))))'

В результате сколемизации мы получаем:

FOR-ALL (X) (MAN (X) IMPLIES WOMAN (MANS-WOMAN (X))) AND LOVE (X, MANS-WOMAN (X)))

'ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (МУЖЧИНА (X) ИМПЛИЦИРУЕТ

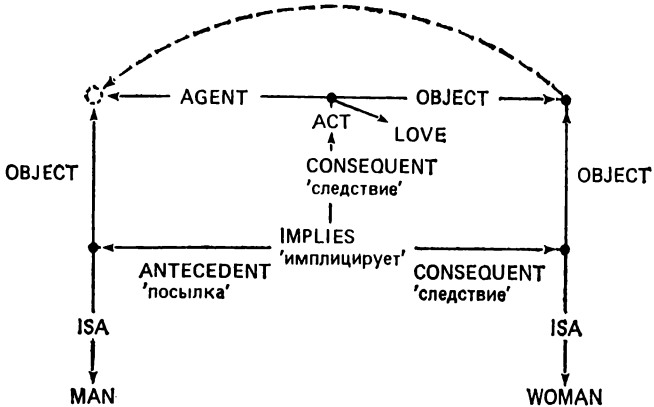
ЖЕНЩИНА (ЖЕНЩИНА-МУЖЧИНЫ (X)) И ЛЮБИТ (X, ЖЕНЩИНА-МУЖЧИНЫ (X)))'

FOR-ALL(X) (WOMAN(A) AND (MAN(X)IMPLIES LOVE(X,A)))

'ДЛЯ ЛЮБОГО (X) (ЖЕНЩИНА (A) И (МУЖЧИНА (X) ИМПЛИЦИРУЕТ ЛЮБИТ (X, A)))'

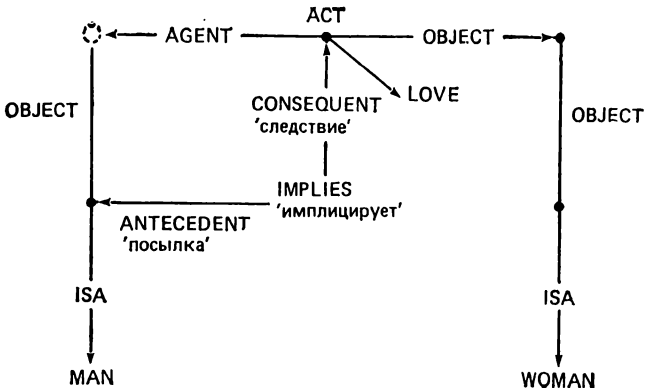
(A является константой).

В семантической сети два этих утверждения могут быть представлены следующим образом:



(6) Every man has a woman to love.

'Каждый мужчина имеет женщину, которую он любит.'



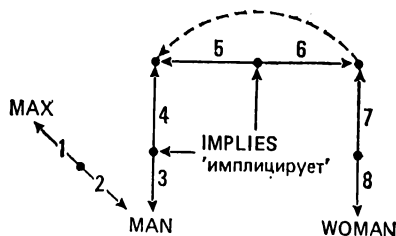
(7) There is a woman and every man loves her.

‘Имеется женщина, и каждый мужчина любит ее.’

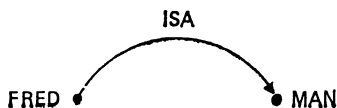
Узлы, помеченные пунктирными кружками, соотносятся с кванторами общности. Пунктирная дуга обозначает зависимость (в смысле функций Сколема) узла, обозначающего женщину, которую любят, от узла, обозначающего мужчину, который испытывает эту любовь. Заметим, что в (6) единственным утверждаемым отношением является импликация, а в (7) утверждается также существование женщины.

Некоторое дополнительное размышление убеждает нас в том, что с помощью этой методики в семантической сети могут быть скопированы все детали репрезентационных возможностей ИППП. (Аналогично, любая связь в семантической сети может мыслиться как двухместный предикат ИППП. Итак, можно считать, что семантические сети и исчисление предикатов обладают эквивалентной репрезентационной силой.)

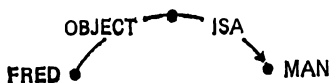
Все это довольно красиво на уровне теории. Но на практике построения Шуберта являются слишком громоздкими. Так, в контексте приведенных примеров, если бы было также известно, что Макс является мужчиной, и мы хотели бы определить, любит ли он женщину, то кратчайший путь от Макса к женщине, который мы должны были бы пройти, состоял бы из восьми звеньев, как это можно увидеть из следующей упрощенной схемы:



Заметим, что Шуберт счел необходимым представлять отношение принадлежности к классу типа (ISA MAN) как предикатную структуру. Другими словами, если ранее Fred is a man ‘Фред — мужчина’ выглядело как:



то сейчас оно будет выглядеть как:



Вообще любая программа для вывода простых фактов типа отношений ISA будет более сложной, чем нам хотелось бы этого. Читатель может проверить, что такая процедура потребует в исходных сетях два шага, а в расширенных сетях (с предикатной структурой) — четыре шага.

До сих пор мы интересовались тем, как можно модифицировать сеть для того, чтобы включить в нее свойства исчисления предикатов, но исследования проводились также и в обратном направлении — с целью приблизить представление ИППП к семантическим сетям (S a n d e w a l l, 1970). Сэндуолл отмечает, что если использовать традиционную нотацию предикатов в ИППП, то возникают некоторые трудности. Так, допустим, мы представили факт, что Джон любит Мэри, следующим образом:

LOVES (JOHN, MARY)

В рамках ИППП не существует способа для представления выражения

Bill believes that John loves Mary

‘Билл полагает, что Джон любит Мэри’, потому что запись

BELIEVE (BILL, LOVES (JOHN, MARY))

не является допустимой в ИППП. (В первой статье Чарняка говорилось, что предикаты не могут выступать в качестве аргументов других предикатов.) Сэндуолл предлагает два способа преодоления этой трудности в пределах ИППП, один из них приводит к следующему представлению последнего примера:

VERB (E1, BELIEVE)

SUBJECT (E1, BILL)

OBJECT (E1, E2)

VERB (E2, LOVES)

SUBJECT (E2, JOHN)

OBJECT (E2, MARY)

Если эта запись кажется читателю знакомой, то в этом нет ничего удивительного: по существу, такое же решение было предложено выше в настоящей статье для преодоления аналогичных трудностей, связанных с сетями; глаголы были преобразованы в предикатные структуры и были введены глубинные падежи.

Иногда объединение сетей и ИППП представляет собой попытку ликвидировать разрыв между взглядами сторонников ИППП, которые хотят иметь строгий формализм, всегда обеспечивающий доказуемость получаемых выводов, и взглядами тех, кто чувствует, что этот строгий формализм накладывает слишком жесткие ограничения на факты, которые могут быть с его помощью представлены, и на выводы, которые могут быть сделаны на основании этих фактов. Две попытки представить кванторные значения в семантических сетях так, чтобы обеспечивалась возможность менее формальных и в то же время приемлемых с интуитивной точки зрения выводов и/или представлений, были приняты Пальме и Скрэггом. Ни тот, ни другой на самом деле не гарантируют, что в сети могут быть представлены все возможные комбинации кванторов, но тем не менее предлагают определенные правила квантификации. Скрэгг попытался просто игнорировать формальные ограничения ИППП и связал проблемы кванторных значений с проблемами представления более неопределенных кванторов, которыми мы постоянно пользуемся в речи; таковы, например, *many* 'много', *more* 'больше', *some* 'некоторый' и т. д. Пальме, с другой стороны, ввел новый квантор — СВОЙ (ITS).

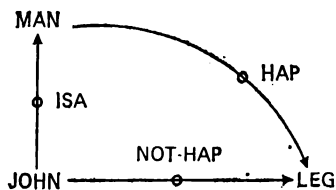
Скрэгг (S c r a g g, 1973) попытался разрешить эти проблемы на основе умышленного сохранения некоторой доли неопределенности в осмыслении кванторных свойств отношений и в то же время на основе нескольких простых наблюдений над природой квантификации в реальной жизни. Все отношения рассматриваются как лишенные кванторных характеристик; считается, далее, что кванторные уточнения могут быть получены в случае необходимости. Такие уточнения могут осуществляться несколькими способами.

1. Отношения между конкретными понятиями, или элементами (*tokens*), никогда не получают кванторной характеристики. Отношение между понятием-элементом и понятием-типом не может подвергаться квантификации со стороны элемента. Итак, нам нужно беспокоиться о кван-

тификации лишь тех узлов, которые обозначают понятия-типы (тем самым мы учли случаи 4г, д, е).

2. Отношения с двойным квантором общности редко встречаются в рамках обычного (не научного) знания. Мы не часто делаем утверждения о фактах типа All men love all women. 'Все мужчины любят всех женщин.' Следовательно, если мы исключим из рассмотрения подобные случаи, то мы не много потеряем (таким образом мы учли и случай 4а).

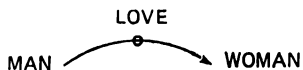
3. Можно применить и принцип локальности информации. Под этим имеется в виду следующее: когда встречаются два факта, являющиеся несовместимыми, мы должны отдать предпочтение более локальному факту, то есть тому, который находится в сети ближе к интересующему нас узлу. Рассмотрим в качестве примера фрагмент сети:



Можно считать, что здесь записано непротиворечивое утверждение, согласно которому мужчины вообще (в своем большинстве) имеют ноги, но по крайней мере один (Джон) их не имеет. Заметим, что утверждение о том, что Джон не имеет ног, изображено "ближе" по отношению к узлу "Джон", чем тот факт, что мужчины вообще имеют ноги. (Из этого следует, что поиск информации должен проводиться сначала путем просмотра всей информации, тесно связанной с данным узлом, и лишь после этого, если локальная информация отсутствует, можно обращаться к более отдаленным связям.)

4. Некоторые отношения, такие как HAP, всегда получают кванторное сочетание ДЛЯ ЛЮБОГО, СУЩЕСТВУЕТ. Когда подобное отношение применяется к узлу-типу, его значение должно пониматься так, что для каждого элемента из рассматриваемого первого класса должен существовать единственный элемент из второго класса, связанный с первым данным отношением (то есть должна существовать функция, позволяющая найти второй элемент). Так, MAN HAP HEART означает, что каждый человек имеет некото-

рое сердце. Внимательный читатель заметит, что это два остающихся случая (4б, в) и что это как раз та самая ситуация, для которой Шуберту потребовались функции Сколема. Мы считаем, что такие отношения имеют квантор общности в хвостовой точке стрелки, а квантор существования в головной точке стрелки. Фраза *Every man loves some woman* 'Каждый мужчина любит какую-то женщину' получает следующее простое представление:

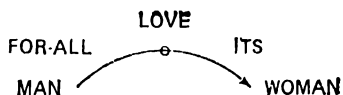


Заметим, что фраза *Every woman is loved by some man* 'Каждая женщина любима каким-то мужчиной' была бы представлена так:



Поскольку два английских утверждения не являются эквивалентными, мы должны предположить, что предикаты LOVE и LOVED-BY не являются обратными по отношению друг к другу в точном смысле, если использовать указанное соглашение. Это раздвоение, конечно, могло бы создать трудности. Пока еще не ясно, как показать, что конкретное отношение связывает каждый член некоторого ограниченного подмножества с каждым членом другого ограниченного подмножества. (Например, *Every boy in the class loves every girl in the class*. 'Каждый мальчик в данном классе любит каждую девочку в данном классе.')

Пальме (Palme, 1973) попытался представить кванторные значения посредством введения третьего квантора — СВОЙ. Последний может мыслиться как значение соответствующего посессивного местоимения. Не удивительно, что это местоимение используется в тех же самых ситуациях, для которых Шуберт и Скрэгг должны были разработать специальные средства: это ситуации типа ДЛЯ ЛЮБОГО *x* СУЩЕСТВУЕТ *y*. Используя три квантора, он смог для каждого прежнего неквантифицированного отношения определить шесть отдельных отношений: помещая ДЛЯ ЛЮБОГО или СУЩЕСТВУЕТ слева и ДЛЯ ЛЮБОГО, СУЩЕСТВУЕТ или СВОЙ справа. Приводившийся выше пример получает представление:



Несложный подсчет показывает, что система Пальме располагает шестью возможными комбинациями для кванторных значений, которых как раз достаточно, чтобы охватить все случаи в примере (4).

ДВЕ СИСТЕМЫ, ОСНОВАННЫЕ НА СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

До сих пор мы обсуждали проблемы представления информации только на очень низком и общем уровне. Теперь мы кратко рассмотрим две конкретные системы, а именно системы Шенка и Симмонса, и укажем два различных направления, которые они выбрали, основываясь на семантических сетях, подчиняющихся, по существу, тем же самым правилам, которые были нами изложены.

СИСТЕМА ШЕНКА

Уже давно ведется спор по поводу необходимости использования компонентных (primitive) представлений, то есть таких, в которых все понятия могут быть разбиты на понятия-компоненты, причем последние образуют небольшой конечный набор. Двумя главными сторонниками использования таких компонентов выступают Уилкс (см. часть II статьи Уилкса) и Шенк. Теория Шенка, известная как теория концептуальных зависимостей, является одной из наиболее совершенных попыток создания набора правил, точно определяющих, что может появиться в репрезентации, подобной семантической сети. В своем нынешнем варианте, называемом MARGIE (S h a n k et al., 1973), система Шенка включает анализатор английского языка, созданный Ризбском (R i e s b e c k, 1974), подсистему семантической памяти Ригера (R i e g e r, 1974) и генератор английского языка Голдмана (G o l d m a n, 1974). MARGIE работает в двух режимах: в *режиме перифразирования* и в *режиме вывода умозаключений*. (Возможности данной системы в плане вывода умозаключений обсуждаются во второй статье Чарняка.) Для режима перифразирования типичным при-

мером является следующий:

INPUT: John killed Mary by choking Mary.

ВХОД: 'Джон убил Мэри, задушив Мэри.'

OUTPUT: John strangled Mary.

John choked Mary and she died because she could not breathe.

Mary died because she was unable to inhale some a i r and she was unable to inhale some a i r because John grabbed her neck.

ВЫХОД: 'Джон удавил Мэри.'

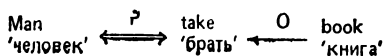
'Джон задушил Мэри, и она умерла, потому что она не могла дышать.'

'Мэри умерла, потому что она была не в состоянии вдохнуть воздух, и она была не в состоянии вдохнуть воздух, так как Джон схватил ее за горло.'

Шенк стремился дать такое представление значения, в терминах которого можно было бы решать эти и другие задачи, например задачу машинного перевода; представление, которое, кроме того, было бы независимо от конкретного языка, от синтаксиса, а также от каких бы то ни было поверхностных структур. (Это сильно сближает систему Шенка с моделью представления памяти.)

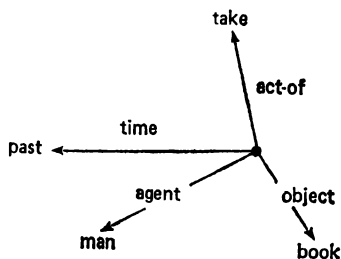
Формальная структура графов Шенка та же, что в грамматике зависимостей (Н а у s, 1964), а элементы (узлы) в графе могут принадлежать к четырем типам, или концептуальным категориям. Они обозначаются аббревиатурами РР, АСТ, РА и АА и примерно соотносятся — соответственно — с существительным, глаголом, прилагательным и наречием. Правда, это значительное упрощение, сделанное только для того, чтобы дать краткое и независимое описание. На самом же деле многие английские существительные в теории концептуальных зависимостей представляются как действия (АСТs), например hunt 'охота'. Эти единицы объединяются и образуют базисную структуру, "концептуализацию", которая очень близка к предикатным структурам. Концептуализация для The man took a book 'Человек взял книгу' выглядит примерно так:

(8)



Для тех, кто не знаком с падежной нотацией Шенка*, поясним, что $\leftarrow \begin{matrix} \circ \\ \leftarrow \end{matrix}$ означает, что Man находится в падеже АСТОР, а \leftarrow указывает на падеж ОБЪЕКТа. Можно сказать, что и человек, и книга находятся в зависимости от центрального АКТа (take 'брать'). Наконец, "P" означает прошедшее время. Для соединения концептуальных категорий разработан тщательно продуманный синтаксис, который будет описан ниже лишь частично. Отметим сходство между (8) и (9).

(9)



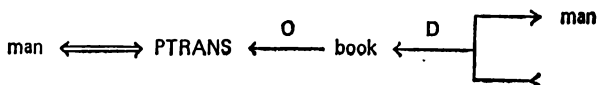
Главное различие состоит в том, что (9) использует предикатную структуру, тогда как в (8) ее нет, но при машинной реализации (8) фактически используются предикатные структуры по причинам, упоминавшимся выше в данной статье.

Ядром нотации Шенка являются его 11 базисных, или "элементарных" (primitive), действий. Это PROPEL 'приводить в движение', MOVE 'двигать', INGEST 'глотать', EXPEL 'выталкивать', GRASP 'схватывать', PTRANS 'физически перемещать', MTRANS 'ментально перемещать', ATRANS 'передавать', SPEAK 'говорить', ATTEND 'присутствовать' и MBUILD 'ментально создавать'. Существует также недостаточный глагол DO 'делать'. Точное число здесь не важно, так как оно может меняться. Но важно то, что это число весьма незначительно. Шенк считает, что этих элементарных действий вместе с небольшим (но пока еще не установленным) числом состояний вполне достаточно для того, чтобы представить значения всех глаголов.

* Детальное описание теории концептуальных зависимостей см. в книге: Шенк Р. Обработка концептуальной информации. М., 1980.— Прим. ред.

Лучше всего пояснить использование этой нотации путем рассмотрения нескольких примеров (в порядке возрастающей трудности).

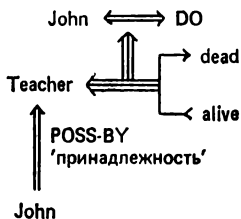
Наш пример (8) (The man took a book) в действительности будет выглядеть так:



Это соответствует примерно следующему: The man P h y s i c a l l y T R A N S f e r r e d the book from some unknown location to himself. '[Этот] человек Ф и з и ч е с к и П Е Р Е м е с т и л [определенную] книгу из какого-то неизвестного места к себе.'

John killed his teacher

'Джон убил своего учителя'



'Джон сделал нечто, что каузировало (\Uparrow) то, что учитель перешел из (\Leftarrow) живого состояния в мертвое.'

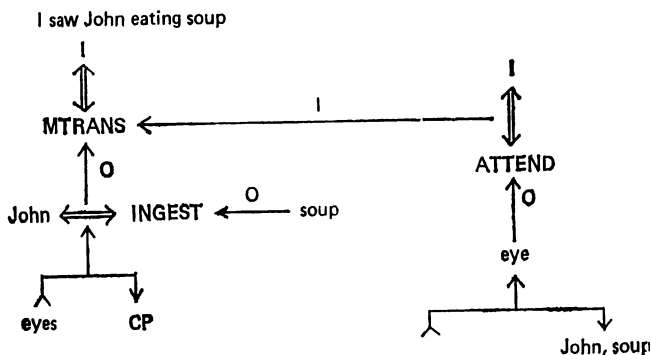
Очевидно сходство этого представления с представлением в порождающей семантике (cause to be dead 'каузировать быть мертвым').

I saw John eating soup

'Я увидел, что Джон ест суп'. (См. схему на с. 258.)

Чтобы понять этот пример, обратимся сначала к его левой половине. Здесь говорится, в сущности, что «я ментально ПЕРЕМестил (MTRANS) информацию из моих глаз (eyes) в мой концептуальный процессор (CP) и информация, которая переместилась, состояла в том, что Джон ест суп (soup)». В правой половине говорится, что the way this information transfer was accomplished was by ATTENDING my eye from some unknown location to John and the soup.

‘способ, которым было выполнено перемещение этой информации, **состоял в обращении (ATTEND) моих глаз от некоторого неизвестного места к Джону и супу**’.



Шенк разработал правила, которые задают правильно построенные концептуализации. Так, например, элементарный акт **INGEST** должен иметь в качестве своего инструмента акт **PTRANS**. Существуют также умозаключения, которые должны быть истинными для любого АКТА, классифицируемого как действие **INGEST**, например: проглоченная вещь меняет форму; если проглоченная вещь съедобна, проглотивший ее становится “более сытым” и т. д. Чтобы увидеть, как **эти** правила работают, давайте посмотрим, как строятся полные концептуализации.

John ate a fig

‘Джон съел фигу’

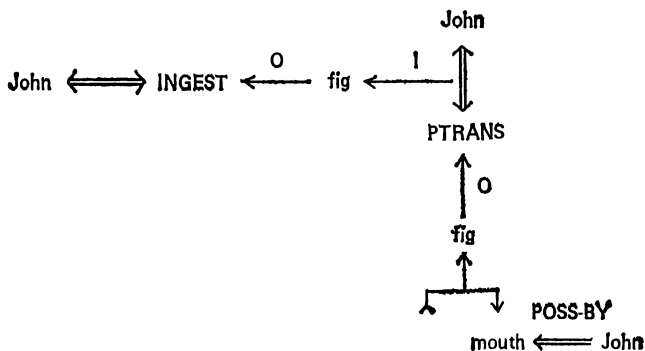
Основная дефиниция для eat ‘есть’ следующая:



Мы можем рассматривать эту запись как активное образование с пробелами, которые программа пытается заполнить на основе анализа контекста, в составе которого была активизирована эта дефиниция. Так, заполняя переменные в контексте нашего предложения, мы получаем:



Но это не все. Одно из правил, определяющих правильные концептуализации, гласит: все АКТЫ имеют инструменты; но на приведенной выше схеме они отсутствуют. Более того, INGEST определяет, что его инструментом всегда является PTRANS Y to the mouth of X 'физическое перемещение Y-а ко рту X-а' (или, что менее вероятно, движение рта к этому объекту). Это дает:



Из этого, если мы захотим, можно выводить дальнейшие умозаключения типа упомянутых выше. Что важно отметить, так это то, как далеко удалена эта полная концептуализация от исходного предложения.

СИСТЕМА СИММОНСА

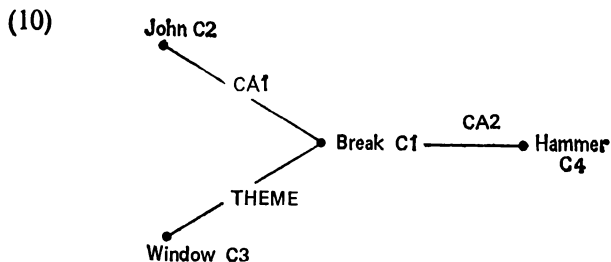
В отличие от Шенка, Симмонс не считает, что все описания должны представляться на уровне компонентов (primitives). Но он накладывает вполне определенную структуру на свои сети, в которой многое связано с его конкретной падежной системой. Типичным примером является предложение:

John broke the window with a hammer.

‘Джон разбил окно молотком.’

Симмонс представляет это предложение как сеть с узлами С 1, С 2, С 3, С 4, соотносимыми с подходящими смыслами слов "John", "break" 'разбивать', "window" 'окно', "hammer" 'молоток' соответственно. Отношения между узлами помечаются посредством одного из "глубинных

падежных отношений“: CAUSAL-ACTANT (CA1, CA2) ‘каузальный актанта’, THEME ‘тема’, LOCUS ‘место’, SOURCE ‘источник’ и GOAL ‘цель’. Так, в (10) John является первым каузальным актанта (CA1) действия разбиения, молоток рассматривается как второй каузальный актанта (CA2) этого действия, а окно выступает как тема разбиения. Таким образом, ядро анализа можно представить с помощью следующей схемы:



или (для внутримашинного представления) — с помощью набора троек отношений:

(C1 CA1 C2) (C1 CA2 C4) (C1 THEME C3)

Однако это еще не полное представление, и наше использование в схеме словесных помет вводит в заблуждение, поскольку узлы по замыслу должны быть чем-то вроде того, что мы раньше называли *понятиями-элементами* (tokens). (Симмонс говорит, что узел представляет “контекстуальное значение слова”) Эти элементы связаны со смыслами конкретных слов посредством отношения ТОК (‘быть представителем’), которое в грубом приближении эквивалентно отношению ISA, то есть, например, упоминание слова the bank (в значении учреждения) будет представлено в сети посредством, скажем, C55, которое будет связано отношением ТОК со смыслом слова “bank”, соотносящимся с местом, где обычно хранят деньги. Конечно, оно не будет прямо связано со словом bank в целом, которое в действительности является неоднозначным. В реализации этой модели смыслы слов будут представлены как отдельные *лексические единицы* (entries), которым будут присвоены условные имена типа L97. Для конкретного смысла “apple” ‘яблоко’ Симмонс предлагает следующий ассоциируемый с ним набор синтаксических и семантических признаков:

(11) NBR (number) 'число' — S (singular) 'единственное'
 SHAPE 'форма' — spherical 'сферическая'
 COLOR 'цвет' — red 'красный'
 PRINTIMAGE 'печат- — apple 'яблоко'
 ный вид'

THEME 'тема' — eat 'есть'
 SYNTACTIC-CATEGORY — noun 'существительное' и т.д.
 'синтаксическая категория'.

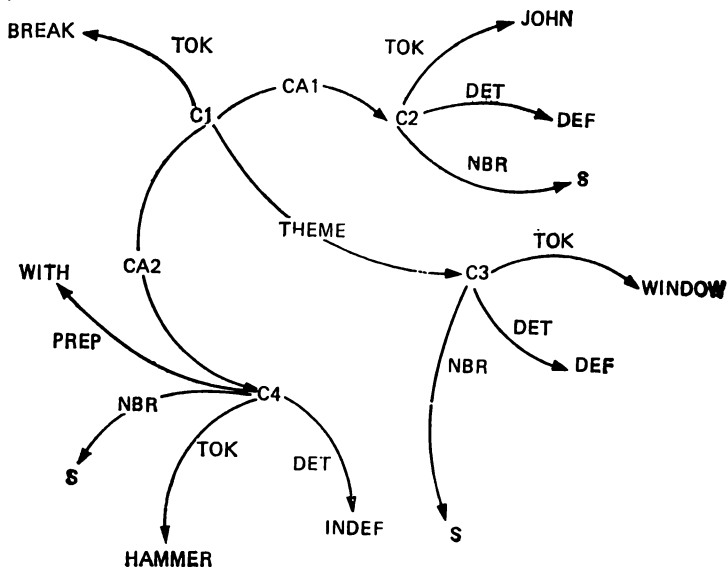
Возвращаясь к нашему примеру John broke the window,
 можно дать следующую полную репрезентацию, включающую
 отношения TOK:

(C1 TOK break) (C1 CA1 C2) (C1 THEME C3) (C1 CA2 C4)
 (C2 TOK John) (C2 DET Def) (C2 NBR S)
 (C3 TOK window) (C3 DET Def) (C3 NBR S)
 (C4 TOK hammer) (C4 DET Indef) (C4 NBR S) (C4 PREP

with)

(Здесь DET — 'детерминация', Def — 'определенная',
 Indef — 'неопределенная', PREP — 'предлог').

(12)



Сеть в (12) также является представлением и для следующих предложений, которые могут мыслиться в качестве поверхностных вариантов единой "глубинной" (underlying) структуры:

John broke the window with a hammer.

'Джон разбил окно молотком.'

John broke the window. 'Джон разбил окно.'

The hammer broke the window. 'Молоток разбил окно.'

The window broke. 'Окно разбилось'.

Ясно, что метод Симмонса, приписывающий некоторый узел определенному смыслу слова, в любом случае не является системой, основанной на компонентном подходе, как у Шенка. Зато Симмонс использует систему правил перифразирования, которая, по замыслу, позволяет переходить от одной сети к другой, причем эти переходы, как он считает, эквивалентны введению в систему компонентов. Так, в *S i m m o n s*, 1973 рассматриваются предложения:

John bought the boat from Mary.

'Джон купил лодку у Мери.'

Mary sold the boat to John.

'Мери продала лодку Джону.'

которые обычно считаются близкими перифразами друг друга. Однако его система будет представлять их р а з л и ч н о.

C1 TOK buy, SOURCE (Mary), GOAL (John), THEME (boat)

C1 TOK sell, SOURCE (Mary), GOAL (John), THEME (boat)

Используя нотацию Симмонса, мы можем, однако, получить и единую репрезентацию для обоих предложений, введя элементарное действие transfer 'перемещать':

C1 TOK and, Args C2 , C3

C2 TOK transfer, SOURCE (John), GOAL (Mary), THEME (money)

C3 TOK transfer, SOURCE (Mary), GOAL (John), THEME (boat)

Симмонс останавливается на первом варианте представления и на правилах перифразирования для получения одной формы из другой.

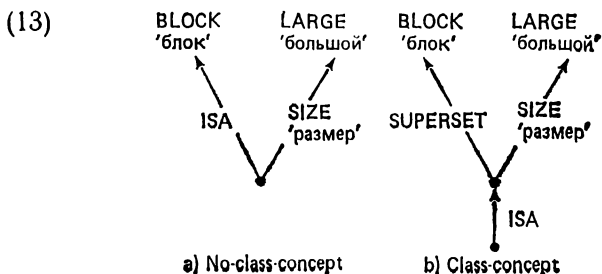
Должно быть ясно, что представление Симмонса гораздо ближе к естественному языку, чем представление Шенка, и не только потому, что он избегает введения компонентов,

но еще и потому, что в его системе *элементы* (tokens) — это представители лексических значений. Иногда это приводит к непредвиденным проблемам. Вернемся к (11). Существуют признаки, приписанные apple, которые описывают яблоко, признаки, которые описывают машинные характеристики, например PRINT-IMAGE, и, наконец, признаки, описывающие роль, которую играет это слово в синтаксисе. Симмонс, конечно, не единственный, кто ставит в один ряд такие несопоставимые единицы. Тем не менее мы полагаем, что подобный подход может привести только к затруднениям. Если мы запрашиваем информацию о яблоке, мы, конечно, не захотим, чтобы нам говорили о его печатном виде.

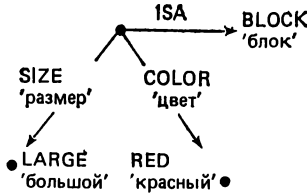
ОРГАНИЗАЦИЯ

Расширения, обсуждавшиеся до сих пор, касались очень конкретного уровня дробления информации. Что же можно сказать о всеобъемлющей организации памяти и о представлении более сложных идей, таких, как описания физических объектов или серии событий?

Различные взгляды, выражаемые разными исследователями о высших уровнях организации памяти, по-видимому, отражают те или иные пристрастия их сторонников в области психологической теории или теории использования вычислительной техники. Иначе говоря, на организацию памяти влияют как соображения, связанные с механизмами вывода умозаключений, так и желание точно моделировать интеллектуальное поведение человека. Начнем с простого примера, попытаемся установить, каково могло бы быть представление для понятия large block 'большой блок'. Можно было бы ожидать, что такая простая вещь не должна быть предметом спора. Однако для этого понятия возможны два представления:

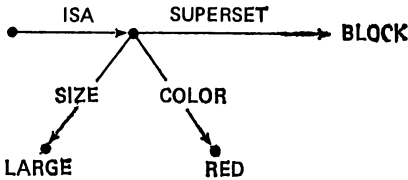


Главное различие состоит в том, что (13б) предполагает существование понятия "large block" как класса вещей, тогда как (13а) этого не предполагает. Число возможных представлений увеличится, если мы добавим новые прилагательные. В теории "не-классных" понятий а large red block 'большой красный блок' представляется очевидным способом:



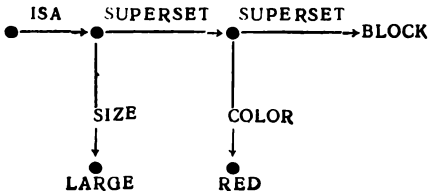
Однако при использовании "классных" понятий допускаются три других возможности (см. рис. 14а, б, в).

(14) а)



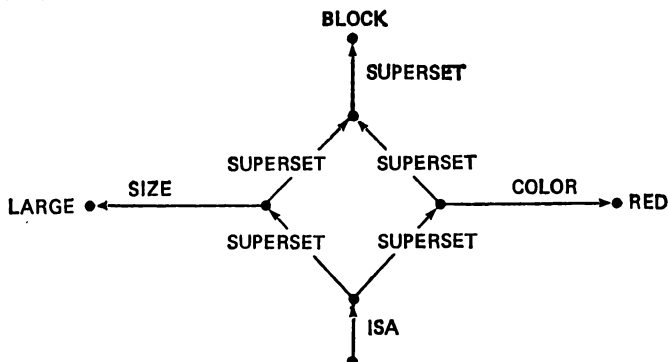
Ни одна из этих структур не является безупречной. (14а) не соотносит понятие "large red block" с понятием "large block". Автор же полагает, что эти понятия должны быть связаны эксплицитно. (14б) отражает тот факт, что данный блок фактически является красным блоком, но не может отразить симметричный факт, состоящий в том, что это точно так же и большой блок. Когда будут использоваться более чем два определяющих свойства, то при построении схем типа (14в) проектировщик системы будет сталкиваться с ком-

(14) б)



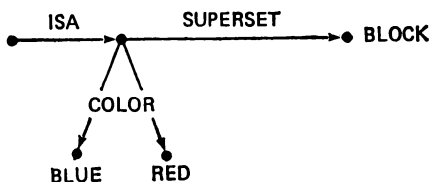
бинаторным взрывом, либо ему придется иметь дело с очень сложной проблемой выбора: он должен будет определить, какие из нескольких возможных отношений теоретико-множественного включения должны быть эксплицированы.

(14) в)

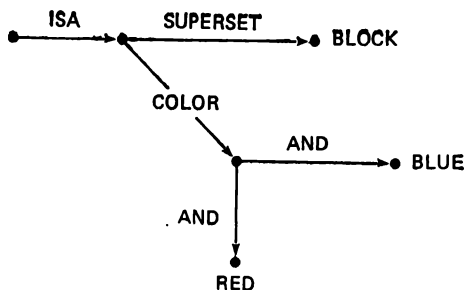


Сходная проблема, касающаяся как "классных", так и "не-классных" представлений, возникает в случае, когда подмножество определяется посредством двух свойств, которые не являются независимыми друг от друга. Например, блок, который является фактически многоцветным, может быть представлен следующим образом:

(15)



Но из соглашений, которые использовались до сих пор, следует, что данный блок является с площадью красным и с площадью синим. Один из способов выбраться из этого противоречия — представить blue and red block 'синий и красный блок' следующим образом:

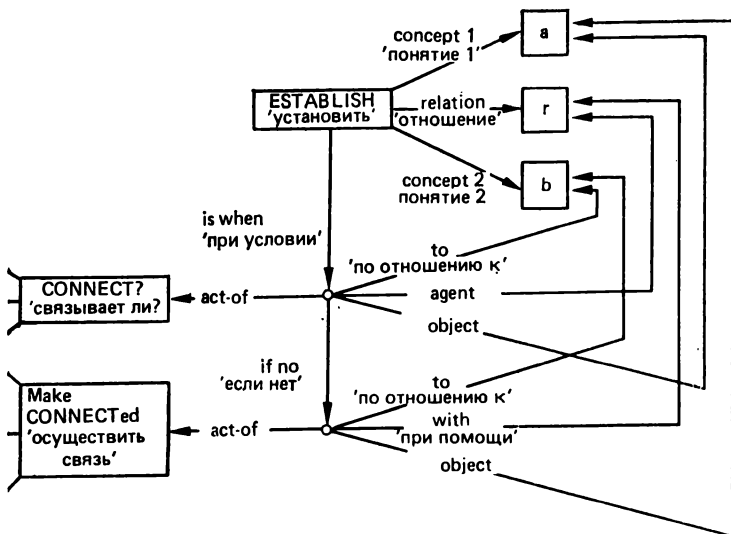


Другая альтернатива: используя для представления blue and red block схему (15), ввести правило о том, что определенные связанные свойства (например, идентичные) не могут применяться к узлу порознь.

Вопрос о выборе представления затемняется еще более в случае семантической записи идиом или тонких вариантов общих понятий. Выражение very red nose 'очень красный нос' должно иметь представление, которое показывает, что хотя фактически речь идет о красном носе, но его краснота в данном случае есть нечто особое. Black men 'чернокожие люди' обозначает не множество людей, имеющих кожу черного цвета, а людей, которые обладают определенным набором характеристик, и в их число не обязательно входит чернота. (Вероятно, на самом деле этот вопрос относится к проблематике автоматического анализа.)

События также объединяются в группы для образования более сложных событий. Какой более высокий уровень организации был предложен для сложных событий? Для того чтобы говорить о такой организации, давайте предположим, что у нас есть некоторое представление для действий и простых конструкторов, скажем, типа шенковского. Это значит, что мы определили, какие отношения мы будем допускать и в каких комбинациях, а также имена наших элементарных действий. Далее, предположим, что мы условились о переводах "наивных понятий" (everyday concepts) на язык этого представления, то есть мы имеем некоторую структуру для sweet 'сладкий', для buy 'покупать' и т. д. В связи с этим нам сейчас нужна теория более сложных действий. Например, как соединить описания различных подэтапов процесса приготовления торта в единое описание всеобъемлющего действия приготовления торта.

Норман определяет сложное действие в семантической сети путем описания его как упорядоченного списка подэтапов, необходимых для выполнения этого действия. Довольно интересно то, что он может описывать подобным путем также действия, которые оперируют базой данных. Например, определением для establish 'устанавливать'; 'создавать'; 'учреждать' (у него это процедура, которая должна гарантировать, что тройка "argb" находится в базе данных) является следующая сеть:



Интерпретацией этой сети является программа для определяемого в ней понятия ESTABLISH. Программа принимает три параметра a, r и b. Определение отношения (команды) is when состоит в том, что программа сначала использует блок CONNECT?, чтобы проверить, связывает ли уже отношение r понятия a и b в базе данных. Если нет (if no), то a связывается (благодаря действию блока make-CONNECTed) с b посредством r. Обратите внимание, что произошло. В приведенном выше представлении с помощью семантической сети была определена процедура, которая оперирует данной семантической сетью. В рамках сети оказывается возможным не только описывать события, но и определять все способы использования данных (то есть ме-

ханизмы вывода умозаключений). С одной стороны, описание ESTABLISH является частью данных, потому что оно представлено в семантической сети, с другой стороны, оно одновременно является процедурой.

Итак, мы косвенным образом подошли к спору о представлении данных. Есть исследователи, которые утверждают, что всякое знание хранится в форме процедур, и другие ученые, которые заявляют, что оно хранится как собрание фактов. В системе Нормана это разграничение умышленно затемняется (автор считает, что так и следует поступать). Различные исследователи придерживаются той или иной крайней точки зрения и приводят много примеров в поддержку своего мнения. Одним из серии таких прототипических примеров является вопрос об определении дуги. С одной стороны, сторонники процедурного подхода говорят о том, что способ представления знания о дуге должен заключаться в создании программы, скажем, для ее распознавания. Сторонники фактографического подхода полагают, что нужно просто иметь описание обобщенной дуги. Если посмотреть с этой точки зрения на расхождения между Симмонсом и Шенком, то обнаружится, что эти расхождения являются фактически вариантом указанного спора. Шенк хочет иметь универсальное (для любых целей) представление, тогда как Симмонс хочет иметь процедуры для перехода от одного представления к другому.

Из хорошо известных программ программа Винóграда является, пожалуй, наиболее зависимой от процедурного знания (см. ч. первую статьи Уилкса). Первоначальное применение семантических сетей отличалось сильной ориентацией на данные, а не на процедуры. Автор настоящей статьи придерживается мнения, что информация должна храниться в той форме, которая является наиболее удобной. Данные, которые хранятся в виде процедур, чаще всего несут на себе слишком сильный отпечаток специфических целей и задач по использованию информации. Лучше хранить информацию о том, что стол красный, чем хранить информацию о том, как определить, что стол красный. А что если нам понадобится узнать, является ли стол зеленым? А как быть с альтернативными методами узнавания (для слепого человека, например)? Высказанное общее наблюдение имеет, конечно, отклонения. Таким отклонением является, например, ситуация типа той, что наблюдается у Нормана, где обе формы сосуществуют в качестве различных спосо-

бов рассмотрения одной и той же репрезентации. Другое исключение касается информации о действиях.

В системе LUIGI (S t a g g, 1974) для хранения информации о действиях используются неопределенные (в смысле ориентации на данные или на процедуры) представления. Система была построена в рамках системы Нормана MEMOD. Система LUIGI знала, как выполнять (фактически имитировать) различные человеческие действия типа поджаривания хлеба, приготовления спагетти или уборки кухни. Информация о том, как выполнять эти действия, хранилась в форме процедур. Однако эти процедуры могли использоваться и в качестве данных другими частями системы для ответов на вопросы типа "How do you make a ham and cheese sandwich?" 'Как Вы делаете бутерброд с ветчиной и сыром?', "How many utensils do you use if you make a mushroom omelette?" 'Сколько предметов кухонной утвари Вы используете, если Вы готовите грибной омлет?', "Why did Don use a knife?" 'Почему Дон пользовался ножом?' или даже на вопрос "Did anyone do anything which would have moved the bread?" 'Сделал ли кто-то нечто, чтобы хлеб передвинулся?', который был самостоятельно порожден программой LUIGI после того, как ей не удалось ответить на вопрос "Where is the bread?" 'Где хлеб?' с помощью более простых средств. Поскольку все моделирующие процедуры вполне доступны для стандартных подпрограмм, осуществляющих ответы на вопросы, то эти процедуры могут детально обследоваться, могут предсказываться их побочные результаты и даже могут вычисляться необходимые для них предварительные условия, если они эксплицитно не упоминаются.

Например, чтобы ответить на вопрос:

How do you make a ham and cheese sandwich?

'Как Вы делаете бутерброд с ветчиной и сыром?'

система должна исследовать свою собственную программу, которую она использовала бы, если бы ей было приказано сделать бутерброд. На каждом шаге программы она должна определять, является ли он тем шагом, который должен быть упомянут. Затем она порождает описание данного шага, имея в виду, что исполнителем будет она сама (то есть система) и что бутерброд будет сделан с ветчиной и сыром. Ее конечным выходом является:

IF I WERE TO MAKE A SANDWICH
THEN I WOULD DO THE FOLLOWING THINGS:
I PLACE SLICE OF BREAD ON THE COUNTER
I SPREAD MUSTARD ON THE BREAD
I PLACE HAM ON THE BREAD
I PLACE CHEESE ON THE BREAD
I PLACE LETTUCE ON THE BREAD
I PLACE SECOND PIECE OF BREAD ON THE BREAD

'если бы я должна была сделать бутерброд,
то я сделала бы следующие вещи:
я кладу ломтик хлеба на стойку,
я намазываю горчицу на хлеб,
я кладу ветчину на хлеб,
я кладу сыр на хлеб,
я кладу салат на хлеб,
я кладу на хлеб второй кусочек хлеба'

Главным моментом здесь является то, что для описания сложных действий, пригодных для удовлетворения многочисленных целей, может использоваться единое представление, которое ориентировано как на данные, так и на процедуры. Недавно (S c r a g g, 1975) такого рода представление было развито в сеть, которая включает альтернативные методы и независимый порядок шагов, а также информацию о причинах и результатах и информацию о привязке к остальной части базы данных. Расширенная сеть должна быть соединена с такой интерпретирующей программой, которая не нуждается в фиксированном порядке для шагов, но может выбирать его или наугад или на основе некоторой мотивации. Отсутствие фиксированного алгоритма, возможно, сделает систему решения интеллектуальных задач более похожей на человека, чем первоначальный вариант системы LUIGI. Но здесь мы уже переходим к структурам данных весьма высокого уровня (см. об этом вторую часть статьи Чарняка).

ЛИТЕРАТУРА

Bischof, W. F. Psychology of Language and Memory.— In: "Computational Semantics". Amsterdam etc., 1976, p. 185—204.

Goldman, N. M. Computer Generation of Natural Language from a Deep Conceptual Base.— In: "Memoranda from the Istituto per gli Studi Semantici e Cognitivi", 2, Switzerland, Castagnola, 1974.

Hayes, D. Dependency Theory: A Formalism and Some Observations.— "Language", No 40, 1964, p. 511—525.

Norman, D. A., Rumelhart, D. E. and The LNR Research Group. Explorations in Cognition. San Francisco: Freeman, 1975.

Palmé, J. The SQAP data base for natural language information. (Report No. C8376—M3(E5)). (Research Institute of National Defense). Stockholm, 1973.

Quillian, M. R. Semantic Memory.— In: Minsky (ed.) "Semantic Information Processing". Cambridge, Mass., MIT Press, 1968, p. 227—270.

Rieger, C. Conceptual Memory. (Неопубликованная докторская диссертация). Stanford University, 1974.

Riesbeck, C. K. Computational Understanding: Analysis Sentences and Context.— In: "Memoranda from the Istituto per gli Studi Semantici e Cognitivi", 4. Switzerland, Castagnola, 1974.

Sandewall, E. Formal Methods in the Design of Question-Answering Systems. Report 28. (Department of Computer Sciences. Uppsala University), 1970.

Schank, R., Goldman, N., Rieger, C. and Riesbeck, R. MARGIE: Memory, Analysis, Response, Generation and Inference on English.— In: "Advanced papers for the Third International Joint Conference in Artificial Intelligence", USA, Stanford, 1973 (SRI, Menlo Park, 1973).

Schubert, L. K. Extending the Expressive Power of Semantic Networks.— In: "Advanced papers for the Fourth International Joint Conference in Artificial Intelligence", USSR, Tbilisi, 1975 (MIT, Cambridge, Mass., 1975).

Scragg, G. W. LUIGI: An English Question Answering Program. (Center for Human Information Processing. San Diego, California, 1973).

Scragg, G. W. Answering Questions About Processes. (University of California Thesis), 1974, а также частично в: Norman, Rumelhart et al. Explorations in Cognition. San Francisco, Freeman, 1975, p. 349—375.

Scragg, G. W. A Structure for Actions.— In: "Memoranda from the Istituto per gli Studi Semantici e Cognitivi", Switzerland, Castagnola, 1975.

Simmons, R. F. Semantic Networks: Their Computation and Use for Understanding English Sentences.— In: "Computer Models of Thought and Language", ed. by Schank and Colby. San Francisco, Freeman, 1973.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ

1. Задача настоящих лекций — предложить неформальный интуитивный подход к описанию значения слова и значения текста. Моей главной целью является изложение единой концептуальной основы, в рамках которой могли бы рассматриваться: значения слов, построение смысла предложений, интерпретация текстов, а также процессы выражения и понимания.

Я полагаю, что лингвист в своем стремлении к познанию проблем семантической теории только выиграет, если будет исследовать эти проблемы с более широкой точки зрения построения и понимания текстов. Прежние традиции семантического анализа тяготели к сужению предмета анализа в силу своей приверженности к более ограниченным задачам. Некоторые лингвисты, например Косериу, прилагали огромные усилия для доказательства того, что нельзя выходить за пределы собственно и чисто лингвистических явлений, свободных от всяких связей со знанием, относящимся к культуре, системам представлений или фактам мира действительности. Антропологическая семантика, или так называемая когнитивная семантика, сосредоточивала свои усилия на раскрытии и представлении систем противопоставлений в различного рода таксономиях, и ее стремление к обнаружению простейших способов

Charles J. Fillmore. Topics in lexical semantics.— In: "Current Issues in Linguistic Theory" (ed. by Roger W. Cole). Bloomington and London, 1977, p. 76—138.

© 1977 by Indiana University Press.

Настоящая работа представляет собой изложение содержания лекций, прочитанных Ч. Филлмором в 1975 г. во время работы летней школы Лингвистического Института США. Работа приводится с сокращениями.— *Прим. сост.*

представления таких систем изначально определялось желанием обнаружить уникальную в культурном отношении базу данной таксономии в данной языковой общности. Ученые, придерживавшиеся структуралистских традиций, согласно которым главный упор делался на выявление общего значения для любой данной языковой формы, главным мотивом своей деятельности считали, по-видимому, объяснение единства языковой формы, сохраняющегося во времени. В генеративной традиции основное внимание уделялось системам записи и обуславливалось оно стремлением получить в конечном счете оптимальное количество признаков (или абстрактных предикатов — в зависимости от той или иной школы в рамках этой традиции). Это одновременно должно было служить своеобразным индикатором в системе семантических правил для языка — например правил установления истинности и синонимии, — а также базой для теоретизирования относительно языковых универсалий семантики. В противоположность всему этому свою задачу я вижу в том, чтобы исследование значения осуществлять в рамках более широкой теории развития языка, и главным вопросом, на котором сосредоточу свое внимание в данной работе, будет понимание текста.

Мне бы хотелось начать свое изложение с рассмотрения различных ступеней процесса понимания. Одно из развлечений, которым увлекаются исследователи, занимающиеся интерпретацией текста, заключается в подборе или сочинении некоторого текста, который ставит перед теорией особенно серьезные проблемы и с которым каждая из сторон предлагает справиться другой стороне. Результатом таких демонстраций обычно — и вполне закономерно — было возникавшее обычно чувство пессимизма относительно перспектив законченной теории текста. Поскольку мои интересы в настоящее время направлены на раскрытие этапов процесса интерпретации, а не на объяснение всего процесса в целом, я предлагаю свой пример сложного текста с чистой совестью. Я не чувствую себя готовым излагать безупречную теорию в ее окончательной форме.

Мой текст легко понять. Его сложность заключается в описании процесса понимания. Он взят из недавнего выпуска "Signature" — журнала, ежемесячно рассылаемого владельцам кредитных карточек Diners Club. Статья, по замыслу явно юмористического характера, касается пуб-

личной карьеры профессионального игрока в бейсбол по имени Пит Роуз. Она в основном содержит описание забавных событий, случившихся с Роузом во время его публичных выступлений после окончания спортивного сезона. Я сосредоточу свое внимание только на одном предложении из этой статьи, но сначала я хочу рассказать вам о предшествующем контексте.

Роуз произносил речь в атлетическом клубе в Цинциннати. Поскольку Цинциннати — родной город Роуза, в клубе присутствовал его четырехлетний сын. Во время речи Роуза, незаметно для него, его ребенок пробрался к трибуне и встал около отца. Роуз, продолжая речь, по ходу ее произнес остроту, вызвавшую смех, а за ним последовала короткая пауза. И тут... Вот предложение, к которому я хочу привлечь ваше внимание:

At precisely that moment a small but amplified voice notified the entire room, in the most lucid of idioms, of a common childhood emergency. 'Как раз в этот момент тонкий, но многократно усиленный голосок известил все помещение в предельно ясных выражениях об обычной детской нужде.'

Каждому взрослому человеку, понимающему английский язык, конечно, ясно, что тонкий голосок принадлежал ребенку, что на столе был микрофон, явившийся причиной усиления голоса ребенка, что именно из-за этого усиления все помещение было "извещено", что в действительности не "все помещение", а люди, собравшиеся в помещении, слышали слова ребенка, а также что автор употребил слово "известил" не в его точном буквальном смысле, учитывая, что мы догадываемся о возможных потребностях четырехлетнего ребенка. Далее, по собственному опыту мы знаем, в чем заключалась нужда ребенка, а из фразы "в предельно ясных выражениях" мы даже можем представить себе, какие конкретные слова употребил ребенок.

Но это не все, что мы знаем относительно данного фрагмента текста. На другом уровне понимания мы осознаем, почему этот эпизод был включен в статью. Иначе говоря, мы знаем, почему читатели найдут его забавным. Мы знаем, какого рода события вызывают замешательство; мы знаем, что, когда они случаются с кем-либо другим, а не с нами, они представляются нам забавными; и мы знаем, что замешательство не носит серьезного характера, а наше удо-

вольствие простительно, поскольку конфуз произошел с маленьким ребенком.

На следующем уровне мы понимаем, почему автор описывает этот эпизод непрямым образом. Он не сообщает нам открытым текстом, что же именно сказал ребенок; он заставляет нас вычислить это для себя. Возникающий при этом эффект Роберт Гаскинс — студент университета в Беркли — назвал теорией смекалки маленького Джека Хорнера *. Юный Хорнер, обнаружив в пироге изюм, остался доволен главным образом собой и лишь во вторую очередь (если он вообще об этом вспомнил) — пекарем. (He put in his thumb, And pulled out a plum. And said "What a good boy am I!" "Он засунул свой палец, выковырнул изюминку и сказал: "Какой я хороший мальчик!") Если бы изюминка лежала на верхушке пирога, не требуя для своего обнаружения особого ума или умения со стороны того, кто лакомился пирогом, то награда и наполовину не выглядела бы столь заслуживающей одобрения.

2. Как показывает этот пример, когда мы подвергаем интерпретации сказанное или написанное кем-либо, мы должны ответить на четыре вопроса:

- (I) Что он сказал?
- (II) О чем он говорил?
- (III) Почему он вообще сказал это?
- (IV) Почему он сказал это именно таким образом?

Только первый из этих вопросов, а именно — "Что он сказал?" — занимает традиционную лингвистику. В соответствии со своими профессиональными интересами лингвисты уделяют внимание лишь тому, что было сказано, и считают свою работу более или менее законченной, когда разработана система категорий и контрастов, создана система нотации и, быть может, генеративная теория, что дает им возможность систематизировать отдельные части сказанного.

Третий вопрос — "Почему он сказал это?" — приводит нас в область теории речевых актов и логики высказываний. (Если кто-то сказал что-либо, то для этого должны быть какие-то основания. Например, он хотел ознакомить нас

* "Маленький Джек Хорнер" — персонаж детского стиха. — *Прим. перев.*

с информацией, которой располагал. Если это так, то он полагал, что нам еще не известна эта информация. Поскольку он сказал это в определенное время, следует думать, что это находилось в связи с тем, что занимало нас тогда. Примерно так протекают рассуждения, которые учитываются в различных версиях теории речевых актов.) Четвертый вопрос — "Почему он сказал это именно таким образом?" — относится к области риторики.

Я намереваюсь сосредоточиться на втором вопросе — "О чем он говорил?" Под этим я разумею не просто предмет дискурса или части рассматриваемого дискурса, а то, что мы можем сказать относительно "сцены", или "ситуации", или "истории", или "мира", или "образа", или чего-то подобного, что говорящий хотел, чтобы слушающий воссоздал в данный момент развертывания дискурса.

Проводя неформальный анализ процесса интерпретации взятого нами для примера предложения, мы можем сказать следующее. В предшествующей части текста упоминается банкет в атлетическом клубе и идентифицируется наш персонаж как почетный гость, произносящий послеобеденную речь. Мы примерно представляем себе, как это должно было выглядеть, по собственному опыту. Приведенное предложение направляет наше внимание на ребенка. Мы знаем, как звучат детские голоса, а поэтому наше знание о присутствии ребенка делает возможным заключение о том, кому принадлежит "тонкий голосок". Наше знание о микрофоне и его использовании делает понятным упоминание об усилении звука; мы знаем также, что громкие звуки могут быть слышны на более далеком расстоянии и, следовательно, большим количеством людей. Наши представления о возможных потребностях четырехлетних детей и о характере отношений, которые могут существовать между маленьким ребенком и другими людьми, позволяют нам с определенностью установить, что глагол "известить" употребляется в данном тексте отнюдь не серьезным образом. Наши знания о детских потребностях и их настоятельности — бесспорно, часть нашей общей системы представлений о маленьких детях — позволяют нам заключить, к чему сводилась проблема нашего ребенка. А наше знание альтернативных способов упоминания о функциях человеческого организма, знание их социальной окраски позволяет нам понять, что некоторые из этих оборотов могут быть более прямыми и более "ясными",

чем другие. Это позволяет нам угадать, что могло быть сказано в данном случае.

3. Здесь, конечно, неизбежно возникнет вопрос, в какой мере уместно говорить о подобных вещах в рамках лингвистики. Какое отношение к лингвистике как таковой имеют окружающая обстановка, представления, предположения, воспоминания о личном опыте и какую роль играют все эти вещи в процессе "вычисления" того, о чем идет речь?

Доказательство того, что все эти вопросы имеют прямое отношение к лингвистике, базируется на следующих фактах: во-первых, суждения и стратегия интерпретации, составляющие часть этих процессов, явным образом оказывают влияние на выбор конкретных лингвистических форм и категорий; во-вторых, существуют определенные различия между языками в способах, какими языковой материал воспроизводит конкретные образы или опытные данные, и, наконец, в-третьих, все эти понятия делают возможным формулирование некоторых обобщений относительно стратегии интерпретации текста человеком. Таким образом, возможные аргументы сводятся к тому, что приведенные факты увязаны с выбором языкового материала, варьированием его от языка к языку и с соответствующими обобщениями, то есть с вопросами, которые лингвисты, если не "лингвистика" в узком смысле, должны уметь решать.

При интерпретации текста на естественном языке мы используем разнообразные суждения и знания. Нам должен быть известен характер осуществляемого коммуникативного акта. Нам следует использовать наши знания того, имеет ли данная коммуникация серьезный или шуточный характер, сопровождается ли она какими-либо действиями ее участников и т. д. Например, в разбираемом нами случае мы используем знание того, что текст сообщает по замыслу автора о забавных событиях, предназначен для развлечения и будет прочитан скорее всего в часы досуга.

В любой момент дискурса интерпретатору должны быть известны сцены, образы или содержащиеся в памяти данные, которые, так сказать, "активизируются в данный момент", о чем подробно писал в своей статье У. Чейф¹. Ранее, в статье из "Signature" мы узнали, что ребенок присутствовал на банкете. Непосредственно перед рассматри-

¹ Имеется в виду статья У. Чейфа: Ch a f e, W. Language and consciousness.— "Language", 1974, Vol. 50, No 1, p. 111—133.

ваемым нами предложением указывалось далее, что ребенок находился вблизи Роуза и что Роуз не знал об этом. В своем сознании мы рисуем себе сцену послеобеденной речи, частью которой являются отец и сын, стоящие рядом друг с другом.

Иногда мы обращаемся к зафиксированному нашей памятью опыту, иногда — к текущим событиям, иногда — к процедурам освоения опыта. Память о конфузах в детстве и о переживаниях, связанных с ними, то есть о сопровождающем эти конфузы чувстве беспомощности и зависимости, помогает нам понять, что произошло в данном случае. Знание происходящего необходимо для понимания предложений типа "Поставьте это сюда, а это туда". Мы должны видеть, что говорящий делает, когда он просит нас сделать это. Что касается процедуры освоения опыта, то она необходима, например, для понимания предложений из поваренной книги Джеймса МакКоли, в которой читатель инструктируется, как месить тесто, «пока оно не станет по плотности похожим на ушную мочку»².

Мы часто должны располагать знанием того, что специалисты по искусственному интеллекту называют "сценариями", — знанием условных или обычных последовательностей поступков, в терминах которых мы анализируем отдельные "крупные" события через посредство более "мелких" их частей³. Мы располагаем, например, сценарием того типа послеобеденных речей, которые характерны для атлетических клубов. Мы знаем, что такая речь обычно состоит (полностью или по крайней мере частично) из множества шуток, что за шутками следуют паузы, во время которых аудитория смеется, что общее настроение — во всяком случае, для идеальной послеобеденной речи — окрашено хорошим веселым юмором и т. д.

² Из беседы с Дж. Лакоффом, который сообщил мне об этом факте.

³ См. A b e l s o n, R. The structure of belief systems.— In: R o g e r S c h a n k and K e n n e t h M. C o l b y (eds.).¹ Computer Models of Thought and Language. San Francisco: Freeman, 1973; C h a r n i a k, E. He will make you take it back: a study in the pragmatics of language. (Technical Report. Istituto per gli studi semantici e cognitivi). Castagnola, Switzerland, 1974; M i n s k y, M. A framework for representing knowledge.— In: P. H. W i n s t o n (ed.). The Psychology of Computer Vision. New York: McGraw-Hill, 1975; S c h a n k, R o g e r. The structure of episodes in memory.— In: D a n i e l G. B o b r o w and A l l e n C o l l i n s (eds.). Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science. New York: Academic Press, 1975.

Наконец, мы должны располагать определенными стратегиями для построения — на основе фрагментов текста нашего знания мира и нашей оценки авторских целей — некоторого единого и связного представления о том, что происходит, то есть некой, хотя, возможно, и комплексной, но цельной сцены, или истории, или картины мира, которую мы сможем признать как соответствующую данному конкретному тексту.

4. Мне могут напомнить, что эта серия лекций носит название "Основные проблемы лексической семантики". И в действительности я намереваюсь говорить прежде всего об использовании упомянутых идей для целей описания отдельных лексических единиц. Описание значения лексических единиц, как мне кажется, должно проводиться таким образом, чтобы была ясна их роль в осуществлении процессов того рода, о которых я только что говорил. Иллюстрацию сказанного я начну с рассмотрения наших знаний о глаголе write 'писать', знаний, которые позволяют нам понимать последовательности, содержащие этот глагол, и образуют базу, на основе которой мы конструируем значение текста и выносим суждения о его осмысленности.

Глагол write в том своем значении, которое я называю "прототипным", описывает деятельность, заключающуюся в том, что кто-то водит по некоторой поверхности определенным заостренным инструментом, оставляющим следы. Я полагаю — и, думаю, все согласятся со мной, — что эта сцена-прототип, связанная с данным глаголом, более или менее полно определяет то основное содержание, которое вкладывается в глагол, если при этом отсутствует какая-либо добавочная информация. Писание в воздухе пальцем или каким-либо инструментом является отклонением от этого прототипа и будет понято в тексте соответствующим образом, если только для этого будет дана ясная информация или если интерпретатор текста обладает весьма специфическими знаниями о контексте.

Прототипная сцена, связанная с глаголом write 'писать', следовательно, должна включать индивидуума, который пишет, инструмент, которым он пишет, поверхность, на которой осуществляется процесс писания, и продукт написания, то есть ту или иную конфигурацию следов на данной поверхности.

Если единственное, что мы знаем о тексте, это то, что

он содержит глагол write, сцена, которую мы можем построить в этом случае, будет вырисовываться лишь на уровне общих очертаний и включать позиции упомянутых мною величин, но без всяких добавочных деталей. Однако мы никогда не имеем дела только с одним словом — оно всегда включается в текст.

Предположим, я сказал вам Harry has been writing 'Гарри (все время) писал'. Вам будет ясно, что сцена, которую я прошу воссоздать, представляет собой событие реального мира и что я предполагаю, что вы знаете, кто такой Гарри. Таким образом, сцена писания, которую вы воссоздаете в своем уме, включает Гарри как лицо, осуществляющее данное действие, то есть оперирующее инструментом, который оставляет следы. Эта сцена отчасти определяется употреблением длительной формы глагола. Если бы я сказал Harry wrote 'Гарри написал', вы почувствовали бы, что я не закончил того, что собирался сказать, так как, употребляя форму претерита, мы имеем дело с законченным актом, а не с продленной во времени деятельностью, и поэтому у вас есть основания ожидать, что должно последовать указание того, что именно Гарри написал. Если бы я сказал Harry writes. 'Гарри пишет.', то у вас были бы основания подумать, что я отвечаю на вопрос о том, чем зарабатывает Гарри себе на жизнь. Как показывают эти примеры, знания, которыми располагают пользующиеся данным языком относительно отдельных слов, могут создавать различные сцены для разных языковых контекстов — эти различия иллюстрируются здесь выбором временных и видовых форм глагола. А элементы, находящиеся в конкретных грамматических отношениях со словом — такие, как субъект глагола, — каждый по-своему вносят свой вклад в детализацию сцены, которую создает для себя слушающий, выступающий в качестве интерпретатора.

Разумеется, может быть и так, что знание, которое разделяют говорящий и слушающий относительно Гарри, уже дает вам в руки готовую рамку, в которую укладывается информация о занятии Гарри писанием. Предположим, например, вам известно, что Гарри пишет диссертацию (дошел до ее середины) и при этом всегда использует пишущую машинку. Тогда, если вы располагаете подобными сведениями о Гарри, вы обнаруживаете это в репликах в следующих диалогах: я говорю вам: "Harry has been

writing.“ ‘Гарри пишет.’, а вы отвечаете: “Has he finished chapter seven yet?“ ‘Он еще не закончил седьмую главу?’, или я говорю: “Harry has been writing.“ ‘Гарри пишет.’, а вы отвечаете: “I thought his typewriter was broken.“ ‘Я думал, у него сломана пишущая машинка.’ Эти ответные реплики показывают, каким образом описанная типовая сцена, конкретизированная в предложении, согласуется с тем конкретным миром представлений, которым владеет интерпретатор текста.

Если мы не располагаем готовыми сценами, в которые можно включить описываемую текстом или фрагментом текста типовую сцену (outline scene), то в этой сцене, ассоциируемой с текстом, многие “позиции“ остаются, так сказать, пустыми. Я полагаю, что один из способов исследования значения слова заключается в установлении того, какие вопросы могут возникать в тот момент, когда мы восприняли и подвергли обработке последние фрагменты текста, и в какой мере этот “потенциал вопросов“ определяется наличием (и выбором) рассматриваемого слова. Вопросы, которые я имею в виду, предназначаются для заполнения пустых мест в той типовой сцене, которая находится в процессе воссоздания. Если глагол write интерпретируется так, как я сделал это выше, то необходимы чрезвычайно специфические контексты, чтобы признать связными такие диалоги: кто-то говорит мне: “Harry has been writing.“ ‘Гарри пишет.’, а я отвечаю: “What time is it?“ ‘Сколько сейчас времени?’ или: “When do you think I should go home?“ ‘Как вы думаете, когда мне пойти домой?’ Наверняка осмысленными могут быть лишь вопросы типа What did he write? ‘Что он писал?’, What was he writing on? ‘На чем он писал?’ или What was he writing with? ‘Чем он пишет?’. Именно подобного рода вопросы идентифицируют позиции в схематической сцене, активируемой глаголом write ‘писать’.

Я уверен, что сделанные мною замечания представляются не очень убедительными и происходит это потому, что в описании этого глагола пропущено нечто, абсолютно необходимое для его интерпретации. Сцена-прототип, ассоциируемая с процессом “писать“, разумеется, включает некое лицо, которое водит тем или иным инструментом, оставляющим следы на поверхности, но эта сцена содержит в себе нечто большее. Когда мы употребляем глагол write, предполагается также, что и *продукт* этого действия носит

языковой характер, то есть он передает языковые формы. Поскольку это является обязательной частью сцены, ассоциируемой с глаголом *write*, то после сообщения о том, что Гарри писал, вполне осмысленными являются такие вопросы: "На каком языке он писал?" или "Что значит написанное им?" Короче говоря, мы можем спросить обо всем, что является обязательной частью сцены, включающей в свой состав некоторые письменные сообщения. Этот последний аспект слова *write* отличает английский глагол от японского глагола *каки*, который обычно — и, чаще всего, правильно — переводится глаголом *write*. Японский глагол не диктует тех требований к природе продукта, о которых говорилось выше. Результатом действия *каки* может быть слово, предложение или буква, но также и картина, рисунок или какая-нибудь фигура. (Правда, следует отметить, что при написании данного слова используются разные китайские иероглифы в зависимости от выбора одного из этих двух смыслов.)

Будем считать, что мы тем самым получили удовлетворительные результаты по первым двум тестам, которые я предложил как способ установления соответствий между текстами и сценами (для лингвистики). Первый тест состоит в том, что выбор и характер конкретных сцен может быть соотнесен с выбором определенных языковых элементов; второй — в том, что языки могут отличаться друг от друга такими чертами, прояснить которые можно путем обращения к сценам и их особенностям. Первый из них был проиллюстрирован выбором глагола, его временных и видовых форм, а также конкретного грамматического субъекта, а второй — различиями между английским и японским глаголами.

5. Лозунг, которому я следую в своем подходе к семантике, гласит: *значения соотнесены со сценами* (*meanings are relativized to scenes*). В своем изложении я употребляю слово *сцена* в техническом смысле, включающем не только обычное его значение, но и многое другое. Я разумею под ним любое доступное выделению (*individuatable*) осмысленное восприятие, воспоминание, переживание (опыт), действие или объект. Некоторые сцены строятся из других сцен, другие не поддаются разложению — их надо просто знать; они могут быть продемонстрированы или познаны на личном опыте, но не объяснены. Я хочу сказать, что большое количество слов и фраз нашего языка могут быть

поняты, если мы нечто знаем заранее, и это нечто не всегда поддается анализу. Если вы знаете, как выглядят птицы, тогда я могу идентифицировать определенную часть прототипной птицы и сказать вам, что эта часть называется beak 'клюв'. Чтобы понять значение таких глаголов, как wink 'моргать', sneeze 'чихать', crawl 'ползти', yawp 'зевать' и т. д., необходимо знать, что из себя представляет тело, и особенно человеческое тело, что можно совершать с его помощью и какого рода внутренние вещи могут с ним происходить. Чтобы понять, что такое heartburn 'изжога', необходимо испытать определенного рода телесное ощущение. Чтобы понять, что значит déjà vu (франц. 'уже виденный'), надо обладать определенным ментальным опытом.

Слово, появляющееся в тексте и интерпретируемое кем-либо, кто понимает его, активизирует некоторую сцену и указывает на определенную часть этой сцены. Слово beak 'клюв' вызывает сцену птицы и идентифицирует определенную часть птицы.

Пока мои "сцены" носили статический (или почти статический) характер. Для ряда глаголов или прилагательных, указывающих на временные состояния, слово концентрирует наше внимание на единичном периоде или этапе, но этот единичный период должен пониматься как часть более "крупной" сцены. Это похоже на то, как будто мы смотрим на один из кадров киноленты, но при этом мы, хотя бы в общих чертах, охватываем взглядом и все остальные кадры киноленты (или некоторую их часть).

В соответствии со сказанным рассмотрим следующую ситуацию. Два неразличимых близнеца — назовем их Марк и Майк — находятся в больнице. Они помещены в соседних комнатах, и, когда мы в сопровождении няни проходим мимо их комнат, мы замечаем, что каждый из них сидит на краю своей кровати в одном и том же положении. По случайному совпадению они приняли одинаковые позы и одеты абсолютно одинаково. Фотографии этих двух сцен различить невозможно.

Фактические визуальные сцены, таким образом, неразличимы. И тем не менее, когда няня проходит мимо комнаты Марка, она говорит: "I see that Mark is able to sit up now." 'Я вижу, что теперь Марк может подниматься и сидеть.', а когда она проходит мимо комнаты Майка, она говорит: "I see that Mike is able to sit down now." 'Я

вижу, теперь Майк может садиться, опускаться и сидеть.

Сказать о Марке, что он может уже подниматься и сидеть (sit up), значит поместить сцену, которую мы наблюдали, в рамки определенной истории, причем предшествующая часть этой истории говорит о том, что Марк лежал. Сказать же о Майке, что он может опускаться и сидеть (sit down), значит поместить наблюдаемую нами сцену в рамки другой истории, причем в предшествующей ее части Майк стоял.

Если мы знаем о Марке и Майке все то, что знает няня, тогда мы воспримем ее высказывание как суждение, которое мы могли бы сделать и сами. Но если мы только услышали ее замечания, тогда мы, вероятно, должны будем обратиться к стратегии обработки текста и задаться вопросом "Почему она сказала это?". Мы догадываемся, что мальчики находятся в больнице из-за каких-то неполадок со здоровьем. Мы знаем, что в больнице состояние здоровья пациентов обычно изменяется и изменяется оно, как правило, к лучшему. Эти фрагменты знания позволяют нам воссоздать более широкие сцены, часть которых составляет то, что мы увидели. Мы можем сделать вывод, что наблюдаемые позы обоих мальчиков отражают улучшение в состоянии их здоровья. А это позволяет нам предположить, что у Марка была болезнь, которая не позволяла ему приподниматься и сидеть (sit up), а у Майка такая болезнь, которая мешала ему опускаться и сидеть (sit down). Мы приходим к довольно детальному, но все еще только очерченному в общем виде представлению о пребывании мальчиков в больнице и значении их теперешнего состояния. И когда позднее мы узнаем, что один из них страдал мононуклеозом, а другой — геморроем, мы уже имеем готовую рамку, в пределы которой легко включить эту новую информацию, и, в частности, едва ли мы спутаем, какой мальчик страдает той или иной из названных болезней. (. . .)

6. Я должен ввести ряд понятий, которые понадобятся для рассмотрения процессов коммуникации и понимания. Мне еще трудно дать точное определение этих понятий, и поэтому я просто обращусь к ряду примеров, чтобы показать, как я трактую значение и понимание.

Значения отдельных лексических единиц лучше всего можно понять с точки зрения их вклада в процесс интерпретации текста. Как я уже указывал, это требует обращения

не только к значениям, содержащимся непосредственно в тексте, но и к памяти, знаниям и чувственному опыту интерпретатора, а также применения ряда процедур для определения оснований, обеспечивающих осмысленность текста. Слово, фраза, предложение или текст задают некоторую сцену и выдвигают на передний план (или высвечивают) определенную ее часть. Следует помнить, что выделение сцены можно осуществлять на любом количестве уровней. Некоторое событие, например, может состоять из ряда подсобытий и в свою очередь представлять только часть более крупного события или ситуации. Для всех них я употребляю слово *сцена*.

Иногда мы располагаем, можно сказать, готовой сценой, построенной из наших общих знаний, воспоминаний, воображения или чего-либо иного, что заполняет в данный момент наше сознание; но иногда можно говорить и о конструировании сцены и, в ходе осуществления этого акта, о придании смысла тому, что мы читаем, или тому, что нам рассказывают. Сцены, к которым привязываются значения языковых форм, выделяются способами, носящими частично естественный, частично условный и частично идеосинкразический характер. Во всяком случае, мы можем говорить о выделимости сцен в терминах их способности подходить под определенный прототип или парадигматический образец. (Большая часть исследований Элеоноры Рош, психолога из Беркли, посвящена фактически раскрытию механизма формирования сцен в моем смысле; ее более ранние исследования касались прототипных понятий естественных видов, цветовых представлений, форм и базисных уровней артефактов; в настоящее время она занята рассмотрением путей, какими в процессах категоризации определяются характер и взаимосвязанность событий и ситуаций.)⁴

Данная сцена реального мира воспринимается в той степени, в какой она соответствует парадигматической или прототипной сцене. Прототипные сцены следует понимать как сцены, взятые из простых миров, миров, признаки которых не отражают всех фактов мира действительности. Прототипные сцены объясняют простейшие случаи, идеальные примеры. Очень часто, однако, использование

⁴ Rosch, Eleanor. Natural categories.— "Cognitive Psychology", 4, 1973, p. 326—350.

языка заставляет нас обращаться к словам, активизирующим прототипные сцены, даже если содержание нашего разговора отклоняется от прототипа. Вдова — это женщина, муж которой умер. Прототипный "сценарий" вдовы не включает случаи, когда женщина убила своего супруга, или когда она имела трех мужей и осталась только с двумя, или когда процесс развода женщины завершился в день смерти ее супруга. Если мы не уверены, можно ли в подобных случаях употребить слово *вдова*, это происходит не потому, что мы не знаем значение этого слова, а потому, что прототипная сцена, обуславливающая наше знание слова *вдова*, просто не покрывает всех таких случаев.

Последнее из рассматриваемых здесь мною понятий я назову "перспективой". В каждый момент анализа текста мы рассматриваем сцену в определенной "перспективе"; это значит, что в то время, когда мы охватываем взором всю сцену, мы, так сказать, фокусируем наше внимание лишь на некоторой ее части.

Таким образом, категории, которые я намереваюсь использовать в настоящем изложении, включают *сцену*, *прототип*, *активизацию* и *перспективу*. Некоторые другие будут введены в последующих лекциях.

7. Выше я выделил сцену, где некто совершал действие, в результате которого оставались следы на некоторой поверхности. Я указывал, что английский глагол *write* 'писать' привносит в сцену информацию о том, что продукт этой деятельности имеет языковой характер. Слово *sketch* 'набрасывать', напротив, содержит сведения о том, что продукт в этом случае является изобразительным — набросок, рисунок или диаграмма чего-либо — и включает информацию о том, что при этом используется инструмент особого рода: это, например, не кисть. *Draw* 'рисовать' более или менее похоже на *sketch*, но оба эти глагола отличаются от *paint* 'красить, писать красками' (мы берем употребления, когда прямой объект называет продукт), поскольку, хотя последний глагол и означает создание художественного произведения, но оно не обязательно носит изобразительный характер. Кроме того, как мы знаем, глагол *paint* подразумевает использование определенных материалов. *Printing* 'печатание' в своем значении, связанном с нашей прототипной сценой (в противоположность действию печатного пресса), предполагает понимание того, что продукт состоит из элементов алфавита особой

формы. Есть, правда, более общий глагол write 'писать', но в противопоставлении printing 'печатание' и writing 'писание' слово write 'писать' соотносится с деятельностью, продуктом которой являются письменные, а не печатные формы.

В том особом случае, когда продукт представляет имя пишущего — в письменной, а не в печатной и к тому же в индивидуализированной форме, — может быть употреблен глагол sign 'подписывать'. И далее, только тогда, когда продуктом действия является образец чьей-либо подписи, создаваемый для кого-то в качестве сувенира, можно использовать глагол autograph, 'давать автограф'.

Продукт действия 'писать' может быть назван с помощью имени существительного, и если это сделано, вводится новая сцена, сцена, ассоциируемая с продуктом. Это может быть имя любой единицы языкового продукта, например: слово, фраза, предложение, параграф; или книга, статья, поэма, очерк; или письмо, предисловие, посвящение, некролог, исповедь — и многое другое; или это может быть подпись, то есть индивидуализированное изображение имени пишущего, или автограф, то есть подпись, сделанная на память.

Существуют глаголы, усиливающие детали динамического аспекта сцены и дающие, например, представление о манере письма. Сюда относятся глаголы scribble 'небрежно или быстро писать' или scrawl 'писать каракулями', а также print 'писать печатными буквами', указывающий на тщательную манеру письма плюс упомянутая выше природа продукта, и jot down 'кратко записать', обозначающий сжатую запись короткого текста.

Другие глаголы отражают особенности используемого инструмента. Это в первую очередь относится к глаголам, образованным непосредственно от имен инструментов, таких, как pen 'ручка' и pencil 'карандаш', а также к глаголу type 'печатать на машинке'.

Некоторые глаголы активизируют сцены с обязательным наличием источника или модели того, что воспроизводится. У глагола transcribe 'транскрибировать' моделью является произношение, у глагола copy 'копировать' — графическое изображение (оно не обязательно носит языковой характер), у глагола trace 'копировать, калькировать' модель предполагается помещенной непосредственно под прозрачной поверхностью.

У всех этих глаголов грамматический субъект в своей глубинной форме представляет собой агенс, лицо, осуществляющее действие, которое оставляет следы. Во многих случаях прямой объект является описанием продукта. Таковы *He penned his answer*. 'Он написал свой ответ.', *He scribbled a poem*. 'Он нацарапал поэму.', *He drew a picture*. 'Он нарисовал картину.', *He signed his name*. 'Он подписал свое имя.' и *He wrote his name*. 'Он написал свое имя'. В случае глагола *write* 'писать' можно использовать его без обозначения имени продукта, если предполагается, что им является письмо, которое должно быть послано какому-то лицу. При этих условиях косвенный объект выступает в качестве единственного эксплицитного дополнения глагола. Так, в предложениях *She wrote to me twice*. 'Она писала мне дважды' или *I'll write you more about this later on*. 'Я напишу еще вам об этом позднее.' ясно, что имеется в виду писание письма. Такие употребления невозможны для других глаголов, например: *He drew me*. 'Он нарисовал мне.' или *He scribbled to me*. 'Он нацарапал мне.'

В случае с *sign* 'подписывать' прямым объектом может быть наименование документа, который приобретает официальный характер в результате акта его подписания. Здесь продукт трактуется как подпись, но дополнительным аспектом всей сцены является обстоятельство, в соответствии с которым получение подписи на конкретном документе делает его действительным. Так, я могу сказать: *I signed the contract*. 'Я подписал контракт.', *The king refused to sign the treaty*. 'Король отказался подписать договор.' и даже — учитывая особый характер автографа — *He signed my copy of his book*. 'Он подписал мой экземпляр своей книги.'. Следует обратить внимание на то, что в подобных случаях продуктом всегда является подпись пишущего.

Глагол *autograph* 'ставить автограф' включает в себя понятие подписи. В случае с *sign* 'подписывать' можно сказать *He signed his name*. 'Он подписал свое имя.', но нельзя сказать *He signed his signature*. 'Он подписал свою подпись.'. Что касается *write* 'писать', то можно сказать *He wrote his name*. 'Он написал свое имя.' и *He wrote his signature*. 'Он написал свою подпись.'. Когда употреблено *autograph*, нет возможности выразить продукт действия, а можно указать только имя объекта, на котором постав-

лена подпись. Так, можно сказать He autographed my football. 'Он поставил автограф на моем футбольном мяче.', или the menu 'на меню', или my copy of his book 'на моем экземпляре его книги'.

Иногда цель подписания носит очень специфический характер, и для этих случаев создаются отдельные специальные термины для акта подписания. В качестве примера можно привести endorse 'индоссировать, делать передаточную надпись', например в выражении endorse a check 'индоссировать чек'.

В высшей степени специфическим глаголом из области "писать" является глагол address 'адресовать'; в качестве своего прямого объекта этот глагол допускает только имена вещей, которые можно послать по почте, вроде письма, бандероли или почтовой карточки. Имеется в виду, разумеется, написание на них места назначения. Глагол address специфичен не только в отношении содержания продукта, но также и его цели. Этот глагол не употребляется в таком, например, случае, когда я проставляю свое имя и адрес в заявлении о выплате моих доходов или в заявлении о приеме на работу.

8. Приведенные примеры дают нам представление о том, что необходимо для нотационных систем в лексиконе. Применительно к каждому слову нужно знать, какая сцена или совокупность сцен активизируется им; каким образом оно в данном значении, связанном с данной сценой, должно объединяться с другими лексическими элементами и в каких грамматических отношениях они будут находиться друг с другом. А это, как мы видели в случае с примером write, обуславливает выбор конкретных временных и видовых форм. Когда, например, глагол write обозначает деятельность, он совместим с формой длительного вида; когда он обозначает акт, он совместим с претеритом. Но он может обозначать и профессию или призвание, и тогда более всего он совместим с формой простого настоящего времени. Такого рода информация, по моему мнению, необходима при описании языковых средств, пригодных для отдельных сцен. Таким образом, учитывая семантическую силу грамматических времен и видов, мы можем уяснить себе, какая из этих форм совместима с тем или иным значением глаголов.

Теория лексикона должна указывать для каждого глагола (применительно к каждой соотносимой с ним

сцене) то, что мы, следуя Теньеру и ряду европейских лексикологов, можем назвать "валентностью"⁵, причем понятие валентности должно пониматься в расширительном смысле, одновременно охватывая и уровень поверхностной формы предложений с данным глаголом, и уровень элементов и аспектов ассоциируемых с ним сцен. В сцене писания, например, имеются пишущий, инструмент, поверхность и продукт. Для всех глаголов из данной сферы пишущий выступает в качестве субъекта. В одних случаях продукт реализуется как прямой объект, в других — прямой объект оказывается именем поверхности, на которой появляется продукт. Если в предложении, соотносимом со сценой письма, вводится инструмент, это осуществляется посредством именной группы с *with* *. Для ряда специальных сцен, в которых акт написания служит более широкой цели, обладающей своей доминирующей сценой, структурирование предложений будет определяться фактами этой более широкой сцены: здесь стоит вспомнить структуру с косвенным объектом, где *write* понимается как 'писать письмо'.

Другая часть вопросов, примыкающих к описанию "валентности", соответствует тому, что иногда именуют "селекционными ограничениями". Имеется в виду то обстоятельство, что существуют слова, соотносимые с чрезвычайно специфическими сценами, в результате чего ограничивается круг других слов, возможных в данной структуре. Информацию подобного рода я предпочитаю связывать с описанием сцены, а не с установлением особого вида отношений между словами и классами слов в определенных грамматических конструкциях. Об этом еще будет сказано в следующей лекции.

9. В дальнейших лекциях я расскажу о семантической роли субъектов и объектов, связанных с глаголом, об относительной выделенности аспектов сцен, определяющей, какие части сцены реализуются в тех или иных грамматических конституэнтах, об отношении лексически определенных сцен к непосредственному контексту и, далее, о проблемах дейксиса и прагматики, об использовании данного рода семантики для описания традиционных семан-

⁵ T e s n i è r e, Lucien. *Elements de syntaxe structural*. Paris, 1959; H e l b i g, Gerhard and S c h e n k e l, Wolfgang. *Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben*. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1973.

* В русском языке формами творительного падежа. — *Прим. перев.*

тических понятий. Будет дан также обзор лексических проблем. В заключение я выскажу несколько предположений и признаний относительно будущего семантического исследования в описанных мною рамках.

ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ

(. . .)

2. Сцены, которые мы строим на основе текстов, частично обуславливаются лексическим и грамматическим материалом текста, а частично — вкладом самого интерпретатора, причем последний базируется на том, что он знает о соответствующем контексте, что он знает о мире вообще и как он понимает намерения говорящего.

Лексическая информация, необходимая для описания деятельности языка, включает не только информацию о природе ассоциируемых сцен. Она включает и информацию о грамматической форме предложений, в которых лексическая единица может появиться. В частности, если лексическая единица является глаголом, нам нужно знать, какая из возможного множества отдельных единиц в ассоциируемой сцене будет реализована как субъект глагола, какая будет выступать как прямой объект (если он должен быть) и в каком грамматическом облике появятся другие элементы.

Несколько лет назад я высказал свое мнение о том, каким образом следует решать эту проблему⁶. Предлагалось использовать форму репрезентации значений предложения, более глубинную, чем глубинная структура, предусматривающую введение различных ролей, которыми могут характеризоваться элементы ситуаций или событий, — ролей типа агенс, пациенс, инструмент, цель, экспериенцер, местонахождение и т. д. Далее, устанавливались ранги, или иерархия, среди данных понятий, а также формулировался ряд принципов, названных правилами выбора субъекта. Я трактовал понятия ролей как падежи на уровне глубинной структуры. Я утверждал, что любое простое предложение (clause) может быть представлено глаголом, указывающим на природу события или ситуа-

⁶ См. Fillmore, Charles J. The case for case.— In: Emmon Bach and Robert Harms (eds.). *Universals in Linguistic Theory*. New York, 1968. [См. перевод на русск. в сб. "Новое в зарубежной лингвистике", вып. X, М., 1981, с. 369—495.]

ции, совместно с набором именных групп, помеченных показателями падежной роли каждой единицы, реализуемой как именная группа. Я полагал, что субъектно-объектное структурирование предложения на поверхностном уровне может быть обеспечено правилами формирования субъекта и правилами формирования прямого объекта. Предложенная концепция устанавливала один вид организации предложения на семантическом или концептуальном уровне и другой вид — на уровне поверхностной структуры, без всякого промежуточного уровня, соответствующего понятию "глубинной структуры" Хомского.

Из большого количества страниц, появившихся в журналах и полученных мною по почте и осуждающих Падежную грамматику (так я назвал свою систему), самыми суровыми были страницы, написанные Стивеном Андерсоном на тему о семантической роли глубинной структуры⁷. Андерсон указал на ряд семантических обобщений, которые можно сформулировать простым образом только на уровне глубинной структуры, поскольку они должны учитывать семантические роли глубинных субъектов и объектов. Стивен Андерсон придерживался той точки зрения, что именные группы, функционирующие как субъекты и объекты в глубинной структуре, имеют холистическую интерпретацию, отсутствующую у имен, которые не выступают в предложении в качестве субъектов или объектов. Я еще буду иметь возможность вернуться к этому вопросу.

Тем временем П. Постал, Д. Перлмуттер и Д. Джонсон предложили свою структуру, лежащую в основе грамматики. В ней понятия субъекта, объекта и непрямого объекта должны восприниматься как первичные грамматические отношения, которые первоначально фиксированным образом приписываются глубинным репрезентациям, а затем могут модифицироваться по соответствующим правилам. Они называют свою систему Реляционной грамматикой⁸. В их терминологии элементы, которые являются

⁷ Anderson, Stephen R. On the role of deep structure in semantic interpretation.— "Foundations of Language", 6, 1971, p. 197—219.

⁸ Johnson, David. On the role of grammatical relations in linguistic theory.—In: "Papers from the 10th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society", 1974, p. 269—283; он же: "Toward a theory of relationally based grammar" (докторская диссертация, University of Chicago), 1974; Perlmutter, David and Postal, Paul. Linguistic Institute Lectures on Relational Grammar, MS, 1974.

субъектами, объектами и непрямыми объектами, называются *термами* (другие составляющие предложений оказываются *нетермами*), и термам присваивается ранг, а именно 1, 2 и 3 — для субъекта, объекта и непрямого объекта соответственно. Предлагается большое количество обобщающих утверждений относительно грамматики, которые, как они считают, наиболее простым образом можно формулировать как операции над термами; эти операции включают смену рангов и лишение статуса термина. Эта система тоже признает различие между глубинными субъектами и объектами и поверхностными субъектами и объектами. Другие ученые, и, в частности, Эдвард Кинэн и Бернард Комри, работая независимо, предложили ввести ряд типологических принципов, а также огромное количество процессов универсально-языкового характера и ограничений на грамматические правила, в которых понятия субъекта, объекта и непрямого объекта играют центральную роль⁹.

Многое в этих работах я признаю заслуживающим серьезного внимания и готов принять на вооружение нечто подобное понятию представления глубинной структуры, по меньшей мере — понятие приписывания (по особым правилам) субъектов и объектов к глубинным предикатам. Замечания Андерсона, бесспорно, можно формулировать в терминах реляционной грамматики. Это значит, что форма грамматики, в пользу которой мы в конечном счете принимаем решение, не обязательно должна быть такой, при которой грамматические отношения определяются лишь в виде конфигураций древесных структур, что, как мне представляется, для Андерсона, следующего Хомскому, является предпочтительным.

3. Поскольку, как я указывал, мы можем говорить о сценах, лежащих в основе текста, — и, в частности, сценах, лежащих в основе простых предложений текста, — мы должны уметь исследовать принципы, в соответствии с которыми аспекты сцен получают грамматическую репрезентацию и определяют субъектно/объектную структуру предложений.

⁹ K e e n a n, Edward and C o m r i e Bernard. Noun phrase accessibility and universal grammar, MS, 1972; K e e n a n, Edward. Some universals of passive in relational grammar. — In: "Papers from 11th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society", 1975, p. 340—352.

Я буду именовать ту часть предложения, которая содержит предикатное слово и связанные с ним грамматические термы, *ядром предложения*, а все остальное *периферией предложения*. Нам необходимо ответить на два вопроса, касающихся отношений между сценами и простыми предложениями, которые активизируют эти сцены (или активизируются ими). Первый вопрос: „Какие из единиц сцены реализуются в связанном с ней предложении в качестве членов ядра?“ В упрощенном виде этот вопрос принимает форму: „Что входит в ядро?“ Второй вопрос — „Если два или более элементов сцены реализуются в связанном с ней предложении как члены ядра, существуют ли какие-либо общие принципы, которые определяют, какой из них является субъектом, или первым термом, и какой — объектом, или вторым термом?“ (Я здесь не принимаю в расчет косвенный объект, или третий терм.) По-другому второй вопрос можно формулировать как: „Что определяет ранг термов в ядре?“

Понятно, разумеется, что ответы на эти вопросы будут различными для разных языков. Если это действительно так, мы должны задаться вопросом, в какой мере термы реляционной грамматики можно толковать как семантические примитивы, что как раз Постал и Перлмуттер имеют в виду. Допустимо ли, чтобы особенности универсально-языкового характера — в том роде, что предлагают Постал, Перлмуттер, Кинэн и Комри, — можно было обнаружить в категориях, которые сами определяются конкретно-языковым образом? По своему существу эта возможность не выглядит нелепой, поскольку семантики обнаруживают принципы, универсально применимые для всех систем родства, хотя самое основное отношение в пределах такой системы — отношение детей и родителей — может пониматься в различных культурах по-разному.

4. Ответы на первый вопрос затрагивают главным образом проблему семантической нагрузки функции прямого объекта. В английском языке каждое предложение должно иметь субъект, и поэтому вопрос о том, есть или нет у предложения субъект, менее интересен, чем вопрос о наличии у него объекта. А этот вопрос, очевидно, становится релевантным только тогда, когда значение глагола указывает, что в ассоциируемой сцене представлены две единицы, одна из которых должна стать субъектом, а другая может стать или не стать прямым объектом.

Есперсен писал: «Понятийные отношения между глаголами и их объектами настолько многообразны, что не поддаются никакому анализу и классификации»¹⁰. И действительно, задача обнаружения обобщений относительно семантической нагрузки прямого объекта трудна, но, быть может, не безнадежна, если мы посмотрим на нее с несколько иной точки зрения. Я думаю, что мы должны задаваться вопросом не о том, какого рода отношения связывают объекты с их глаголом, а о том, какие свойства сцен определяют, будет ли такой-то элемент реализован в качестве прямого объекта. Некоторые из примеров, особенно интересовавшие Есперсена, являются следствием поверхностных процессов слияния, и их, по-видимому, можно игнорировать. Я по крайней мере не буду придавать особого значения предложениям типа *She laughed her thanks*. 'Она засмеялась в знак благодарности.' или *He nodded his acquiescence* *. 'Он кивнул в знак своего согласия.', пока не выясню, нельзя ли применить к ним принципы, управляющие ясными случаями.

5. Обращаясь ко второму вопросу, нам необходимо рассмотреть четыре ситуации: (1) Когда глаголы могут реализовать в качестве прямого объекта любой из двух элементов, а остающийся элемент становится периферийным, получая выражение в виде предложной группы. Пример данной ситуации дает глагол *blame* 'обвинять'. Мы можем сказать *He blamed the accident on me*. 'Он обвинил в аварии меня.' или *He blamed me for the accident*. 'Он обвинил меня в аварии.' **. (2) Когда глаголы могут реализовать в качестве прямого объекта любой из двух элементов, но с тем ограничением, что остаточный элемент вообще может не получить выражения. Примером этого второго случая служит глагол *sign* 'подписывать'. Мы можем сказать *He signed his name*. 'Он подписал свое имя.' или *He signed the contract*. 'Он подписал контракт.', но, хотя мы можем сказать *He signed his name on the contract*. 'Он подписал свое имя под контрактом.', мы не можем сказать *He sig-*

¹⁰ Jespersen, Otto. *A Modern English Grammar*, Vol. III. London, 1927, p. 230.

* Букв. 'Она посмеяла свою благодарность'; 'Он кивнул свое согласие'. — *Прим. перев.*

** Русский глагол *обвинять* в данном отношении отличен от *blame*, и русские переводы предложений не передают соотношения английских грамматических структур. — *Прим. ред.*

ned the contract with his name. 'Он подписал контракт своим именем.' (3) Когда глаголы могут включать несубъектное имя как в ядро, так и в периферию. Здесь примером является глагол shoot 'стрелять'. Мы можем сказать либо She shot him. 'Она застрелила его.', либо She shot at him. 'Она выстрелила в него.' (4) Когда существует пара глаголов, близких по значению, но отличающихся друг от друга выбором того, что входит в ядро, а что — в периферию. Глаголами, иллюстрирующими четвертую ситуацию, являются глаголы put 'класть' и cover 'покрывать'. Мы можем сказать как He put a towel over the alarm clock. 'Он положил полотенце на будильник.', так и He covered the alarm clock with a towel. 'Он покрыл будильник полотенцем.' При том, что здесь выражается одна и та же ситуация, в одном предложении прямым объектом является *полотенце*, а в другом — *будильник*.

Вопрос, который я изучаю, отличается от вопроса о причинах введения *поверхностных* субъектов и объектов, хотя, может быть, и связан с ним. Поверхностные субъекты могут образовываться посредством пассивизации, поднятия (raising) в позицию субъекта, перемещения позиций и т. д., а поверхностные объекты могут образовываться посредством перемещения в позицию дательного, поднятия в объектную позицию, редукции дополнений и т. д. Меня интересует вопрос о том, как происходит выбор термов, определяемый лексическими свойствами глаголов и предшествующий применению грамматических процессов, способных подвергнуть предложение переструктурированию.

Глагол hit 'ударять' подходит к сценам, где имеет место резкий контакт одной вещи с другой, причем часто некий агент манипулирует первым из этих объектов. Когда в сцене удара наличествуют три элемента, агент, или каузатор, данного события выступает как субъект, а любая из двух других единиц может реализоваться в качестве прямого объекта. Иными словами, мы можем сказать либо I hit the cane against the fence. 'Я ударил палкой по забору.' либо I hit the fence with the cane. 'Я ударил забор палкой.' (Кстати, этот пример демонстрирует необходимость различия между тем, что является ядром предложения, и тем, что является обязательными составляющими предложения. Как представляется, глагол hit 'ударять' должен сопровождаться упоминанием того предмета,

по направлению к которому что-то движется, хотя этот предмет не обязательно должен выступать в виде прямого объекта. Другими словами, тогда как вполне допустимы фразы 'Я ударил забор палкой.' и 'Я ударил по забору.', применительно к той же сцене реального мира мы можем сказать 'Я ударил палкой по забору', но не 'Я ударил по палке' (для той же сцены). Противопоставление между ядерными и периферийными элементами не равнозначно противопоставлению между обязательными и факультативными составляющими предложения.)

Используя понятия семантических падежей, мы можем сказать, что элементы, попавшие в ядро, в каждом предложении включают Агенс; в одних случаях включается также Пациенс, в других — Цель; и мы можем добавить, что репрезентация Цели является обязательной для активной формы любого из этих предложений. На интуитивном уровне мы можем рассматривать решение о включении тех или иных элементов в ядро предложения как решение о выборе конкретной перспективы в некоторой сцене. Когда я говорил о перспективе, я имел в виду фокусирование внимания на части сцены, возможно, в силу особой выделенности этой части, не упуская из вида вместе с тем и остальной части сцены. Однако такое понимание трудно применить к только что рассмотренным нами примерам, поскольку трудно представить себе контексты, в которых в фокусе внимания оказалась бы палка, а не забор, и наоборот.

Все же можно по крайней мере представить себе, каким образом вне перспективы может быть оставлен Агенс. Предположим, перед нами сцена, в которой Агенс размахивает палкой у забора. Рассмотрим два предложения: *Harry swung the cane wildly. It hit the fence.* 'Гарри дико размахивал палкой. Она ударила по забору.' Здесь, хотя мы и понимаем, что Гарри все еще держал палку во время удара, во втором предложении нам удалось оттеснить действие Агенса на задний план, и в фокусе внимания оказался контакт между палкой и забором. Здесь в ядро входят два физических объекта, но не Агенс.

Теперь рассмотрим, каким образом можно увеличить относительную выделенность Пациенса или Цели в сцене, для которой в перспективу включен Агенс. На этот раз возьмем глагол *beat* 'бить', который похож на глагол *hit* 'ударять', но предполагает, что Агенс продолжает

держат орудие на протяжении всего действия, в то время как глагол *hit* совместим со сценой, в которой Агенс может отпустить инструмент. (Обратимся к примеру: *Standing on the ground, I hit the third-storey window with a brick.* 'Стоя на земле, я ударил кирпичом по окну на третьем этаже.' Здесь перед нами действие либо необычно высокого человека, либо человека, бросившего кирпич.)

Поскольку мы как человеческие существа больше заинтересованы в человеческих существах и в человеческих реакциях, чем в том, что происходит с неодушевленными предметами, одним из способов изменения перспективы является включение в сцену другого человеческого существа. Рассмотрим предложения *I beat the stick against Harry.* 'Я бил палкой о Гарри.' и *I beat Harry with the stick.* 'Я бил Гарри палкой.' В сцене для первого предложения говорящий как бы не считает Гарри живым существом. Второе предложение более соответствует сцене, когда Гарри воскликнет "Ой!" Иначе говоря, когда целью действия 'ударять' или 'бить' является человеческое существо, то есть нечто, серьезно затрагиваемое данным событием, это придает выражающему Цель элементу достаточную выделенность, чтобы быть включенным в ядро. Если это объяснение правильно, то отсюда следует, что если существительное в роли Пациенса обозначает человеческое существо, а существительное в роли Цели — нет, то выбор Пациенса в качестве прямого объекта представляется более естественным. Я считаю это утверждение правильным, хотя в случае глагола *beat* при анализе реакций на тестовые предложения довольно трудно отделить чисто языковые факторы от всех прочих. Суть дела в том, что *I beat Harry against the corner of the building.* 'Я бил Гарри об угол здания.' звучит как бы более уважительно, чем предложение *I beat the corner of the building with Harry.* 'Я бил угол здания посредством Гарри.'

По-видимому, одно из условий, способствующих включению элемента в пределы ядра, состоит в том, что этот элемент есть чувствующее существо, подвергающееся воздействию в описываемом событии и вызывающее сочувствие. Отсюда следует, что, если в сцене наличествует два человеческих существа, в нашем распоряжении нет никаких данных для предпочтения одного или другого. Так, предложения *I hit Harry against Bill.* 'Я ударил Гарри по Биллу.' и *I hit Bill with Harry.* 'Я ударил Билла посред-

ством Гарри.' должны быть и являются в равной мере эксцентрическими.

Для ситуаций, в которых данное имя может находиться либо в ядре, либо на периферии, условием, способствующим включению в ядро, является то обстоятельство, что подвергающийся воздействию объект претерпевает тот или иной вид изменений. Так, если я воздействую на что-то и если в результате моего действия это что-то изменяется, оно приобретает статус выделенности, который обеспечивает его включение в ядро предложения.

(. . .) Предположим, например, что я пытаюсь что-то тащить, а вещь не поддается. Я могу сказать: I pulled at it. 'Я тащил ее.' * или I tried to pull it. 'Я пытался тащить ее.', но не просто I pulled it. 'Я потащил ее.'. Но если, однако, вещь в результате сдвинулась в направлении моих усилий, тогда я имею право сказать I pulled it. Если вы прилагаете усилия к чему-либо и в результате ваших действий вещь движется, то я хочу повторить, она приобретает выделенность, позволяющую ей реализоваться в качестве прямого объекта.

Здесь наблюдается нечто вроде качества "отмеченности". Если я говорю I pushed the table. 'Я толкнул стол.', у вас есть основания полагать, что мне удалось сдвинуть его. Если же я скажу I pushed against the table. 'Я толкал стол.' (букв. 'Я толкал на стол.'), я не передаю информации о результате действия, если только здесь не имеет места особый контекст, устанавливающий, был или нет в действительности сдвинут стол.

Глагол break 'разбивать' может использоваться для передачи сцены, включающей три элемента и имеющей следующее содержание: кто-то приводит одну вещь в контакт с другой и *одна из них разбивается*, то есть ее целостность нарушается в результате удара. В позиции прямого объекта может оказаться существительное — как в роли Пациенса, так и в роли Цели, но только если оно обозначает ту вещь, которая разбивается. Представим себе, например, что я с размаху ударяю молотком по вазе, и ваза разбивается. В этом случае я могу сказать: I broke the vase with the hammer. 'Я разбил вазу молотком.' Так же, как и в рассмотренных выше предложениях с глаголами

* В английском предложении есть предложная группа at it, свидетельствующая о том, что к вещи прилагались усилия, но не обязательно с положительным результатом.— Прим. ред.

hit 'ударять' и beat 'бить', объект, которым манипулируют, когда он находится на периферии, помечается предлогом with. А теперь предположим, что я с размаху ударяю молотком по вазе и разбивается молоток. В этом случае я должен сказать: I broke the hammer on the vase. 'Я разбил молоток о вазу.' И на этот раз существительное в роли Цели (vase), находящееся вне ядра, маркируется предлогом, дающим информацию о направлении действия. (. . .)

Иногда составляющая, имеющая роль Источника, Цели или Сферы (Range), завершает предложение таким образом, что действие, описываемое предложением, приобретает в целом некоторую особую выделенность, позволяющую ассоциируемой несубъектной именной группе выступать в качестве прямого объекта. Если прыжок через что-либо не рассматривается как особый подвиг, мы говорим, что человек перепрыгнул через что-то; если же такой поступок приобретает некоторую специальную выделенность в силу, скажем, того факта, что вещь, через которую прыгает человек, представляет препятствие, тогда мы говорим, что человек перепрыгнул вещь. Так, можно сказать, что некто "перепрыгнул через стену" или "перепрыгнул стену", поскольку прыжок через стену может оцениваться как важное свершение; но в то время как мы говорим "перепрыгнуть через черту" (начерченную на тротуаре), трудно придумать сцену, которая соответствовала бы предложению "Он перепрыгнул черту". (. . .)

Обратимся теперь к примерам, которые использует Андерсон в качестве аргументов в поддержку уровня глубинной структуры в смысле стандартной теории Хомского. Имеются в виду знакомые пары типа I loaded the truck with hay. 'Я нагррузил грузовик сеном.' и I loaded hay onto the truck. 'Я нагррузил сено на грузовик.' или I sprayed paint on the wall. 'Я намазал краску на стену.' и I sprayed the wall with paint. 'Я намазал стену краской.' * Существует естественный немаркированный выбор прямого объекта, а именно — существительное в роли Пациенса, но только если не собираются сообщать ничего специального относительно Цели. Однако, если действие, рассматриваемое относительно Цели, получает выделенность в силу того,

* В английских предложениях употреблен глагол sprau 'распылять, разбрызгивать'. В переводах его функции поясняются с помощью русского 'намазать'. — Прим. ред.

что оно в том или ином смысле оказывается "полным", тогда имя Цели включается в ядро. Так, в отношении приведенных примеров можно утверждать, что "загрузка грузовика сеном" наиболее естественно трактуется как "заполнение" грузовика сеном, а "намазывание стены краской" наиболее естественно воспринимается как "покрытие" стены краской. Такова холистическая интерпретация Андерсона. Согласно Андерсону, мы начинаем с субъектов и объектов, определяемых конфигурациями фразовой структуры, а затем семантический компонент приписывает холистическую интерпретацию определенным именам в определенных контекстах и только тогда, когда они находятся в позиции субъекта или объекта. С моей точки зрения, глагол способен получить свое субъектно-объектное структурирование отнюдь не единственным путем, и такие свойства выделенности, как тотальность или законченность, оправдывают включение определенных имен в ядерную структуру — в зависимости от их глубинной падежной роли.

Отсюда следует, что могут существовать глаголы, отражающие сцены с встроенными в них тотальными или холистическими интерпретациями. Это, например, можно обнаружить у глаголов *cover* 'покрывать' и *fill* 'наполнять', глаголов, использованных мною выше для объяснения условий выделенности. Так, *He covered the alarm clock with the towel.* 'Он покрыл будильник полотенцем.' представляется абсолютно приемлемым, тогда как *He covered the towel over alarm clock.* 'Он покрыл полотенце на будильник.' — нет. Точно так же *He filled the jar with ink.* 'Он наполнил чернильницу чернилами.' является приемлемым, а **He filled ink into the jar.* 'Он наполнил чернила в чернильницу.' — нет. Напротив, глаголы *place* 'помещать' и *pour* 'лить' требуют фокусировки внимания на манипуляции объектами, а не на тех частях сцены, которые отмечают результирующее состояние. Они позволяют строить предложения типа *He placed the records on the shelf.* 'Он поместил пластинки на полку.', но не **He placed the shelf with records.* 'Он поместил полку пластинками.' или *He poured ink into the jar.* 'Он налил чернила в чернильницу.', но не **He poured the jar with ink.* 'Он налил чернильницу чернилами.' Следует подчеркнуть, что здесь играют роль и идеосинкразические лексические особенности. (. . .)

Короче говоря, можно утверждать, что решение о включении существительных в ядро предложения или оставление их на периферии определяется, по крайней мере частично, не столько пониманием самого действия, сколько представлением о выделенности деятельности в целом или выделенности, значимости конкретных единиц, принимающих участие в сцене, которые делают одну из частей сцены заслуживающей того, чтобы она оказалась в фокусе внимания. Я допускаю, что свое воздействие здесь оказывают также и некоторые исторические факторы, но я честно признаюсь, что не знаю абсолютно чистого (без порочных кругов) способа изложения того, что я имею в виду. (. . .)

6. Второй вопрос относительно отражения сцен в глубинной структуре связан с установлением ранга элементов, отобранных в ядро. Я полагаю, что здесь существует *Иерархия выделенности*, служащая различным целям в грамматике. Во-первых, поскольку каждое предложение должно иметь субъект, то элемент сцены, обладающий наивысшим рангом, реализуется как субъект. Во-вторых, если в ядро, или перспективу, попадают два элемента, то роли первого и второго термов распределяются в соответствии с их относительной позицией в иерархии. И, наконец, в-третьих, иерархия налагает ограничения на то, что у одного и того же глагола может оказаться в ядре и что на периферии. Если перед нами глагол, который в качестве прямого объекта может иметь каждый из двух элементов, то выигрывает тот, который занимает более высокое положение в иерархии выделенности.

Пока это всего лишь чистые рассуждения¹¹. Вводимое здесь понятие должно заменить *Падешную иерархию* из

¹¹ Характер "иерархии", описанный в настоящих лекциях, несколько отличается от того, который был изложен в другой моей работе "The case for case reopened" («Syntax and Semantics», Vol. VII. New York, 1977). [Перевод на русск. см. в сб.: "Новое в зарубежной лингвистике", вып. X. М., 1981, с. 496.] Точка зрения, представленная в этой работе, более или менее тождественна той, которая представлена в моей работе "The case for case" (1968) [См. перев. на русск. в сб.: "Новое в зарубежной лингвистике", вып. X, с. 369]. Согласно этой точке зрения, роли именных групп определяются их соответствием предварительно установленной иерархии типов ролей, их относительный ранг определяется структурой рангов, обусловленной этой иерархией. Теперь, однако, я полагаю, что такие вещи, как селекция субъектов ("немаркированного" порядка), может определяться упорядоченным набором соображений относительно структуры рангов. У меня нет никаких оснований для пред-

моей работы по падежной грамматике. Теперь я считаю, что нам следует иметь дело со сценой, некоторая часть которой выделена в качестве перспективы. Иерархия выделенности, обеспечивающая принцип соответствия между этой перспективой и структурой предложения в терминах грамматических отношений, выглядит примерно следующим образом:

1. Активный элемент выше по рангу, чем неактивный элемент.

2. Причинный элемент выше по рангу, чем не причинный элемент.

3. Человеческий (или одушевленный) экспериенцер выше по рангу, чем другие элементы.

4. Измененный элемент выше по рангу, чем неизмененный элемент.

5. Цельный или индивидуализированный элемент выше по рангу, чем часть элемента.

6. "Фигура" выше по рангу, чем "основа".

7. "Определенный" элемент выше по рангу, чем "неопределенный" элемент.

Использовать данную иерархию надо в том порядке, в каком перечисляются эти утверждения. Так, активный элемент выше по рангу, чем все другие; причинный элемент выше по рангу, чем все остальные, за исключением активного элемента, и т. д.

Если два элемента в сцене обладают одинаковым рангом в иерархии выделенности, то включать в перспективу можно любой из них. Так, в акте коммерческой сделки можно включить в перспективу либо покупателя, либо продавца, рассматривая другой элемент либо как Источник, либо как Цель, но не как Агенс. При локализации одного элемента относительно другого можно рассматривать один как фигуру, а другой как основу. Так, мы можем говорить о положении на стене карты под картиной или же о положении картины над картой. Действительная физическая сцена не определяет этот выбор, и здесь играет роль лишь потребность говорящего брать один из этих объектов в качестве объекта номинации. (. . .)

почтения той или другой из предложенных иерархий. Главное преимущество той, которая предлагается в настоящих лекциях, заключается в том, что она устраняет необходимость установления "конечного, правильного" списка падежей.

(. . .)

9. Продемонстрированный мною вид анализа представляет собой интерпретацию текста с точки зрения слушающего, не принимающего непосредственного участия в коммуникативном акте. С учетом возможного недопонимания, все, что я излагал, можно истолковывать как попытку построения теории "компетенции" дискурсивной семантики. Задача заключается в определении того, что мы можем узнать о значении и контексте высказывания, располагая лишь тем, что содержится в самом высказывании. Если, например, кто-либо произнесет предложение "Теперь вы можете слезть с дерева, сэр", мы можем вывести много заключений относительно того, что, собственно, сообщается, в каком отношении находятся участники коммуникативного акта друг к другу в физическом и социальном пространстве и т. д.

Многие считают такого рода исследования лишенными смысла, так как при этом игнорируется контекст реального мира. Я думаю, что единственное преимущество реального контекста сравнительно с конструируемым заключается в том, что он заставляет вас учитывать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, если бы навсегда оставались в своей качалке. Меня тоже интересует употребление языка, но всякий раз, когда я слышу предложение в контексте, я тотчас начинаю спрашивать себя, что бы произошло, если бы контекст подвергся некоторому изменению, если бы было употреблено иное слово, если бы предложение было произнесено с иной интонацией и т. д. Другими словами, я снова возвращаюсь к подходу в русле теории "компетенции".

Целью дискурсивного анализа с точки зрения случайного слушателя является обнаружение базисного общего знаменателя среди набора возможных ассоциируемых сцен и контекстов. Каждое конкретное употребление предложения удовлетворяет некоторым или всем пресуппозиционным условиям, конкретизирует некоторые или все неуточненные выборы и т. д. Единственным единообразным описанием, которое может получить данный текст независимо от контекстов, является такое, где характеризуется в наиболее общем виде *набор* контекстов, допускающих его употребление.

10. С позиции интерпретационного процесса прагмати-

ческое знание может мыслиться как знание, посредством которого мы оказываемся способными построить сцену обстановки, в которой был создан текст, то есть контекстуализировать его. Если текст имеет форму диалога, тогда прагматическое знание позволяет получить некоторое представление об обстановке, об участниках диалога, о месте диалога и, может быть, кое-что о позах и жестах участников диалога. (. . .)

ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

0. Система понятий и обозначений*, которую я изложил в этих лекциях, способна представлять последовательность событий во времени, одновременность явлений, выбор из контрастивного набора, "обстановку" или аспекты сцены, остающиеся константными на протяжении существования сцены, перекрестные ссылки в случаях соглашений и контрактов, а также условия включения в сцену представления самого коммуникативного акта, текст которого подвергается анализу в рамках данной сцены.

В этой заключительной короткой лекции я намереваюсь сделать три вещи: изложить проблему репрезентации противоречащих друг другу моделей мира, рассмотреть возникающие при этом терминологические проблемы и дать обзор в принятых нами терминах некоторых традиционных понятий и проблем семантической теории.

1. Одной из проблем представления является демонстрация того, каким образом модель мира одного человека может включать информацию о модели мира другого человека. Данная проблема представления имеет дело с включением (embedding) сцен. Традиция комиксов дает условные обозначения, которые могли бы быть использованы, например изображение мыльного пузыря, в котором представлены речь и мысли персонажей, но проблема включения становится серьезной как раз потому, что возможны включения неограниченной глубины. Для того чтобы проанализировать предложение типа "Джулия думает, что ее папа был честен", необходимо выразить идею, что модель говорящего для Джулии включает модель Джулии для

* В настоящем переводе в связи с сокращением статьи опущены схемы и их описания.— *Прим. ред.*

ее отца, а эта последняя включает модель отца для мира, которая совместима с той моделью для мира, которая получает отражение в его высказываниях. Проблема понятности содержания мыльного пузыря, помещенного над персонажем комикса и включенного в другой мыльный пузырь, помещенный над другим персонажем, входящим в некоторый фрейм, настолько очевидна, что не требует иллюстраций. Больше об этой проблеме я говорить здесь не буду.

2. Другая часть интересующих меня примеров касается лексики, выражающей человеческие эмоции. Некоторые эмоциональные слова, думается, могут быть охвачены единичными сценами в том смысле, что называемые ими эмоциональные состояния относительно просты и обладают свойствами, которые могут проявляться в некоторый данный момент времени. В качестве таких связанных с единичными сценами эмоций можно назвать excitement 'возбуждение', anger 'гнев', peacefulness 'спокойствие', joy 'радость'.

Эмоции, связанные с несколькими сценами,— это те эмоции, которые неизбежно влекут за собой целую историю. Для ряда слов, обозначающих эмоции, правильное употребление и понимание обеспечивается лишь в том случае, если переживание данной эмоции рассматривается как один из этапов некоторой истории. Указанный аспект эмоциональной лексики подчеркивается, в частности, Анной Вежбицкой¹² в работе, из которой я и заимствую свои примеры. Используемое Вежбицкой стандартное описание эмоции имеет форму: The way someone feels when... 'Способ, каким кто-либо чувствует, когда...' В наших терминах эмоциональная лексика обозначает конечную сцену в истории, при условии, что испытывающий эмоцию (experiencer) реагирует на эту историю нормальным, или прототипным, образом.

Прототипная характеристика слова disappointment 'разочарование' может выглядеть примерно следующим образом: disappointment описывает чувство, которое испытывает тот, кто хотел, чтобы нечто произошло, у кого были основания полагать, что это произойдет, и кто обнаружил, что ожидаемого события не произошло. (. . .)

¹² W i e r z b i c k a, Anna. Emotion,—In: "Semantic Primitives", Frankfurt: Athenäum, 1972, pp. 57—70.

Вот еще несколько слов, которые можно толковать аналогичным образом. Значение слова *frustration* 'разочарование, расстройство' мы можем описать как чувство, которое испытывает тот, кто хотел добиться чего-то, неоднократно предпринимал попытки сделать это и только что осознал, что это сделать невозможно. *Surprise* 'удивление' описывает чувство, испытываемое тогда, когда ожидается А, а происходит не-А. Чувство, называемое *suspense* 'беспокойство, тревога', испытывает тот, кто хочет знать, произойдет ли определенное событие, кто осознает, что ему нужно еще долго ждать, прежде чем он это узнает.

Во всех этих случаях дефиниции слов, обозначающих эмоции, требуют понимания конфликта между миром и моделью мира, которая имеется у какого-то человека. Либо мир, которого кто-либо желает, не таков, каким он его видит, либо мир, в который кто-либо верил, оказывается отличным от того, с которым он столкнулся в действительности.

3. Из этих примеров явствует, что мое предшествующее изложение ситуативной семантики не дает еще всех необходимых разграничений. В частности, я предоставил слову *сцена* слишком широкие полномочия. Ниже следуют некоторые разграничения, которые представляются мне важными.

В первую очередь нам необходимо учитывать сцены реального мира, в терминах которых люди научились осуществлять категоризацию и благодаря которым приобрели свои первичные сведения об объектах и ощущениях, предоставляемых реальным миром, так же как необходимо учитывать и сцены реального мира в качестве контекста и побудительных причин для текущего восприятия и поведения.

Во-вторых, следует учитывать находящиеся в сознании людей (и прошедшие определенную обработку) воспоминания о сценах реального мира, которые могут подвергаться переструктурированию, обусловленному вхождением людей в определенную общность, когда некоторые аспекты сцен забываются или подавляются, а другие усиливаются.

В-третьих, существуют схемы понятий, стереотипы знакомых объектов и актов, стандартные сценарии для знакомых действий и событий, о которых можно говорить независимо от опыта, сохраняющегося в памяти данного конкретного индивидуума.

В-четвертых, существуют воображаемые сцены говорящего, оказывающие воздействие на формулирование им текста. В-пятых, существуют воображаемые сцены интерпретатора, дающие о себе знать, когда он стремится построить модель мира, соответствующую тексту, который он интерпретирует.

И наконец, существуют совокупности языковых выборов, предоставляемых данным языком, и способы, посредством которых они активизируют конкретные концептуальные схемы (или, наоборот, активизируются этими схемами).

Все это весьма сложные понятия, и я, как и многие другие, никогда не испытывал чувства ясности по поводу совокупности всех этих понятий. Именно для этой сложной области исследователи, занимающиеся разработкой систем понимания языка в русле проблемы искусственного интеллекта, предложили термины *сцена*, *фрейм*, *схема*, *описание*, *шаблон*, *сценарий*, *прототип*, *модуль* и *модель*.

Можно предложить следующие терминологические разграничения. Мы можем использовать термин *сцена*, когда имеются в виду почерпнутые из реального мира опытные данные, действия, объекты, восприятия, а также индивидуальные воспоминания обо всем этом. Мы можем использовать термин *схема*, когда имеется в виду одна из концептуальных систем или структур, которые соединяются в нечто единое при категоризации действий, институтов и объектов, а также для обозначения различных репертуаров категорий, обнаруживаемых в наборах противопоставлений, прототипных объектах и т. д. Мы можем употреблять термин *фрейм*, когда имеется в виду специфическое лексико-грамматическое обеспечение, которым располагает данный язык для наименования и описания категорий и отношений, обнаруженных в схемах. И мы можем использовать термин *модель*, когда разумеем точку зрения конкретного человека на мир или то представление о мире, которое строит интерпретатор в процессе интерпретации текста. Под *моделью текста* можно разуметь ансамбль схем, созданный интерпретатором и обусловленный его знанием фреймов в тексте, который в конечном счете моделирует некоторый набор потенциальных сложных сцен.

Об интеграции этих понятий можно сказать следующее: из опыта, охватываемого сценами реального мира, люди черпают концептуальные схемы; при усвоении схем для

обозначения тех или иных их частей иногда выучиваются единицы языковых фреймов; *слова* из языкового фрейма активизируют в сознании говорящего весь фрейм и ассоциируемую с ним схему; схемы могут быть использованы в качестве инструмента построения блоков для конструирования (на основе слов в тексте) модели текста, то есть модели мира, совместимой с текстом.

Мы можем разуметь под схемой, как здесь уже указывалось, стандартный набор условий или концептуальную структуру, характеризующую идеальные или прототипные образцы определенной категории. Будучи людьми, мы можем интерпретировать опыт, если нам удастся приписать ему ту или иную концептуальную схему, или, иными словами, локализовать опыт как образец схемы. Во многих случаях такого рода приписывание осуществляется "до известной степени", то есть оказавшаяся под рукой сцена может не совсем точно соответствовать схеме, но аппроксимировать ее с определенной степенью точности.

Мы можем беседовать о некотором опыте, если мы можем приписать ему схему и если мы знаем языковой фрейм, подходящий к этой схеме. Люди смогут понять то, что мы говорим, если их языковой репертуар активизирует такие же или сходные схемы и если их опыт по освоению этих схем сравним с нашим. Наши собеседники могут понять то, что мы говорим, если они способны состыковать в единый ансамбль схемы, введенные нами в модель потенциальной сцены, которая соответствует модели, сообщаемой им нами. Короче говоря, процесс интерпретации текста мыслится как процесс, включающий набор процедур для построения связанной модели возможного мира.

Один из видов возражений против концепции интерпретации текста, основанной на построении мира или построении образа, касается трактовки отрицательных предложений. Каким образом, могут нас спросить, следует вообразить мир или сцену, которые соответствовали бы предложению "Сегодня в моей кухне нет слонов"? Довольно просто представить себе кухню без слонов, но в такой кухне нет ничего такого, что делало бы ее более соответствующей данной сцене, чем бесконечное множество других отрицательных предложений, совместимых с той же сценой. Мой ответ требует, естественно, учитывать различие между внутренней и внешней контекстуализацией текста. Иными словами, сцена должна содержать произне-

сение данного предложения и понимание, которое мы имеем в виду,— это понимание тех типов ситуаций, в которых было бы уместно произнести это конкретное отрицательное предложение. Такие ситуации предполагают — в тривиальном случае — использование подобного предложения в качестве примера при обсуждении какой-либо образной теории значения в ходе преподавания философии или лингвистики, или — в более интересном случае — ситуацию, когда кто-либо упомянул в разговоре возможность пребывания в прошлом или в будущем некоторого количества слонов в кухне, о которой идет речь. Другими словами, в отношении некоторых отрицательных предложений конструируемая интерпретатором сцена содержит не только обстоятельства, подходящие к самому предложению, но также и обстоятельства, связанные с контекстом, в котором предложение может быть осмысленно употреблено.

4. Моя последняя задача — показать, что тот подход к значению, который я изложил здесь, способен предоставить в распоряжение исследователя достаточно продуктивный метод или, во всяком случае, не менее продуктивный, чем более традиционные семантические теории, для рассмотрения традиционных семантических понятий.

4.1. Начнем с понятия *неоднозначности*. Мы можем утверждать, что предложение неоднозначно, когда некоторая лингвистическая форма соотносится с двумя различными фреймами. Предложение *My desk drawer is ten inches deep*. 'Ящик моего стола имеет глубину 10 дюймов.' двусмысленно, потому что слово *deep* 'глубокий' входит в два различных набора противопоставлений, совместимых с ситуацией измерения, которая здесь наличествует. В одном из своих смыслов оно противопоставляется слову *shallow* 'мелкий', и оба они составляют полярную оппозицию, причем слово *deep* используется при описании результатов измерений. В этом смысле предложение может быть понято как указание на размер ящика в направлении сверху вниз. В другом смысле слово *deep* противопоставляется слову *wide* 'широкий', и оба образуют пару для измерения какого-либо продолговатого объекта либо в направлении от одной стороны к другой (*wide*), либо — от передней стороны к задней (*deep*). В этом смысле наше предложение может быть понято таким образом, что оно указывает на размер ящика от передней стороны до задней,

4.2. Предложение является *неопределенным* (vague) в той мере, в какой постепенен переход от сцен, явно соответствующих активизируемому фрейму, к сценам, которые явно ему не соответствуют. Предложение *My desk drawer is deer*. 'Ящик моего стола глубокий.' и неопределенно и неоднозначно. Оно неопределенно, поскольку нет четкой границы между глубоким и неглубоким — в обоих смыслах слова *deer*.

4.3. Слово является относительно *общим* по своему характеру, а не *конкретным*, если описание ассоциируемой с ним сцены относительно менее детализировано, чем для любого другого слова, привлекаемого для сравнения. Отсюда следует, что детализированных сцен, соответствующих слову, больше для общих терминов, чем для более конкретных. Однако одно лишь это условие не покрывает понятия общности значения. Слово *calf* 'теленок' может быть использовано для обозначения детеныша коровы, гиппопотама или слона, а поэтому я не склонен утверждать, что оно является более *общим*, чем если бы оно относилось лишь к детенышу коровы. Характеристика слова *calf* с помощью единичного фрейма, если бы она оказалась возможной, должна была бы включать информацию о том, что это слово не применимо к детенышам лошадей, волков и т. д.

4.4. Два слова являются *синонимами*, если допустимы различные лексические выборы для одного и того же элемента в одном и том же фрейме. Очевидно, *eye doctor* 'глазной врач' и *oculist* 'окулист' являются в этом смысле синонимами; точно так же обстоит дело с *furze* 'дрок' и *gorse* 'дрок'.

Более интересной, чем *полная синонимия*, является *частичная синонимия*. Слова являются частичными синонимами, если некоторые части фреймов, в которых они употребляются, идентичны, а другие части различны. *Promise* 'обещать' и *guarantee* 'гарантировать' — частичные синонимы. Оба слова совпадают в том, что обеспечивают в будущем совершение определенного действия. Но *гарантия* дополнительно предоставляет человеку определенные права по отношению к дающему гарантию, если обещание не будет выполнено. *Signature* 'подпись' и *autograph* 'автограф' — также частичные синонимы, где последний отличается от первого теми деталями сцены,

которые связаны с мотивами и интересами личности, получающей подпись.

4.5. Понятие *селекционных ограничений* (или ограничений на совместную встречаемость) может истолковываться в терминах языковых фреймов, ассоциируемых с данными схемами. Некоторые слова ограничены определенным кругом схем, активизируемых ими, и могут, следовательно, сочетаться только с теми словами, которые принадлежат к фреймам, соответствующим таким схемам. Таким образом, понятие селекционного ограничения может быть формулировано в терминах свойств фреймов и схем, а не обычным способом, то есть в терминах подбора имманентных и дистрибутивных признаков лексических единиц.

4.6. Понятие *антонимии* более или менее полно покрывается понятием *контрастивного набора*, затрагивавшего выше в связи с тем, что я называл *выбором*. Если фрейм допускает один выбор из набора взаимно исключающих категорий, то последние образуют антонимичный набор. В обычном смысле *антонимия* покрывается ситуацией, в которой антонимичный набор содержит ровно два категориальных члена.

4.7. Понятие *категориальных границ* слов следует пересмотреть в терминах понятия *прототипа*. Исследования Лабова относительно границ таких понятий, как *чашка*, *кувшин*, *стакан* и т. д., предоставляют отличную возможность обсуждения стратегий, посредством которых субъекты используют прототипные элементы в схемах. Схемы набора вещей, которые можно найти в кухне, включают прототипы чашки, кувшина и стакана. Если субъекты выносят суждения относительно необычного вида чашки, представленной им в экспериментальной обстановке, они в действительности решают не вопрос о границах категории чашки, а скорее пытаются установить, в какой мере новый объект достаточно близок к тому, чтобы быть кухонной принадлежностью и выдержать сравнение со схемой кухни — это в первую очередь, а затем уже определяется, насколько этот объект близок к тому или иному прототипу, чтобы классифицировать его как образец данного типа, а не другого. Эксперименты с категориальными границами в действительности являются экспериментами, направленными на установление стратегий, которые используются людьми при переходе от прототипа к непрототипному образу категории.

4.8. Понятие *семантического поля* может быть интерпретировано посредством обращения к понятию схемы, а родственное понятие *лексического поля* можно отождествить с понятием фрейма и с различными видами связей между фреймами. Установленная человеком схема цветов идентифицирует семантическое поле цветowych терминов; схема коммерческой деятельности лежит в основе лексического поля продажи и покупки и т. д.

Схема и связанные с ней языковые фреймы, относящиеся к человеческому телу, обуславливают поле наименований частей человеческого тела, а также словарь для обозначения положений и движений тела. Я полагаю, что виды определений, которые иногда даются тем или иным формам телесной деятельности, могут иметь осмысленный характер, если только мы признаем существование связанной с телом схемы и если она интерпретируется, как я предлагаю, в терминах *прототипов*. Ю. Найда предложил анализ определенных видов телесной деятельности, который можно представить следующим образом. Обозначим через *Л* одну человеческую ногу и через *П* — другую и допустим, что употребление этих символов означает, что обозначенная тем или иным символом нога соприкасается с землей. А через *О* обозначим период, когда ни одна, ни другая нога не касается земли. Тогда hop 'скакать' мы можем определить формулой ЛОЛОЛО..., skip 'прыгать' — формулой ЛОЛОПОПОЛОПОПО, а run 'бежать' — через ЛОПОЛОПО... и walk 'ходить' — через ЛПЛЛПЛ... Хочу, однако, отметить, что эти определения могут быть приемлемы только при условии постулирования прототипного понятия для человеческих движений. Другими словами, я уверен, что вполне возможно удовлетворить условиям определения какого-то из этих слов и тем не менее совершать действие, которое нельзя будет квалифицировать как тип движения, которое обычно обозначают выбранным словом. Короче говоря, я думаю, что только в том случае, если мы уже располагаем представлением о том, как обычно люди двигаются, и если мы держим в уме набор возможных здесь выборов, эти определения могут правильно и четко отделять друг от друга различные типы движений.

4.9. Семантическое понятие *конверсивности* может интерпретироваться следующим образом. Если наличествуют два слова в предикатной функции, принадлежащих к одному и тому же фрейму, но использующихся в синтакси-

ческих структурах, которые требуют того, чтобы единицы ассоциируемой схемы упоминались в разном порядке, тогда эти два слова являются конверсивами друг друга. Конверсивами в этом смысле являются *покупать* и *продавать*, так же как *выше чем* и *ниже чем* или *муж* и *жена*.

4.10. Я думаю, что традиционное лингвистическое понятие *основного значения* (Grundbedeutung) языковой формы может получить ясное истолкование в предлагаемых мною здесь терминах. Целью лингвиста, стремящегося сконструировать или раскрыть основное значение языковой формы, является установление такого описания ее употреблений, которое покрыло бы все случаи. Цель, следовательно, заключается в сведении к минимуму полисемии. Мне представляется, что эта цель вообще непригодна для лингвистической семантики. Возвратимся к примеру со словом *calf* 'теленочек'. Я бы сказал, что в этом случае мы имеем дело с членом нескольких языковых фреймов, и, возможно, добавил бы, что в каждом из этих фреймов его отношение к ассоциируемой схеме тождественно, а не стал бы пытаться формулировать в качестве значения слова *calf* одно-единственное утверждение, которое бы точно покрыло все случаи его употребления. Другими словами, я полагаю, что наиболее полезную информацию о лексической единице дает набор фреймов, в которых она играет определенную роль, и определение позиции, которую она занимает в каждом из этих фреймов. Те или иные подробности, которые теряются при таком подходе, могут быть представлены в форме исторического очерка эволюции языковой системы, то есть в терминах перехода слова из одного фрейма в другой на протяжении истории языка.

Предположим, например, что кто-либо задался целью определить основное значение слова *short* 'короткий', независимо от его употребления в качестве противопоставления слову *long* 'длинный' или слову *tall* 'высокий'. Поскольку семантические описания английского языка все равно должны сообщать информацию о том, что это слово употребляется в двух контрастивных наборах, решение искать единую формулировку ничего не добавит к нашему пониманию языка. Рассмотрим для примера серию прилагательных *high* 'высокий' — *low* 'низкий' — *tall* 'высокий' — *short* 'короткий' — *long* 'длинный' — *wide* 'широкий' — *deep* 'глубокий' — *shallow* 'мелкий'. Получается, что каждое из "срединных" слов в этом списке отно-

сится к разным контрастивным наборам по сравнению со словом, находящимся справа, и словом, стоящим слева от него. Мы можем, например, говорить о низких и высоких облаках (low and high clouds), высоких и низких строениях (tall and low buildings), низких и высоких людях (short and tall people), длинной и короткой проволоке (long and short wires), широких и длинных столах (wide and long tables), длинных и широких участках земли (deep and wide plots of land), мелких и глубоких плавательных бассейнах (shallow and deep swimming pools). Попытка представить каждое из прилагательных, находящихся внутри списка, с помощью одной-единственной формулировки его значения полностью затемнит связи с большим количеством различных контрастивных наборов, проиллюстрированных выше, и весьма мало будет способствовать уточнению нашего знания о том, каким образом организован словарь английского языка.

4.11. Часто предметом дискуссий среди семантиков является вопрос о том, где и как следует проводить демаркационную линию между языковой информацией о значении слов и почерпнутой из реального мира информацией о свойствах вещей. Этот вопрос обычно принимает следующую форму: "В чем заключается разница между словарем и энциклопедией?" Знаменитое определение Испанской Академией слова *собака* как вида животных, у которых самец, когда мочится, поднимает ногу, или обычные словарные определения слов *левый* и *правый*, отождествляющих их с южной и северной сторонами в случае, когда человек смотрит на запад, отнюдь не представляют собой концептуальный анализ определяемого, а скорее выступают в качестве опознавательных критериев для тех, кто намеревается установить, какого рода вещи обозначаются этими словами. Исследователи, работающие в области лингвистической семантики, часто признают, что их задача состоит в установлении чисто лингвистической информации относительно значений слов и что в принципе вполне возможно провести разграничения между словарем и энциклопедией. Более реалистической точкой зрения является следующая: в мире существуют вещи, типичные виды наблюдаемых событий, институты и культурные ценности, делающие возможной интерпретацию человеческих поступков; для большей части словаря наших языков единственная форма, в которой может даваться опреде-

ление, заключается в указании на эти вещи, действия и институты и в установлении слов, обозначающих и описывающих их части и виды.

Я не считаю, что нельзя разграничить роли лексикографа и составителя энциклопедий. Но я также не считаю, что все, что говорящий знает о значении и употреблении слова, может быть собрано и представлено в словарной статье. Наиболее полезный практический словарь во многих случаях будет обращаться просто к знанию читателя о мире, предоставляя ему достаточно информации, чтобы он сам тем или иным образом добывал добавочную информацию в том случае, когда он не в состоянии понять предложения, содержащего данное слово, а словарное определение не может помочь ему.

Во всяком случае, ясно, что любая попытка соотнести знание человеком значений слова со способностью интерпретации текстов неизбежно приведет к признанию важности внеязыковой информации в процессе интерпретации. Мы даем различную интерпретацию предложений "Муха на стене" и "Кот на стене" именно потому, что знаем о возможности этих существ занимать устойчивое положение, а также потому, что мы знаем, что одно и то же слово *стена* может использоваться для обозначения вертикальной поверхности комнаты или здания и для отграничения части местности. Обычно считается, что снятие подобного рода двусмысленности может быть осуществлено с помощью семантической компетенции, но в приведенном случае неизбежно приходится обращаться к информации такого рода, которая не может быть инкорпорирована в определение соответствующего слова.

4.12. Другим семантическим понятием, для которого различие между языковой и энциклопедической информацией оказывается релевантным, является понятие *метафоры*. Акт интерпретации метафоры требует понимания схемы социального общения такого рода, в пределах которого говорящий ожидает от слушающего особого конструирования того, что произнес говорящий, а это в свою очередь нуждается в понимании того, каким образом установление несоответствия между буквальным значением сказанного и конструируемым миром текста может стимулировать эти "конструкторские" усилия. Если мы услышим нечто вроде "Гарри — прыщ на лице общественности", мы не станем использовать собственно языковую инфор-

мацию для интерпретации сказанного. Мы располагаем достаточными знаниями о прыщах, людях и общественности, чтобы понять, что, если толковать предложение буквальным образом, мы не сможем сконструировать осмысленной сцены. Установив наличествующее здесь несоответствие, мы понимаем, что должны использовать психокультурную информацию о том, что люди обычно бывают недовольны, хотят избавиться от прыща, и предполагается, что говорящий стремится внушить нам, что все члены общества испытывают подобные же чувства по отношению к Гарри.

Обычно используемый в лингвистике подход к объяснению процесса метафоризации сводится к определению опознавательных признаков мира и созданию формализма для демонстрации того, каким образом признаки, соответствующие одному миру, могут быть приписаны совокупности признаков, связанных с другим миром или группой слов в той же самой конструкции. Я думаю, что большинство метафор, включая и наиболее интересные, не имеют ничего общего с таким объяснением.

4.13. Понятие *абстракции* всегда было трудно объяснимым для лингвистической семантики. Абстракции не являются именами вещей, но они также и не простые предикаты или предикации. Скорее всего их надо рассматривать как имена сложных ситуаций, и часто они используются в предложениях, содержащих определенный комментарий к этим сложным ситуациям. (. . .)

У меня нет каких-либо новых предложений относительно природы абстракции, но я по крайней мере могу указать на необходимость для семантической теории признать допустимость разнообразного применения единичного абстрактного концепта или же различных точек зрения при его использовании. Например, относительно прототипной абстракции *charity* 'милосердие' мы, независимо от любого конкретного употребления этого слова, знаем, что кто-то дал что-то кому-то, что при этом дающий делал это не по обязанности. Получатель в результате акта милосердия также не брал на себя какие-либо обязательства по отношению к дающему, и дающий при этом полагал, что его действие выгодно для получающего. После того как мы охарактеризовали ситуацию подобным образом, иногда оказывается необходимым обратиться к чрезвычайно сложным процедурам для интерпретации предложений, содер-

жащих данное слово, процедурам, не просто ориентированным на ситуацию в целом.

Например, когда мы интерпретируем предложение, подобное *Charity is a virtue*. 'Милосердие — это добродетель.', мы разумеем, что в акте милосердия говорящий расценивает дающего как хорошего человека. Если мы интерпретируем предложение *Charity is degrading*. 'Милосердие унижает.', мы догадываемся, что получатель дара рисуется как испытывающий чувство ущемленности из-за своей нужды и чувство унижения, поскольку он принимает помощь. Если же нам встретится предложение *Charity is unnecessary in an ideal society*. 'Милосердие не нужно в идеальном обществе.', мы можем сказать относительно этого "идеального общества", что в нем нет места для ситуаций, которые подходили бы к схеме милосердия. А предложение типа *He did it out of charity*. 'Он сделал это из милосердия.' раскрывает нам нечто о внутренней жизни дающего в момент вручения дара — нам как бы сообщается, что дающий не испытывал никаких внешних стимулов делать то, что он сделал, что он не ожидал никакой награды за это и что он чувствовал, что его поступок окажет кому-то помощь.

4.14. Важным вопросом, часто возникающим в лексической семантике, является вопрос о мотивации *лексикализации*. Почему, спрашивается, одно и то же содержание выражается одним словом, а не аналитическим образом? Конкретно, когда, например, предпочитают сказать *kill* 'убить' вместо *cause to die* 'заставить умереть'?

В нашем общем понимании языка, по-видимому, существует схема лексикализации, смысл которой заключается в том, что акт лексикализации некоторого содержания является актом представления его как установившейся категории человеческого мышления. Другими словами, если существует лексическая единица, она должна существовать как некоторая часть фрейма и должна соответствовать некоторой части схемы. Слово *вегетарианец* не просто обозначает человека, который употребляет только вегетарианскую пищу. Если бы каждый так поступал или если бы все существа на земле поступали так, то не было бы потребности для такого понятия, а, следовательно, и потребности в соответствующем слове. Такое слово существует потому, что есть люди, которые едят мясо, и в противоположность им есть люди, которые намеренно не едят мяса.

Именно в силу этого контраста слова типа *вегетарианец* могут функционировать в нашем языке. (. . .)

4.15. Примеры *функционального сдвига* можно рассматривать как примеры особого рода процесса лексикализации. Существуют различные условия, при которых в английском языке имя может употребляться как глагол. Такими словами являются *hammer* 'молоток' или *spoon* 'ложка'. В соответствии с самым простым правилом описания этого деривационного процесса имя, обозначающее инструмент, посредством которого совершается определенное действие, может использоваться в качестве глагола, обозначающего выполнение указанного действия посредством данного инструмента. Важно, однако, отметить, что глагол *hammer* 'ударять молотком; молотить' имеет в виду не только удары по чему-либо молотком, а и удары по чему-либо вовсе не обязательно молотком, но таким способом и с такой целью, как это обычно делается посредством молотка. Точно так же глагол *spoon* 'черпать ложкой или чем-то подобным' используется не только для обозначения процесса переноса чего-либо с одного места на другое с помощью ложки, но и для обозначения наиболее типичного способа использования ложки в таком действии и, в частности, использования ложки в таких видах действий, для которых ложки были изобретены.

5. В этой последней лекции я хотел рассказать о том, каким образом модель "сцены" можно использовать в областях, о которых я не имел возможности упоминать в первых трех лекциях. Я старался описать ряд разграничений, которые следует учитывать семантической теории и теории интерпретации текста описанного порядка. И я хотел показать, что данный подход к семантике сопоставительно с более традиционными формальными ее моделями не делает нас менее способными осмысленно рассуждать о традиционных понятиях и проблемах семантической теории.

В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что выводы, сделанные мною в этих лекциях, равно как и терминология и нотация, имеют предварительный характер. В многочисленных беседах, которые я имел с учеными, использующими термины *фрейм*, *схема*, *сцена* и *прототип*, — психологами, философами, лингвистами и специалистами по вычислительной технике, — меня поразило, во-первых, различие в истолковании этих терминов, а, во-вторых,

некоторое изменение в использовании данных терминов мною самим в результате этих бесед. Это — дурные признаки. Возможность недопонимания меня оказывается равнозначной возможности забвения мною того, что я говорил месяц тому назад. Тем, кто знаком с моими прошлыми работами, необходимо поэтому проявить известную осторожность.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издательства	2
ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ	5
I. Проблематика языковых контактов	6
<i>У. Вайнрайх. Одноязычие и многоязычие. Перевод с английского А.К. Жолковского</i>	<i>7</i>
<i>А. Мартине. Распространение языка и структурная лингвистика. Перевод с английского Р.В. Зенина</i>	<i>43</i>
<i>Б. Гавранек. К проблематике смешения языков. Перевод с немецкого Р.В. Зенина</i>	<i>56</i>
II. Двужычие	74
<i>А. Табуре-Келлер. К изучению двужычия в социологическом плане. Перевод с французского М.А. Щербины</i>	<i>75</i>
<i>Дж. Гринберг. Определение меры разноязычия. Перевод с английского К.О. Эрастова</i>	<i>88</i>
III. Интерференция	99
<i>С.М. Эрвин. Семантический сдвиг при двужычии. Перевод с английского К.О. Эрастова</i>	<i>100</i>
IV. Конвергенция контактирующих языков	114
<i>Р. Фаукес. Английская, французская и немецкая фонетика и теория субстрата. Перевод с английского Р.В. Зенина</i>	<i>115</i>
ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИКИ	126
<i>Ч. Филлмор. Дело о падеже. Перевод с английского Е.Н. Саввиной.</i>	<i>127</i>
<i>Г. Скрэгг. Семантические сети как модели памяти. Перевод с английского Т.С. Зевахиной.</i>	<i>259</i>
<i>Ч. Филлмор. Основные проблемы лексической семантики. Перевод с английского О.В. Звезгинцевой</i>	<i>303</i>